

***В редакцию
не вернулся...***



...Есть жизнь после смерти, в сознании, в памяти народа. Если я при жизни делал что-то важное, бессмертное, то этим я заслужил ту, другую жизнь — жизнь после смерти... В этом и заключается цель жизни: жить так, чтобы и после смерти не умирать.

Муса Джалиль



В редакцию **не вернулся...**



КНИГА ВТОРАЯ

Издание второе



**Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

Москва • 1972

002

B11

Редактор-составитель

П. Д. КОРЗИНКИН

Константин Симонов
КНИГА О ТОВАРИЩАХ



Передо мной лежит рукопись со знакомым названием: «В редакцию не вернулся...» и с подзаголовком: «Книга вторая».

В свое время издательство поручило мне написать послесловие к первой книге «В редакцию не вернулся...». В послесловии я писал о том, что эта книга не имеет права оказаться единственной и что рядом с именами погибших на фронте писателей и журналистов, о которых в ней было сказано, должны встать еще многие другие имена.

Написав это, я основывался не на собственных благих пожеланиях, а на высказанной уже тогда твердой решимости целого коллектива фронтовых газетчиков продолжить и завершить эту большую и трудную работу, посвященную памяти погибших товарищей.

Говорить о завершении этой работы и сейчас еще рано. Но за прошедшие годы она сильно продвинулась вперед, и теперь уже есть возможность рядом с первым томом «В редакцию не вернулся...» положить на стол читателя этот второй том, в котором речь идет о жизни, о фронтовой работе и о гибели еще девяноста девяти наших товарищей по профессии. О некоторых из них написано подробно, другие лишь упомянуты, история их жизни и смерти еще ждет своего раскрытия.

В этой книге рассказано о самых разных людях. Тут и писатели, без чьих имен нельзя представить себе историю советской литературы, и известные журналисты, чьи очерки и корреспонденции, опубликованные в центральных газетах, давно записаны в историю нашей военной журналистики и сохранились в памяти всех, кто воевал. Здесь и молодые поэты, ставшие дивизионными и армейскими газетчиками, чьи по крохам собранные в старых блокнотах юношеские стихи выходят тоненькими книжками только сейчас, когда их авторам, останься они в живых, было бы уже по сорок пять и пятьдесят. Здесь и люди, которые, несмотря на свою литературную одаренность, сами не успели написать книг, но о подвигах которых сейчас написаны книги.

Мы вспоминаем в этой книге о людях, которые были журналистами до войны и остались ими на войне, и погибли, исполняя свой долг военных корреспондентов, погибли под обстрелами и бомбежками, на переправах, или прямо на дорогах в попутной полуторке или редакционной «эмке».

Мы вспоминаем здесь о журналистах, отдавших жизнь, совмещая обязанности корреспондента и солдата, погибших во время боевых вылетов за турелью пулемета, в десантах, поднимая за собой в атаку бойцов, в партизанских отрядах, прорываясь из окружения.

Мы вспоминаем здесь людей, начинавших войну корректорами, а встретивших смерть подпольщиками в немецком тылу. Мы обнажаем головы перед памятью нашего самого младшего собрата по перу и оружию — тринадцатилетнего редактора боевого листка «Окопная правда». Он пал в боях за Севастополь, но до этого успел выпустить одиннадцать номеров «Окопной правды» и был посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Как знать, какой журналистский талант погиб вместе с ним?!

Наконец, мы вспоминаем здесь журналистов, которые расстались с этой профессией в первый день войны, став пехотинцами и артиллеристами, подводниками, командирами рот, политруками и полковыми агитаторами.

Когда-то, в те времена, когда Маяковский писал: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо»,— эти слова поэта, при всей их гражданской и нравственной силе, все-таки еще воспринимались как поэтический образ, как метафора. Война воплотила эти слова в жизнь, сделала их реальной будничной правдой.

Эта книга посвящена памяти мужчин и женщин, сыновей и дочерей разных народов нашей страны, в чьих анкетах до войны в графе «профессия» стояло одно и то же слово — «журналист» и в чьих пришедших с войны похоронных стояли одни и те же слова: «Пал смертью храбрых».

Читаешь одно за другим собранные в этой книге воспоминания, и чем дальше, тем все труднее свыкнуться с мыслью, что эти люди, о которых мы вспоминаем и пишем, сами уже не вспомнят и ничего не напишут о той войне, которая обрвала их жизнь.

Сколько фронтовых дневников и записок, сколько книг прозы и стихов, посвященных пережитому на войне, так и остались не написанными, а только загаданными, задуманными, отложенными на то будущее, которого так и не дала им судьба!

Когда-то, молодым человеком, попав в Монголию, услышав там первые на моей памяти выстрелы и увидев первые смерти, я, пораженный этим, писал:

Никак не можем помириться с тем,
Что люди умирают не в постели,
Что гибнут вдруг, не дописав поэм,
Не долечив, не долетев до цели...

Мне пришли на память эти давным-давно написанные слова, когда я прочел рукопись лежащей перед вами книги. Да, примириться с этим трудно, но бывают в жизни Родины такие грозные часы, когда другого пути, чем этот путь,— нет и не может быть для человека любой профессии, в том числе и нашей, журналистской.

Эта книга посвящена памяти людей, которые в тот грозный для Родины час поступили так, как должно.

Мне остается добавить, что и эта вторая книга «В редакцию не вернулся...» не имеет права стать последней. По-прежнему не сказано еще многое и обо многих. Отдавая должное огромному и самоотверженному труду составителя этой книги, хочу, однако, повторить, что впереди еще немало работы.

-



Слышал я на свете много раз,
Что в жестоком грохоте и дыме
Те друзья, ушедшие от нас,
Навсегда остались молодыми.

Константин Ваншенкин
«Разве мы забудем?»

Сергей Гуленков

НАВСЕГДА МОЛОДОЙ



Сергей Шапошников прожил недолго — жизнь его оборвалась на тридцать третьем году. Так и осталось ему навсегда неполных тридцать три. И звание у него было скромное — младший лейтенант...

Каждый приходит и уходит из жизни; один раньше, другой позже. Прожитое, что пролитое — не воротишь. Но как щемит сердце при каждом воспоминании о нем!

С Сергеем Ивановичем Шапошниковым мы встретились в 1933 году в редакции газеты «Красноармеец» Приволжского военного округа.

Одна из старейших военных газет стала для нас отчим домом. Переступив ее порог, с благословения уже умудренных газетным опытом старших товарищей, мы отправились в трудный, исполненный еще нам самим неясной романтики, путь военных журналистов. И если бы теперь, спустя десятилетия, передо мной или перед уже давно погибшим моим тезкой вдруг снова открылась несбыточная возможность избирать свой жизненный путь, я ни на минуту не сомневаюсь в том, что оба мы опять избрали бы тот, по которому однажды уже шагали плечом к плечу. Далекие и бесконечно близкие милые были!

Тогда, впервые вступив на тернистую редакционную стезю, мы с энтузиазмом делали все. Мы держали экзамен, начав с правки красноармейских писем, писали десятистрочные информации-«подверстушки», молча переносили первые огорчения неудач и крепким пожатием рук встречали первые радости.

К Сергею меня потянуло как-то сразу. Старше меня он был на год, знаниями и опытом — выше на голову. Завидно шла ему красноармейская форма. Гимнастерка ловко облегла его фигуру. Помнится он таким: стоит среди нас, как бы по команде «вольно», — закинув руки за спину, чуть согнув правую ногу. Голова наголо пострижена, отчего еще рельефнее выступают крупные черты лица: высокий гладкий лоб, вскинутые черные брови и под ними большие глаза. Рот плотно сжат, но приметная ложбинка на верхней губе смягчает строгость и делает лицо добрым, улыбчивым.

Человек энергичный, ищущий, Сергей обладал увлекающей работоспособностью. Придешь, бывало, утром пораньше в редакцию, а он уже сидит за столом, подперев левой рукой слегка склоненную голову. Лист бумаги, на котором еще не высохли чернила, унизан бисерным, но разборчивым почерком. Помарок на рукописи не допускал, по несколько раз переписывал целые абзацы. Даже в этом сказывалась его аккуратность, придирчивость к самому себе в часы творческого труда. Особенно бережно обращался он с письмами военкоров: не имел привычки править прямо по оригиналу, обязательно все переписывал своей рукой.

Еще одна интересная особенность. При разговоре с человеком, у которого брал материал, Сергей никогда не вынимал блокнот из сумки, не вел записей. Слушал рассказчика внимательно, не перебивая, не озадачивая лишними вопросами. Когда же тот «выдыхался», задавал ему наводящие вопросы.

— Раскрытый блокнот и запись во время разговора, — пояснил мне однажды Шапошников, — смущают собеседника, он начинает запинаться, делать паузы.

Сергей поступал иначе: закончив интервью, уединялся и все рассказанное заносил в блокнот. Потом, чтобы не исказить факты, не перепутать фамилии и цифры, сверял и уточнял их.

Кстати, о его блокнотах. Они всегда были пухлыми от «фактуры». Возвращаясь из командировки, он мог дать в номер несколько информации, актуальных и разнообразных. Так происходило потому, что, бывая в подразделениях, Сергей глубоко вникал во все подробности армейской жизни. Его интересовали не только боевая учеба, хотя он был корреспондентом отдела боевой подготовки, но и партийно-политическая работа, культура и быт воинов.

В свои записные книжки и блокноты он собирал все интересное, новое, поучительное.

— Блокнот — это копилка журналиста, — говорил Сергей.

В этих «копилках» у него всегда было множество красноармейских поговорок, шуток, метких высказываний. И все это богатство умело использовалось при обработке военковровских писем и в собственных статьях, зарисовках и очерках Сергея Шапошникова. Они отличались правдивостью, убедительностью, сочностью языка.

Сергей хорошо знал жизнь и быт воинов. Будучи курсантом полковой школы, он на себе испытал все тяготы и трудности многоверстных походов, тактических учений. Ведь в редакцию он пришел прямо из казармы. Да, нелегко воинский труд. И потому-то молодой журналист тепло писал о тех, кто денно и нощно нес трудную и почетную службу защитника нашей социалистической Отчизны.

Большую часть времени проводил он в командировках. Постоянное общение с красноармейцами, командирами, политработниками постепенно расширяло его кругозор, обогащало знаниями, опытом боевой подготовки и партийно-политической работы. Шапошников возвращался из командировки запыленным, обветренным, но бодрым, полным энергии. Прямо с вокзала спешил в редакцию и в кругу собратьев по перу сдержанно, но образно рассказывал о танкистах, саперах, связистах и стрелках, с которыми встречался на танкодромах и стрельбищах.

Как-то летом нам вместе пришлось поехать в дальний гарнизон, где предполагались большие учения.

Неоглядная песчаная равнина, над которой стоит знойное июльское марево. Ветер гонит клубы желтой пыли, кружит ее воронками. Поблизости ни деревца, ни кустика. То тут, то там верблюдьими горбами высятся холмы и курганы. От вокзала до части мы отмерили «на своих-двоих» километров десять. И попали, как говорится, с корабля на бал. Учения уже начались.

За день мы нашагались до судорог в икрах. А к вечеру Сергей сообщил:

— Намечаются ночные учения. Обязательно пойду. Примкну к пулеметчикам. Тянет к ним. По душе мне это дело — огневое, горячее...

И пошел. «Примкнул» к отделению, помогал красноармейцам нести ствол пулемета, брал с ними укрепленный пункт «противника», стрелял из «максима». А на другой день

не отдыхал, пока не отписался, не излил все виденное и пережитое на бумагу.

Вскоре в «Красноармейце» появился очерк Сергея Шапошникова о пулеметчиках, написанный с большим знанием дела.

Работал Сергей Шапошников много, усидчиво, но далеко не все написанное сдавал на машинку и нес в секретариат. Для печати отбирал только то, что удовлетворяло его собственные высокие запросы, а потому и вызывало одобрение в коллективе редакции и у читателей. Нас располагало к нему и то, что он не боялся поделиться с товарищами своими творческими планами, задуманными темами, дать почитать написанное перед тем, как выносить статью или очерк на страницы газеты. У него не было ни малейшего скопидомства, он не таился от друзей. Когда его критиковали на летучках, он обычно отвечал:

— Правильно! Злей буду.

И сам часто помогал товарищам. Нередко кому-нибудь из нас подсказывал «темку», советовал, как лучше ее разработать. Был он другом искренним, бескорыстным. Любил литературу, музыку, немного рисовал, азартно сражался в шахматы, увлекался лыжным спортом, плаванием.

Иногда мы заходили к нему домой. В скромно, я бы сказал, по-солдатски обставленной комнате читали свои стихи, рассказы, а он — отрывки из повести о курсантах полковой школы, над которой тогда работал. В какой-то мере эта повесть была автобиографична. Называлась она «Метель», Сергей работал над ней около пяти лет. Повесть была опубликована в альманахе «Волжская новь», выпущенном Куйбышевским книжным издательством осенью 1939 года.

Это был успешный старт. Литературные способности Сергея Шапошникова росли и крепились на виду у всех. Но он понимал, что это только начало пути, и трудился с еще большей отдачей сил.

Но первая повесть Сергея Шапошникова осталась его последней и единственной. Вскоре после ее выхода автор добровольно вступил в лыжный батальон и отправился на борьбу с белофиннами. Он ушел на войну рядовым бойцом. Это была хоть и малая, но суровая, полная испытаний война, в которой Сергей успел познать, что нет на свете ничего крепче нерушимого фронтового братства. И еще одно твердое убеждение вынес Шапошников из снежных финских лесов: надо по-настоящему учиться военному делу; с величай-

шей остротой он почувствовал недостаточность собственных военных знаний.

— Для того чтобы стать дельным военным журналистом и с пользой работать в армейской печати, надо овладеть хотя бы минимумом военных знаний,— сказал Сергей, вернувшись с фронта.— Вот пойду подучусь, а затем с новыми силами и с новыми знаниями вернусь в редакцию.

Но вернуться ему не довелось. Вскоре после финской кампании он уехал на курсы переподготовки командного состава, а оттуда — прямо в Действующую армию: началась Великая Отечественная война.

Вторую в своей жизни войну Сергей Иванович Шапошников начал в звании младшего лейтенанта. Полевой почте пришло от Сергея письмо, датированное 12 июля. Письмо на трех листочках, в конверте, склеенном солдатским хлебом. Время стерло с конверта штемпель полевой почты, а ни места, где шли бои, ни номера полка, в котором служил, Сергей не имел права называть. Так я этого не знаю и до сих пор. Сохранились только торопливые строчки о том, что рота, которой он командует, четвертые сутки сражается на берегу Днепра, отражая остервенелый натиск превосходящих сил врага. Это был жаркий бой. «Немцы поднялись во весь рост и бросились в атаку,— писал Сергей.— И в это время мы открыли по ним огонь из четырех станковых пулеметов. Фашисты падали, как подрезанные, и вперед не прошли ни шагу. В роте легко ранило семь человек... Сам я жив, здоров. Как хочется жить, бороться...»

А через несколько дней в новом тяжелом бою Сергей Иванович Шапошников пал смертью храбрых. Он погиб в расцвете творческих сил. Как много еще он мог бы написать! Но горячая фронтовая обстановка не позволила ему прислать в родную редакцию ни одной корреспонденции...

Сергею Ивановичу Шапошникову не суждено было дожить до победы. Он погиб в самые первые, самые тяжелые дни войны, когда опьяненный успехом враг наступал, а наши солдаты, преграждая ему дорогу, упорно отстаивали каждую пядь советской земли. Они сражались, не щадя жизни. Не щадил ее и Сергей.

Он не прожил на земле и тридцати трех лет, и воинское звание у него было скромное — младший лейтенант.

В сердцах всех, знавших его, так и остался он навсегда молодым.

А где его могила — не знает никто.

Владимир Рудный ДВОЕ С ГАНГУТА



Двух работников потеряла гангутская газета — редактора и ответственного секретаря. Один поработал в ней всего месяц, другой — до последнего ее номера, держал вахту до конца. Быть может, такое определение звучит выпендренно, но речь идет о флоте и о морской службе, а служба в ханковской газете была настоящей морской вахтой, да и, пожалуй, наитруднейшей. Смен в этой вахте не было, она была непрерывной.

Любой журналист знает, как трудно делать газету маленькую, не повторяя газету большую и не теряя при этом ощущения пульса страны и мира. Ох, как трудно при малой площади и минимальных возможностях объять все, необходимое в этот день читателю, удовлетворить разнообразные потребности того сравнительно узкого коллектива, для которого назначена многотиражка, не расплываться и не мельчить, все красиво набрать и красиво сверстать, чтобы своя местная газетка была прочитана после многих мощных конкуренток, увлекала бы, вызывала споры, отклики, — словом, тысячи проблем и сложностей возникают перед такой малюткой — рядовой в огромной армии журналистики. Но во сто крат труднее делать ту же малую газету, одетую в военную шинель.

О военной журналистике, нигде в мире, наверно, не получившей такого развития, как у нас, надо бы писать и писать; писать не только о тех, кто погиб на боевом посту, — это дело доброе и первоочередное, — писать о практике и опыте этой

журналистики, о нелегких ее буднях в мирное время и о героических в военное. В войну часто случалось, что малая газета, в четверть нормального листа или и того меньше, становилась, хоть на какое-то время, единственной для бойца собеседницей, постоянным другом в дни, когда нет ни радиопередач, ни газет армейских и фронтовых, а приходит только своя малютка — из дивизии или военно-морской базы. Это — в войну, на фронте или в тылу врага, у партизан. Но вот до войны жила газета на территории, удаленной от больших городов, да и вообще от родной земли на сотни километров, на полуострове, который по существу был островом в чужом мире, где приходилось не только беречь военную тайну, но считаться еще с десятком специфических ограничений и переносить уйму всевозможных трудностей. Писать надо о людях, живущих рядом, с которыми встречаешься ежедневно, ежечасно, но иногда даже не только их должности или звания, но имени нельзя упомянуть, потому что знаешь: твою газету может прочесть враг. А писать надо достоверно, коротко и остро, газета должна выйти и быть, как штык, действительно, как штык, остра и готова к бою.

Так еще до войны жила и работала маленькая гарнизонная газета «Страж Балтики», вскоре переименованная в «На страже Родины», газета солдат и матросов полуострова Ханко, красного Гангута, громко прозванного в нашей печати того времени балтийским Гибралтаром.

Костя Лукьянов, ответственный секретарь этой газеты, горько жаловался в те времена своему другу и помощнику Алеше Шалимову, который совмещал в редакции литературную работу с корректорской:

— Как будто наш полуостров — плавающая единица, — говорил Лукьянов. — Переименовали сухопутную газету, как многотиражку на корабле, меняющем море. А нам бы в заглавие историческое имя: Гангут.

Это была мечта всей редакции — увидеть в заглавии слово, будто вырубленное из гранита: Гангут. Слово легендарное, памятное каждому юноше по школьному учебнику отечественной истории, омытое кровью матросов России и революционеров Финляндии, овеянное славой гангутской битвы, победой над флотом шведов во времена Петра и духом трагедии финской революции, задавленной высадившейся здесь в восемнадцатом году «железной дивизией» фон дер Гольца. Гигантскими литыми литерами было написано на борту знаменитого на Балтике и в нашем революционном движении

линкора это имя — «Гангут». В честь революционных заслуг экипажа линкор позже получил имя «Октябрьская революция», или ласково, по-матросски, его звали «Октябриной». А вот газета в военно-морской базы, созданной на Гангуте по мирному договору после войны с белофиннами, не могла в полный голос говорить об исторических боевых традициях этого куска арендованной гранитной земли, куда были посланы тридцать тысяч юных матросов и солдат оборонять от агрессии вход в Финский залив. Ни звука о Гангуте, иначе «выдашь тайну местонахождения гарнизона»...

На этой базе были пограничники, пехотинцы, подводники, катерники, артиллеристы, летчики, железнодорожники, даже свое отделение милиции, приписанное, правда, к Ленинграду, до которого морем двести сорок миль, сообщение только боевыми кораблями или боевыми самолетами. Можно, конечно, ехать и поездом, транзитом через Финляндию, но тогда от границы базы до Карельского перешейка приходилось сидеть в наглухо закрытых вагонах с неусыпными маннергеймовскими жандармами на подножках, оберегающими пассажиров от общения с финнами. Так что и почта нерегулярная, и центральные газеты — пачкой за несколько дней, а потом, когда началась война, и вовсе без газет с «Большой земли». В таких условиях базовая газета была жизненно необходимой всем на полуострове. Изворачиваться ей приходилось в десять раз больше иной ее соратницы на «Большой земле».

Цинкографии на полуострове не было — во время войны ее заменил один человек — присланный на Гангут художник Борис Иванович Пророков, вырезавший сотни клише на линолеуме, содранном с полов в покинутых жителями домах. В типографии — одна плоскостатная машина, занятая не только газетой, но и всем, что нужно гарнизону. А в редакции — мизерный штат без поправок на особый режим жизни в зарубежной базе среди воинских частей всех родов оружия: редактор и ответственный секретарь. Журналисты знают, что это, как правило, значило: редактор — политработник, ответственный секретарь — профессионал-журналист, ему и тянуть руководимый редактором воз.

Политотдел базы возглавлял тогда известный балтийский политработник Арсений Львович Расскин — позже комиссар Гангута, а затем начальник политического управления Черноморского флота, где в конце сорок второго года он погиб. Расскин всегда ценил газетчиков и газету, понимая, что без

нее гарнизон жить не может. Он нарушил штатную дисциплину и разрешил, еще до войны, взять в редакцию трех литературных сотрудников. Правда, все они, как и Алеша Шалимов, должны были работать еще и «по совместительству»: двое — наборщиками, а один одновременно и корректором. Но где их взять, этих литературных сотрудников? Никакие факультеты их не присылали, тем более, что по штату не положено, да и въезд в зарубежную базу сложный. Их надо было искать тут же, в частях базы. Найти и обучить.

Этим и был занят Костя Лукьянов, в то время младший политрук, прибывший в октябре сорокового года на полуостров. Ему еще не исполнилось двадцати пяти, когда он окончил краткосрочные военно-политические курсы КБФ* и был назначен на Ханко, на должность, которая официально называлась «инструктор-литератор газеты ВМБ»**. Но в редакции он оказался «старичком»: все остальные, юнцы срочной службы, звали его «Лукич».

У Константина Лукича Лукьянова срочная служба была позади. Он сочетал две профессии — журналистскую и морскую. Журналистикой, как многие в те годы, занялся сразу же после окончания девятилетки в тридцать втором году в Петрозаводске, вначале в редакции газеты «Транспортник» Кировской железной дороги, потом в «Комсомольце Карелии». Был репортером, литправщиком, выпускающим, прошел тот исключительно полезный и безотказный факультет журналистики на практике, который проходило в тридцатые годы большинство газетчиков: отличная была школа! Уж если человека из нее не отчисляли, как говорится, «из-за профнепригодности», то из него получался настоящий боевой газетчик, умеющий делать все: и верстать, и править, и организовывать, и добывать материал, и писать не только заметки, но и передовые, очерки, фельетоны.

Моряком Костя Лукьянов стал в тридцать шестом году — по традиции семей питерских пролетариев, питательной среды военного флота. Он жил с отцом в Петрозаводске, но родился в Питере, и семья была питерская. Раньше отец работал на «Обуховской обороне», а мать — на текстильной фабрике имени Халтурина. Парни из таких семей обычно шли на флот, хотя именно на флоте был тогда самый долгий срок

* КБФ — Красный Балтийский флот.

** ВМБ — Военно-морская база.

службы — пять лет. Лукьянов служил дольше — до последнего дня своей жизни. Пять лет срочной службы он плавал на разных кораблях: эскадренном миноносце «Калинин», на «Володарском», на торпедных катерах — командиром отделения строевых; как и в газетной жизни, он все прошел снизу доверху, стал настоящим матросом, и это пригодилось ему в матросской газете. Отслужив свой срок, он, возможно, и демобилизовался бы — в сороковом году у него родился сын Валерий. Но перед самой демобилизацией с ним случилась беда. В штормовую ночь высокая волна бросила торпедный катер к борту эсминца. Лукьянов оказался между бортами двух кораблей. Он очнулся в госпитале с раздавленными руками. В ту предвоенную пору он не захотел стать белобилетником и после госпиталя попросился на газетное отделение военно-политических курсов.

Гарнизон Гангута всегда жил в готовности, ожидал нападения. Здесь, на полуострове, все видели лихорадочные приготовления противника, видели транспорты с германскими танками и войсками, следовавшие в Финляндию, видели фашистских офицеров на возникающих вдоль границы наблюдательных вышках, по тысячам признаков чувствовали, что война близка. С первого дня организации базы в гарнизоне был введен комендантский час. После двадцати трех — хождение по пропускам. Сотрудники редакции засиживались в комнате Лукьянова до поздней ночи, поэтому у них были такие пропуска. К тому времени штат типографии несколько пополнился.

«Ранним утром 19 июня в гарнизоне была объявлена боевая тревога,— вспоминает друг Лукьянова Алексей Шалимов, военный журналист, капитан, живущий теперь в Кронштадте.— Мы быстро собрались в редакции у ответственного секретаря. Пришел из политотдела инструктор, сказал, что в частях и на кораблях объявлена боевая готовность номер один. Положение на границе напряженное. Немцы подтянули войска и, по всему видно, готовятся к десантам на Балтийское побережье... В полночь 22 июня нам, полусонным, так и не уходившим из редакции, сказали, что немцы высадили первый десант. Тут же из политотдела принесли пакет. Лукьянов вскрыл его. Мы узнали, что с началом военных действий наша газета будет называться «Боевая вахта». Война! Но официально мы слышали о ней только в полдень в матросской столовой штабной команды. После обеда — в редакцию. Старшина типографии Василий Кандеров и набор-

щик Петр Пименов набрали, по заданию Лукьянова, новое название газеты. У наборных касс стояли Василий Малахов, Александр Шохин, Михаил Федотов. Алексей Ясеновый верстал. Вскоре был готов первый военный номер нашей газеты...

Газета называлась «Боевая вахта» — уже третье название, и опять в нем нет упоминания о Гангуте! Лукьянов был огорчен. Он высказал свое огорчение новому редактору — батальонному комиссару Федору Александровичу Зудинову, назначенному в тот же вечер. Помочь ему редактор ничем не мог. «Боевая вахта» — такое название было обозначено в мобилизационном пакете.

Рослого, сутулого, рано седеющего батальонного комиссара работники редакции встретили настороженно. Еще один начальник пришел, не профессионал, наверно, ничего не смыслящий в газетном деле, будет только мешать. Хуже нет этой породы руководителей, готовых взяться за все, куда бы ни послали, — сегодня хозяйственник, администратор, завтра журналист. А ведь Лукьянов говорил молодым своим ученикам, что газетная профессия — важнейшая на земле и пожизненная. О Зудинове знали, что летом сорокового года он прибыл на Ханко заместителем начальника военной железной дороги, поработал там полгода и перешел в Дом партийного просвещения. Статей, заметок не писал, в активе редакции не значился.

Но все эти опасения оказались напрасными. Зудинов взялся за работу профессионально. На железную дорогу он попал по прихоти какого-то кадровика, который обнаружил в его личном деле «железнодорожное прошлое»: отец — машинист, сам Федор Зудинов работал в юности чернорабочим на железной дороге. К журналистике Зудинов тянулся давно, сотрудничал в армейских газетах и в корабельных многотиражках, когда проходил практику слушателя военноморского факультета Военно-политической академии имени Ленина; он даже работал в отделе печати Главного политического управления Флота, но, будучи кадровым военным, прошедшим все ступени строевой службы, начиная от командира отделения и взвода, он привык к строгой дисциплине и к исполнению любой должности, на которую его назначали. Работникам редакции Зудинов сказал открыто, что профессионализму он собирается учиться у ответственного секретаря — вся тяжесть профессиональной работы по-прежнему лежит на Лукьянове. Но условия меняются.

Железнодорожное сообщение с «Большой землей» прервано. Гарнизон в осаде, на связь морем и самолетами редакция рассчитывать не может. Основное средство внешней информации — радио. А «Боевая вахта» — единственная общевойсковая газета на полуострове. Она должна выходить ежедневно, на четырех страницах; надо искать актив, готовиться к длительной самостоятельной жизни.

Жизнь эта стала невыносимо трудной с первых дней войны. С трех сторон путь к полуострову преграждают множество мелких островков, не показанных на обычных картах. Часть этих островков принадлежала гангутцам, большую часть занимал противник. Оттуда и с узкого перешейка, соединяющего полуостров с материком, противник просматривал каждую пядь гангутской земли. Снарядами, бомбами и минами враг выжигал на Ханко и на островах лес, уничтожал постройки, выкуривал гарнизон из военно-морской базы. Полуостров оказался в кольце гигантских костров. Гарнизон ушел под землю. До шести тысяч снарядов и мин в сутки падало на Гангут. Над ним происходили воздушные бои. Его штурмовала вражеская пехота. На окружающие его острова лезли вражеские десанты. Но Гангут не только отбил все атаки, Гангут не отступил, заняв даже девятнадцать близлежащих островков противника и улучшив таким образом свои рубежи.

Редакция «Боевой вахты» укрылась в подвале кирпичного дома, где до войны находился штаб базы. Газету выпускали под обстрелом — линия огня была тут же, у порога редакции.

Зудинова, по годам «самого старого» в редакции — ему было тридцать восемь лет, — успели полюбить, привязаться к нему. Он жадно учился газетной работе, добивался лучших условий для сотрудников, искал в частях новых журналистов. Но ему не суждено было долго редактировать ханковскую газету.

В июле, в День Военно-Морского Флота, был выпущен праздничный номер. Его печатали в час ураганного обстрела. В здание редакции попал снаряд. Снаряды рвались и у входа, во дворе политотдела. Зудинов всегда рано утром заходил в типографию за свежим номером газеты. И в этот день он пришел, постоял у печатной машины, взял номер и пошел к выходу. Вслед за ним вышел и печатник, старшина Борис Суворов. Он пытался остановить редактора, говорил, что лучше переждать обстрел.

Но Зудинов уже переступил порог типографии. Осколки снаряда, ударившегося о стенку соседнего дома, ранили его и Суворова.

Ученик печатника Костя Белов, заметив упавшего Суворова, подбежал к нему, чтобы оказать помощь. Суворов сказал:

— Погоди, я сам... Там, кажется, ранен редактор, помоги ему.

Белов выбежал из типографии, увидел на пороге раненого Зудинова, осторожно поднял его и понес в укрытие. За ним, истекая кровью, полз Суворов.

Когда Зудинова вместе с Суворовым отправляли в госпиталь, редактор сказал, нежно глядя на матроса Константина Белова:

— Милый мальчик, как же ты меня донес? Ведь я такой тяжелый...

Федор Зудинов умер от ран. Инструктор ханковского политотдела Юрий Наумович Полищук вынул из кармана кителя Зудинова вместе с его партийным билетом № 1289061 маленькую книжечку — Устав ВКП(б); в партии Зудинов состоял с 1928 года. В Уставе застрял осколок. Эту книжечку с вмятиной от снаряда Юрий Полищук — он теперь живет в Риге — бережет по сей день.

Зудинова хоронили в небольшой березовой роще неподалеку от здания политотдела. В последний путь его провожали рабочие типографии, товарищи из политотдела и двое из редакции — Костя Лукьянов и Алеша Шалимов. Противник, очевидно, заметил необычное для пустынных улиц городка Гангэ скопление людей и открыл по этому району огонь. Минут десять не могли опустить гроб в могилу. Под этот вражеский артиллерийский салют похоронили редактора, над свежей могилой тут же соорудили скромный обелиск с красной звездочкой и надписью на фанерной дощечке: «Здесь похоронен редактор газеты батальонный комиссар Ф. А. Зудинов, рождения февраля 1903 года. Погиб 28. VII. 41 года».

Редактором назначили батальонного комиссара А. Эдельштейна, начальника отделения агитации и пропаганды политотдела базы. Он хорошо знал про все планы и хлопоты Зудинова и добился, чтобы все, обещанное покойному, было исполнено. Прежде всего — штат редакции и типографии. Она теперь кроме газеты печатала множество всяких листовок, памятки снайпера, десантника, артиллериста, сборники очерков и даже книжечки стихов. После ранения Суво-

рова в печатном цехе остался один Белов, надо было найти новых печатников. Из армейских частей в редакцию «перетянули» двух красноармейцев — Михаила Дудина и Евгения Войсунского, один писал стихи и юмористические фельетоны, другой очерки. Пополнился состав спецкоров — на аэродром, где воевали такие герои, как Антоненко, Бринько, Белоусов, Цоколаев, Лазукин, Бискуп, Семенов — прославленные на Балтике летчики, — направили политрука Беловусько, а в десантный гранинский отряд — Колю Иващенко, боевого корреспондента, с которым Лукьянову пришлось познакомиться больше, чем с другими. Лукьянов не выносил трескотни, фальши и преувеличений, а Коля Иващенко, парень боевой, оперативный, любил приврать и прихвастнуть. Лукьянов беспощадно сокращал его корреспонденции, поскольку, как известно, газета не резина, а Коля бегал жаловаться Эдельштейну. Но прав, конечно, был Лукьянов, мастерски «выжимавший воду» и умевший втискивать в полосу все, что надо. А это очень трудно в маленькой ежедневной газете, печатаемой под огнем, чуть ли не на оберточной бумаге, но регулярно помещающей и репортажи о летчиках, и заметки о пехоте, и подборки про походы гангутских катерников, и советы снайперам, и очерки под рубрикой «Герои Гангута», и стихи, и международные обзоры, и карикатуры, и зарубежные телеграммы, и сводки с других фронтов. Просто удивительно, как это Лукьянов с Шалимовым втискивали такую уйму материала в четыре полосы небольшого формата! Я храню комплект гангутской газеты не только как документ героической обороны, но и как уникальную энциклопедию происходивших на полуострове и во всем мире событий.

Решающую роль в подготовке газеты играло радио. Напили отличного радиста, почти стенографа матроса Гришу Сыроватко, дали ему мощный радиоприемник. Ночи напролет он дежурил, ловил станцию имени Коминтерна, заглушаемую вражескими станциями. Каждый день надо было записать очередное сообщение Советского информбюро, передовую «Правды», информацию ТАСС, фронтовые корреспонденции — всего этого не прочтешь больше нигде, только в своей гарнизонной газете. Радист знал, что без его записей газета не может выйти. А записывать приходилось урывками и не с одного раза, а ловя повторные передачи. Тут все зависело и от радиста, и от искусства Кости Лукьянова, который виртуозно монтировал из обрывков нужные сообщения и ни разу не подвел редакцию.

И еще одно свершилось — исполнилась мечта Лукьянова и его товарищей: ханковская газета стала называться «Красный Гангут». Заголовок вырезал на линолеуме Борис Прокопов. Теперь, вместе с Михаилом Дудиным, он ежедневно давал в газете сатирический отдел «Гангут смеется».

Так и вошла в историю военной журналистики ханковская газета, как «Красный Гангут», боевой орган передового края — строгий, острый, суровый и веселый.

Костю Лукьянова называли душой редакции — должность такая: ответственный секретарь. А ведь и ему хотелось к Гранину в отряд, к Белоусову на аэродром, где самолеты взлетали и садились под артиллерийским огнем, на катера «эскадры Полегаева», на Петровскую просеку в бригаду Симоняка. Но нельзя отлучиться, нельзя даже выйти подышать в лес, и никому нет дела, что он тоже хочет не только править и верстать, ему очень хочется самому писать. Но этой роскоши ответственному секретарю не дано. Он работал круглосуточно, это не преувеличение. Можно было пасть духом при такой работе, впасть в уныние от затворничества в подвале среди пожаров и грохота разрывов, можно было сломаться, не выдержать такого напряжения. Но для этого просто не было времени — не было передышек все сто шестьдесят пять дней героической обороны красного Гангута.

Последний номер выпустили 1 декабря. Гарнизон выполнил задачу, не пропустив до ледостава в Финский залив фашистскую эскадру. Ставка приказала перебросить гангутцев на защиту Ленинграда. Месяц продолжалась тайная эвакуация полуострова. Гарнизону удалось обмануть противника и оторваться от него без потерь. Потери были в море, при переходе. Эскадра Балтфлота совершила подвиг, посылая корабли в далекий тыл врага за героями Гангута. Героические и трагические походы. Часть кораблей прорвалась, доставила многие тысячи гангутцев на Большую землю. Часть не дошла, погибла.

Среди погибших на кораблях был и Костя Лукьянов — коммунист, моряк, журналист, душа «Красного Гангута».

Елена Вечтомова
ДРУЗЬЯ НЕ УХОДЯТ



удой, высокий, юношески угловатый, но с сильной проседью, Марк Гейзель навсегда запомнился мне смеющимся. Вернее, смеялись его глаза, как бы он ни был серьезен. Вероятно, за это и любили его дети, а не только за стихи, которые он писал для них.

Он был самым штатским из всех писателей и журналистов начала Отечественной войны, которых я помню, хотя за его плечами была работа военного корреспондента во время финской кампании. Ни суровости, ни военной или хотя бы спортивной выправки у него не было. Он так и уезжал в Таллин с редакцией газеты «Красный Балтийский флот» в темном костюме, с узлом узкого, небрежно повязанного галстука.

Таким должен быть сказочник — с таинственно смеющимися глазами, как будто знающий что-то, не известное никому. Раз — и откроет тайну, совершится чудо! А он был еще и творцом озорника Яши Надькина (по-видимому, сына Евлампия Надькина, обосновавшегося во «взрослых» сатирических журналах тех лет. Яша Надькин лет десять смешил в его фельетонах на страницах «Баклажки» (приложение к «Ленинским искрам» *) поколения школьников. Не только смешил и подтрунивал над лентяями, но и воспитывал.

* Ленинградская пионерская газета.

Но если поэта Николая Щербакова, одного из авторов «Васи Теркина» *, печатавшегося во время войны с белофиннами, бойцы принимали за самого Теркина, то Гейзеля никак нельзя было отождествить с курносый пронырливым Надькиным.

Старый корреспондент и работник редакции газеты «Ленинские искры», Марк Аронович принадлежал к когорте истинных пионерских и комсомольских деятелей, таких, как Мария Дубянская, Константин Высоковский, с которыми его связывала давняя творческая дружба.

Очень мягкий, бережный в отношениях с людьми, честный, требовательный к себе и какой-то мечтательный, нежно любящий дочурку Женю, неукротимый газетчик, ненавидевший штамп, рутину, посредственность, — с первых дней войны он не находил себе места, так как в армию его не брали.

Такой и должна быть совесть коммуниста. Она не дает тебе дожидаться повестки из военкомата, и хотя, конечно, ты понимаешь, что будешь работать там, где сочтут нужным, ты все-таки не можешь смириться с «ограниченной годностью» или, того хуже, с «негодностью», когда весь народ проходит тяжелое испытание огнем.

Не мог Марк примириться со своей долей мирного корреспондента детской газеты. Да он и не был таким. Он всегда был в бою; его друг и соавтор по книге «Торф» М. Ивановский вспоминал:

«Вместе с работниками уголовного розыска он пробирался по следам преступлений; брал интервью у знаменитого дрессировщика львов Эдера; знакомился с глазами операциями профессора Филатова; летал на самолете; мчался за Полярным кругом на оленьей упряжке; узнавал, что хранится в шаре под корабликом на шпигеле Адмиралтейства. И писал...»

На фотографиях он выглядел беспокойным, стремительным. Случайные фотографы «ловили» его то на канале Москва — Волга, то на севере, то на юге, то среди рабочих, то с маленькой дочкой и женой...

* Во время войны с белофиннами в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» печатались коллективные подписи под карикатурами, собирательным героем которых был боец «Вася Теркин». В этой работе участвовал и Александр Тва; довский, создавший в дни Великой Отечественной войны свою знаменитую поэму под несколько измененным названием — «Василий Теркин».

Как он добивался зачисления на флот! Казалось бы, зачем ему, такому штатскому, именно флот? Родился он в 1909 году в Могилеве. Но вырос-то он и окончил семилетку в Одессе! И море звало его к себе в тяжелую годину. Больше месяца прошло, пока его, наконец, призвали и направили корреспондентом «Красного Балтийского флота» в Таллин. За это время редакция газеты успела поработать в Эстонии, вернуться в Ленинград и снова была передислоцирована в Эстонию.

Настроение у отъезжавших было боевое и серьезное. Они уже знали то, что еще не узнал Ленинград, над которым только изредка появлялись вражеские разведчики. Мы спокойно относились к воздушным тревогам, а сотрудники «КБФ» тревожно вглядывались в летнее небо. Они уже испытали бомбежки, обстрелы, предательские выстрелы из-за угла или из окон «мирных квартир». Но все верили, что дела наши в Прибалтике улучшатся. Ехали с надеждой на перелом, с верой в победу.

Помню прощание белой ночью в конце июля. Обычно 27 июня, по традиции, происходят проводы белых ночей. Но ленинградцы знают, что и весь июль, и по крайней мере половина августа еще идет под их знаком.

Мы сидели в одной из редакционных комнат за столами и на столах. Вечерело. Большинство ехало налегке, с разбухшими противогазными сумками, в которых в те времена, невзирая на запрет, носили документы, записные книжки, газеты, чтобы не занимать руки, не оттягивать карманы. Новенькие флотские кители поблескивали нашивками на рукавах.

Гейзель был особенно возбужден: он добился своего, едет на флот, он годеен, нужен. Что-то детское было в этой радости. Сбылась мечта!

Хозяйственный Николай Браун пришел (его провожала пожилая заботливая родственница) со скаткой постели, с чемоданом. Нам по молодости лет это казалось слишком «солидным».

Браун тоже ехал в Таллин впервые, вместо Всеволода Азарова, откомандированного в Кронштадт.

Провожавшие тревожились, но шутили, как подобает журналистам. Никому не приходило в голову, что это прощание — последнее, что большинства уезжающих мы не увидим никогда — Юрия Инге, Женю Соболевского, Филиппа Князева, Марка Гейзеля...

Пора было уходить домой, а машины уезжавшим все не подавали. Видимо, действовали какие-то особые соображения командования. Мы расстались. И, когда час спустя по телефону я услышала Юрин голос (из осторожности не было даже сказано — «едем»), я смогла только без конца повторять: «Счастливо тебе, счастливо!» С тех пор я боюсь этого напутствия.

Проходят годы, и люди, ушедшие навсегда, возвращаются к нам в воспоминаниях по-прежнему молодые и в то же время изменившиеся, ставшие глубже, серьезнее, мудрее, научившие нас больше понимать их и ценить.

В этом нет никакой мистики. Просто тогда, в суете каждодневных забот, событий, отношений, иногда что-то ускользало от взгляда, от чувства. И о работе говорили спокойно, как бы ни была она тяжела. И почти не говорили о себе. Особенно поняла я это, когда недавно готовила к печати очерк Юрия Инге «Десант». Юрий был участником этого десанта. И хоть бы словом подчеркнул это! Вероятно, тем ярче мы помним их жизнь и их самих.

Когда ребята пионерского отряда одной из ленинградских школ написали жене Марка Ароновича, живущей в Гагре, она ответила замечательным письмом, показав Гейзеля — школьника, подростка, юношу, оканчивающего 1-ю советскую школу 2-й ступени возле Пяти углов (Разъезжая, 5); задиристым студентом Института истории искусств, острым, умным начинающим журналистом; зрелым человеком; сделала это так, как может сделать только любящий, понимающий, настоящий друг:

«...Вам не нужно рассказывать, какое оживление начинается в классе, когда появляется «новенький», это вы, конечно, и сами очень хорошо знаете. А тут еще приезжий! Очень высокий, гораздо выше всех наших мальчиков. Он поступал не к нам в класс. Мы были младше, но ему нужно было написать экзаменационное сочинение, а преподаватель литературы — Иван Александрович Дорогин — вел урок в нашем классе. Сел Марк за парту. Учитель спрашивает:

— Ну, на какую тему ты хотел бы написать сочинение?

— А мне все равно на какую тему, — отвечает «новенький».

— Ах так?! Ну, вот тебе тема: «Дважды два — четыре!»

Ну, мы все, конечно, онемели просто. Как же на такую тему можно написать? Одна наша девочка встала и сказала:

— Иван Александрович! Ну разве можно такое сочинение написать?

А «новенький» спокойно так со своего места говорит:

— Спасибо большое за ходатайство, но не беспокойтесь. Я уже пишу.

И написал. Уж не помню точно, что он там писал, но помню, что кончалось все каким-то митингом рабочих, где выступающие говорили, что необходимость свержения самодержавия ясна, как ясно, что два, умноженное на два, будет четыре.

С этого момента и началась популярность Марка Гейзеля в школе. Сколько его стихов, эпиграмм, злободневных частушек ходило по классам!

Был у нас при школе литературный кружок для старшеклассников. Руководил им все тот же Иван Александрович. Туда, на суд товарищей, и приносили мы свои стихи, рассказы, поэмы, пьесы. И всегда что-нибудь интересное, новое приносил Марк. Приходил он к нам на занятия кружка и после того, как окончил школу.

...Еще учась на первом курсе Института истории искусств, Марк Гейзель начал писать для «Ленинских искр», для «Красной газеты» — была такая тогда в Ленинграде. Гейзель создал приложение к «Ленинским искрам» — «Баклажку». Если вы не поленитесь и посмотрите в архивах старые подшивки «Ленинских искр», то найдете там массу его стихов, басен, рассказов, фельетонов.

...Писал он не только для детей; он много печатался в журнале «Юный пролетарий» (был такой до войны), в «Крокодиле», в «Вокруг света».

У него вышло семь книг — сборники рассказов, басен («Снимите ваши галоши», «Торф», «Кандидаты», «Две доски», «О больших, которые не любят маленьких», «В республике белого золота» (совместно с Г. Таубиным), «Киров и дети»).

Марк Гейзель твердо знал, что писатель, журналист не должен, не имеет права сидеть на одном месте, и этому своему правилу следовал всю жизнь.

Когда началась финская война, он сразу же ушел на фронт военным корреспондентом.

Марк Гейзель очень рано стал седым и любил повторять слова Маяковского: «У меня в душе ни одного седого волоса».

Говоря это, он подчеркивал слова: «в душе».

...Несколько лет он писал свою последнюю книгу «Записки журналиста». К сожалению, рукопись этой книги, принятая к печати перед самой войной в 1941 году, пропала и пока еще не обнаружена».

Ребята соорудили отличный стенд с фотографиями Марка, написали его биографию, узнали, что Гейзель печатался еще в приложении к «Красной газете» — «Кипяток», что четырнадцать лет своей творческой жизни он отдал «Ленинским искрам», побывал на Дальнем Востоке, встречал экипаж самолета «Родина», ездил в Бессарабию, что он собирал «шкатулку курьезов», в которую «укладывал» шутки, анекдоты всех времен и народов, удачные реплики, каламбуры.

Марк любил и ценил слово. Записывал афоризмы, изречения, поговорки. В Институте истории искусств он учился на киноотделении, и это оставило отпечаток на всей его жизни. Он стал едва ли не самым оперативным корреспондентом, «мыслил кадрами», стремился к тому, чтобы его миниатюры были композиционно «красивыми», законченными. Не всегда это удавалось. Спешка газетной жизни подгоняла изо дня в день вперед.

Марк ждал выхода своих «Записок журналиста». В них он был серьезным и размышляющим. В начале войны ему было тридцать два года. Жизненный опыт накапливался, хотелось не подвести итоги, нет, но сделать смотр прожитому. Выхода книги он не дождался...

В Таллине он успел поработать всего месяц, но писал неустанно, много. Его стихи, фельетоны издевались над врагом, радовали наших моряков. Марк Гейзель жил, горел, боролся с увлечением, которым отмечена была вся его деятельность.

Переход наших кораблей в августе 1941 года из Таллина в Кронштадт на оборону Ленинграда, под бомбежкой, артиллерийским обстрелом, при торпедных атаках фашистов, стал большой трагедией. Мы потеряли многих товарищей. Но они живут в нашей памяти героями, потому что вели себя так, как должно настоящим людям, коммунистам. А Марк с 1939 года был коммунистом.

Мне рассказывали, что Марк Гейзель в свои последние часы (никто ведь не знал, что они — последние!) стал необычно серьезен, сосредоточен, не шутил и не иронизировал.

Работа редакции не прекращалась и в походе, в тяжелой обстановке. Но вот подорвался между Кундой и Локсой

«Вальдемарас», на котором шли наши товарищи — журналисты и писатели. Все произошло в какие-нибудь минуты — корабль переломился и начал погружаться в море. Видели, как Марк прыгнул в воду.

Всех погибших тогда друзей мертвыми мы не увидели. Они остались живыми в нашей памяти, их творчество существует, оно — часть и нашей жизни. Не потому ли и Марка принимали в Союз писателей много лет спустя после гибели, так же, как Варвару Наумову, Ивана Федорова, Бориса Кострова? Вечная им память и вечная слава!

Пока мы живы, мы не перестанем чувствовать их присутствие. Дружья не уходят.

Константин Тараданкин БЫЛ ТОВАРИЩ У НАС...



личное дело нашего товарища по газете, по фронту хранится в редакции, испещренное записями о назначениях, перемещениях, командировках и поощрениях. Последняя отметка: «28 июня выехал в командировку в Действующую Красную Армию».

Всего за десять дней до того, как в деле спецкора «Известий» Михаила Сувинского появилась эта лаконичная запись, газета опубликовала его репортаж «Будущие лейтенанты». Он писал о курсантах артиллерийского училища, об огневых учениях, об отличниках боевой подготовки, о светлом и строгом нравственном облике молодых воинов, готовящихся стать советскими офицерами.

Это был хороший репортаж. И автор его сам был снайпером меткого слова. Он писал сочно и точно. Вот, к примеру, как он рассказывал о Большом Ферганском канале в очерке «Золотая птица»:

«Миллиарды кубометров воды направляет человек по своей воле, чтобы изменить жизнь земли.

Народ взял воду из ледников, из вековых ее холодных стоянок. И перенес ее вниз, в долины, к людям.

Двинулись люди на те самые земли, откуда пустыня изгнала их и куда в течение веков не пускала. Вода приходит как богатство, раскрепощая и возвращая землю к жизни. По ее мягкому, влажному следу, как по просторному тракту, двинулись в великий поход хлопок, злаки, деревья, цветы.

Все это заслуживало бы названия чуда, если бы не делалось руками колхозников, усилиями наших современников, такими же людьми, как и мы».

Он, наш друг и товарищ по газете и по фронту, не отделял себя от народа, ощущал себя частицей его. И это придавало силы преодолевать еще в детстве постигший тяжелый недуг, помогало забывать о близорукости, делавшей его беспомощным без больших роговых очков, прятавших умный, зоркий взгляд.

Когда грянула война и первые военные корреспонденты умчались на линию огня, Михаил Сувинский тоже попросился на фронт. Его отговаривали: «Тяжело!» А он твердил свое:

— Долг и счастье советского журналиста заключаются в том, что он имеет право всегда быть там, где в данный момент народ сосредоточил свои главные усилия.

И он поехал на фронт. С редакционным удостоверением. В осовиахимовском костюме, в брезентовых сапогах и кепке защитного цвета. Таким и встретил его корпус военных корреспондентов Юго-Западного фронта.

Мы базировались тогда в Киеве, несколько опустевшем, но сказочно красивом в своем пышном летнем цветении. Фактически военные журналисты были единственными жильцами в знаменитой гостинице «Континенталь». От парадного ее подъезда ранним утром в дорогу отправлялись пропыленные «эмки» с замаскированными фарами, с багажниками, загруженными канистрами. Про «эмки» у нас были стихи, которые начинались так:

В нашей маленькой машине
Есть гранаты, карабин,
Запасных четыре шины,
Два спецкора и бензин...

Дорога лежала на передний край.

В «Континентале» жили А. Гайдар, Б. Лапин, З. Хацревин, В. Полторацкий, И. Осипов, Я. Цветов, промелькнул Евгений Барский — он вскоре погиб в танковых боях под Ржавцами... Жили по-братски и, хотя представляли разные газеты, соперничества не было. Связь гостиницы работала отлично. Вернувшись из поездок, мы ночами передавали своей редакции наспех написанные корреспонденции. Случалось, голос стенографистки пропадал на какое-то время, а потом снова слышалось: «Алло, алло, передавайте дальше» — «А что у вас в столице?» — «Да опять налет, диктуйте,

пожалуйста» — «Но как же...» — «Ничего, давайте быстрее»... В эту семью равноправно вошел и Михаил. Он поселился в номере с Полторацким, и вечером сюда собрались все послушать новости из столицы. А на рассвете Сувинский и Гайдар уехали к Днепру, под Канев, где развернулись жестокие бои. 2 июля «Известия» напечатали первую фронтовую корреспонденцию Миши. Друзья поздравили его:

— Так держать!

— Есть так держать! — согласился Сувинский.

4 июля в «Известиях» появился новый фронтовой репортаж Михаила.

Я и Полторацкий повезли Михаила в комендатуру штаба фронта. Он получил обмундирование, но, насколько мне помнится, его не аттестовали. Так он без воинского звания снова отправился в части. Мы знали, как нетерпеливо читатель ждет вестей с фронта, торопились изо всех сил, и «нестроевой Сувинский», как шутливо прозвали его «континентальцы», успевал наравне со всеми. Он писал о героизме танкистов, о подвигах пехотинцев, о мужестве людей прифронтового села, оказавшегося в зоне сражения. Эти строки, написанные в период бешеного натиска гитлеровских полчищ, пронизывала твердая уверенность в нашей победе.

Передо мной сентябрьская корреспонденция, относящаяся к периоду, когда враг стоял у ворот украинской столицы и Советское информбюро сообщало: «В течение ночи на 19 сентября наши войска вели бои с противником на всем фронте, и особенно ожесточенные под Киевом». Сувинский пишет: «В планах фашистов было взять Киев 25 июля... Не вышло. Срок перенесли на 5 августа. Не вышло. Снова отсрочка, на этот раз категорическая — 1 сентября, с балом в «Континентале». И снова расчет гитлеровского командования с треском провалился». Так писал Сувинский в те дни, вернувшись из Голосеевского леса, по которому проходил передний край обороны.

Это была великолепная корреспонденция о мужестве киевлян, о величии духа советских воинов, отстаивавших каждую пядь родной земли. Мы хвалили Мишу, а он горестно отмахивался:

— Разве так, разве столько надо писать об этом?!

Вечером Полторацкий читал стихи:

Минуя овраги и горы
Родной украинской земли,

Из Киева три репортера
На фронт, как обычно, брели.

Окрасились кровью закаты.
Тревожно гудят провода.
Горят подожженные хаты.
В Днепре помутнела вода.

Сувинский промолвил: «Ребята,
Нам дан очень маленький срок.
Пойду сквозь огонь автоматов,
Добуду четыреста строк.

В атаку ходил я немало.
С Гайдаром под Каневом был.
Но нету и нету подвала,
Без этого свет мне не мил».

Ему отвечают ребята:
«И нам написать бы пора
Про эти закаты и хаты,
Чернила стекают с пера...»

Что ж, даже в той тяжелой обстановке было время и место шутке. Все хохотали, Михаил, приподняв очки и щурясь, заливисто смеялся, приговаривая:

— Ну и жулик ты, Виктор, ну и прокурат!

...Меня вызвали в Москву. Друзья проводили на аэродром. Как раз в это время налетели фашисты, началась бомбежка. Отсиделись в щели. Вылезли, расцеловались, я побежал к самолету, а Полторацкий и Сувинский — к нашей «эмке», повидавшей виды.

Не думал я в те минуты, что простился с Мишей навсегда.

В личном деле Михаила Давыдовича Сувинского нет отметки о возвращении из последней командировки. Имя его золотом написано на установленной в конференц-зале редакции мемориальной доске, рядом с именами других военных корреспондентов «Известий», павших смертью храбрых в боях за нашу Родину. Он погиб в бою, при выходе из окружения под Киевом — очевидцы рассказывали, что осколок вражеской мины ударил его в лопатку и Миша тут же скончался. Это произошло 21 или 22 сентября 1941 года в Барышевском районе.

А минуло ему тогда от роду тридцать пять лет.

Михаил Шолохов
ЧЕСТНАЯ ЖИЗНЬ



Выходец из рабочей среды, сам рабочий в юношеские годы, Александр Бусыгин как бы воплощал не только в своем нравственном, но и физическом облике лучшие черты, присущие русскому рабочему.

Беззаветно преданный делу Коммунистической партии и Родине большевик, до конца надежный, скромный в общении с другими товарищ, горячо любящий литературу писателя, отважный воин-пулеметчик — таким был Александр Бусыгин.

Он трудно искал пути к овладению художественным мастерством и то, что постиг и сделал за свою недолгую писательскую жизнь, считал лишь началом, первыми шагами на литературном поприще. Уже будучи на фронте Отечественной войны в качестве военного корреспондента армейской газеты и все время находясь в боевых порядках, в родной ему семье простых советских людей — защитников Отечества, — Бусыгин не раз мечтательно говорил: «Если уцелею, — вот о ком буду писать после войны! Какой героической закалки народище! Не налюбуюсь!» А те, кем он любовался, — скупые на похвалы наши солдаты и офицеры — с любовью и гордостью отзывались о нем: «Бусыгин-то? Саша кучерявый? Он всегда с нами. Это — настоящий парень!»

Мечтам и творческим планам Бусыгина не суждено было осуществиться... Он прожил честно жизнь и умер честной солдатской смертью; тяжело раненный в обе ноги, он нашел

в себе силы доползти до станкового пулемета, расчет которого был уничтожен вражеской миной, и, прикрывая отход товарищей, один вел огонь до последнего патрона в ленте.

Александр Бусыгин — из тех, кто отдал свою жизнь за Родину, чью память мы свято чтим, кого забыть мы не в праве и не в силах.



Александр Иванович Бусыгин — один из зачинателей советской литературы на Дону. Он родился в 1900 году в Темернике — рабочем пригороде Ростова. Его отец был рабочим главных мастерских Владикавказской железной дороги. Свой трудовой путь Александр Бусыгин начал с десятилетнего возраста: был маляром, слесарем, плотничал, а в 1914 году поступил в те же мастерские, где работал его отец.

Незадолго до Февральской революции Александра Бусыгина призывали в армию и отправили на фронт. С первых дней гражданской войны Бусыгин в рядах Красной Армии, в которой прослужил пять лет, исполняя обязанности пулеметчика на бронепоезде, которым он затем командовал.

Демобилизовавшись в 1922 году, Бусыгин вернулся в железнодорожные мастерские и в том же году начал писать заметки в краевую газету «Советский Юг». Вскоре он стал штатным литературным сотрудником этой газеты. В редакции Бусыгин проработал четыре года. Свой первый рассказ он написал в 1923 году, тогда же вступил в Ростовское отделение «Ассоциации пролетарских писателей».

В творчестве Бусыгина преобладают темы гражданской войны и жизни рабочих. Свою первую книжку — рассказы «Двое» и «Отомстили» — Бусыгин выпустил в 1924 году. За нею последовали другие очерки, рассказы и повести. В 1925 году вышел первый сборник Бусыгина — «На рельсах», в который включен цикл рассказов «Закалялась сталь», названный автором так задолго до появления широко известного романа Н. Островского. «Поселок Кремневка», «Кудринские люди» и некоторые другие произведения Бусыгина отображают жизнь рабочего поселка, в котором вырос автор.

Наиболее крупное и художественно зрелое произведение А. И. Бусыгина — роман «Семья Бесергеновых», написанный в 1934 году. К сожалению, автор успел закончить лишь первую часть романа, во многом автобиографического. В последующие годы Бусыгиным были написаны книги: «Повесть о Челнокове», посвященная коллективизации сельского хозяйства, «Большое счастье», пьеса «Станция Узловая» и ряд других произведений. Бусыгин принимал активное участие в жизни ростовской писательской организации, редактировал выпускавшиеся ею сборники и альманахи.

В первые дни Великой Отечественной войны старший политрук А. И. Бусыгин получает назначение в Действующую армию. Он работает литературным сотрудником отдела армейской жизни в редакции газеты 19-й армии «К победе» и одновременно печатает свои фронтовые корреспонденции в центральных газетах, в том числе в «Известиях».

В октябре 1941 года, во время «генерального наступления» немецко-фашистских войск на Москву, 19-я армия и ряд других попали в окружение. Вместе со штабом 19-й армии, политотделом, различными приданными частями и подразделениями, солдатами разбитых дивизий в окружении оказалась и редакция газеты «К победе». Всего в группе, попавшей в окружение, было тысячи две солдат и офицеров. Возглавлял ее один из героев Смоленского сражения — генерал-лейтенант М. Ф. Лукин, незадолго до этих событий назначенный командующим 19-й армией.

Своим героическим сопротивлением и стойкостью окруженные соединения 19-й и других армий сковали значительные силы немцев и более чем на неделю задержали продвижение фашистских войск по направлению к Москве, дав нашему командованию возможность организовать оборону на ближних подступах к столице.

Во время одного из боев в районе Бабьих Гор, юго-восточнее Вязьмы, сотрудник армейской газеты Александр Бусыгин был убит осколками вражеской мины. По свидетельству раненного в том же бою другого сотрудника газеты «К победе», писателя И. М. Котенко, это произошло, вероятнее всего, 8 октября.

Редакция газеты «К победе» была укомплектована, в основном, ростовчанами. В том же окружении погибли или пропали без вести Григорий Гридов, Михаил Штительман, Григорий Кац, Лев Перевозкин, Евгений Дорошенко, Абрам Гандкин, Иван Соловьев, Александр Тяпкин, Борис Стругач, Петр Ключ, Семен Хавкин, Владимир Лобачев и Михаил Шецер.

Леонид Коваль

ТРИ ПИСЬМА



Я работаю в Риге редактором многотиражной газеты «Инженер Аэрофлота». Именно нам, рижанам, а не столичным газетчикам, довелось вернуть из забвения имя павшего в боях московского журналиста Паула Освальдовича Вейнберга. История его жизни изложена в трех, публикуемых ниже, письмах.

Письмо Паула брату

Действующая армия. 20 сентября 1941 года.

Приветствую брата — героя-черноморца!

Не так давно я послал тебе письмо (почтовый ящик 357), а вчера получил письмо от Зинаиды и узнал о твоём ранении. Желая от всего сердца быстрее выздороветь! Надеюсь, что ты, старый стрелок, закаленный в боях гражданской войны, будешь молодцом.

О себе. Я уже с 5 июля нахожусь в рядах Красной Армии. Когда началась война и гитлеровские полчища напали на советские границы, я уже не мог спокойно работать, хотя я и сугубо гражданский человек... Я не в состоянии был сидеть за письменным столом, писать газетные статьи и рецензировать журналы и газеты, и вступил добровольцем в народное ополчение. Нахожусь на Западном направлении и с оружием в руках (имею винтовку за № ПЯ 2511) защищаю нашу Родину, наших детей, наше социалистическое Отечество.

...Ну, желаю тебе, Индрик, скорейшего выздоровления, быстрее вернуться здоровым в свою часть. Да, не знаешь ли ты что-либо об Арвиде? (Речь идет о старшем брате, коммунисте Арвиде Вейнберге, командире Красной Армии.— Л. К.)

Жму крепко твою руку.

Брат Павлик.

30 сентября 1941 года.

Добрый день, Зиночка!

Вчера утром был срочно переведен в другую часть, но вчера же, к вечеру, я был возвращен обратно. Так что пиши по старому адресу. В последнем письме своем ты писала, что родные разобрали своих детей и волнуешься, как бы детсад не закрыли. Милая моя, ты зря волнуешься. Этого быть не может. Есть много матерей в таком положении, как ты. Следовательно, этих детей могут передать в другой детсад или слить два детсада в один.

...Теперь о посылочке Эдику. Это очень мило с твоей стороны. Но стоит ли это делать? Педагогично ли это — Эдик будет сосать конфеты, а другие ребята — смотреть, как он ест? Когда будешь у него — поцелуй его хорошенько и расскажи ему, как папа о нем скучает.

Часто, Зиночка, я вспоминаю, как мы были счастливы с тобой. Вечер. На столе горячий чай, печенье, конфеты, торт, фрукты, варенье, бутылка хорошего вина... А мы вдвоем беседуем, читаем книжки. Или Эдик рисует. Особенно вспоминаешь все это, когда стоишь на посту в холодную дождливую погоду. Ветер косматой лапой забирается за ворот, в рукава...

Ничего! Мы выстоим и победим. Обнимаю и целую.

Павлик.

Двадцать пять лет спустя

Более двадцати пяти лет минуло с тех тревожных дней, когда были написаны эти письма. Кто он, человек, писавший их? Нам удалось узнать адрес его жены — московской журналистки Зинаиды Васильевны Агнаевой. Вот ее письмо:

«...Постараюсь выполнить вашу просьбу и рассказать о моем муже, Пауле Освальдовиче Вейнберге — мы по-русски звали его Павлик. Родился он 18 марта 1903 года в Елгаве. Отец его был рабочий, строитель. Паул воевал в Красной Армии на фронтах гражданской войны. Затем учился на рабфаке. В 1927 году он стал членом КПСС. После окончания рабфака он посвятил себя журналистской деятельности. Работал в «Крестьянской газете», сотрудничал в журналах.

Я познакомилась с ним в 1934 году, когда он был редактором многотиражной газеты «Регулятор» Московского тормозного завода. В 1936 году мы поженились. Вскоре он

перешел на работу в Октябрьский райком партии инструктором по печати, а за четыре года до начала войны стал заведующим кабинетом фабрично-заводских газет в Доме печати — так тогда назывался Центральный Дом журналиста. Паул организовывал выставки, семинары, вечера для работников печати, часто выступал с лекциями и докладами, сам много писал для журналов. Он очень любил свое дело и показывал мне все, что писал. Понемногу я заразилась его страстью к газете и сама стала увлекаться его работой — в то время я работала конструктором.

В декабре 1936 года у нас родился сын Эдуард, которого отец любил просто безумно. Сыну было четыре с половиной года, когда началась война.

По состоянию здоровья Паул не подлежал призыву. Но уже в начале июля 1941 года он объявил мне, что записался в народное ополчение. Я, конечно, в слезы, а он говорит мне:

— Мой долг быть на фронте. Ты же береги сына и воспитай из него коммуниста.

...Он часто писал мне. Последнее письмо я получила с фронта 16 октября 1941 года. Он воевал в Краснопресненской дивизии народного ополчения. В дивизии этой было много лиц интеллигентного труда — журналистов, ученых, актеров. Многие из них погибли в боях под Москвой...

В ноябре 1941 года я встретила одного из сотрудников Дома печати. Он сказал мне, что разговаривал с человеком, который видел, как погиб Павлик. Он пал в бою, как солдат.

...Я тогда не хотела верить в его смерть и все годы ждала, что он вернется.

Наш сын сейчас работает инженером. У него маленькая дочка Танечка.

После гибели Павлика я стала журналисткой и двадцать лет проработала в редакции «Вечерней Москвы». Сейчас я редактор многотиражной газеты «Междугородный телефон».

* *

*

Вот и весь документальный рассказ о рядовом бойце армии советских журналистов. Сын латышского народа Паул Освальдович Вейнберг прожил короткую, но яркую и честную жизнь. Пером и винтовкой боролся он за дело ленинской партии, верным солдатом которой был всегда.
1967 г.

Всеволод Азаров

ДЕЛО ЖИЗНИ

И нам морями дальше плавать,
Владеть любой глубиной,
Наследникам гангутской славы
И начинателям иной.

Алексей Лебедев
«Лирика моря»



В последние годы мне довелось бывать на многих флотах, у советских военных моряков. И где бы, на какой отдаленной базе я ни бывал, на Балтике, на Дальнем Востоке, на Севере и на Юге, всюду беседы с моряками о поэзии неизменно сводились к творчеству лучшего нашего поэта-моряка Алексея Алексеевича Лебедева.

Да что там, на морях! В городе советских ткачей Иванове, неподалеку от которого в старинном Суздале в 1912 году родился Лебедев, участники молодежного клуба «Орбита», пригласив нас, друзей Лебедева, на посвященный ему вечер, с жадностью расспрашивали о нем и о его поэзии.

Книги Алексея Лебедева, вышедшие еще при его жизни, «Кронштадт» и «Лирика моря», давно уже числятся у книголюбов среди самых редких. Изданные позднее сборники его избранных стихотворений тоже стали малодоступными для широкого читателя.

Каким же был, каким остался в благодарной памяти современников этот человек, которому не было тридцати, когда в ноябре 1941 года Балтийское море скрыло его навек вместе с кораблем?

Я познакомился с Лебедевым в редакции журнала «Краснофлотец», выходившего в Ленинграде. И до этого я читал его стихи, проникнутые точным видением моря, знанием жизни советских моряков, стихи темпераментные, лириче-

ские. Борис Лавренев, активно сотрудничавший в «Краснофлотце», представил нас друг другу.

Передо мной стоял широкоплечий, загорелый моряк в форме курсанта Высшего военно-морского училища имени Фрунзе.

В руке у него была трубка — подарок Лавренева своему любимому ученику. Оба они были романтиками, людьми, влюбленными во флот.

Я не помню, какое свое новое стихотворение читал нам тогда Алексей Лебедев. Может быть, даже стихи о той же трубке, «Похвалу табаку», где были такие строки:

Над пеною холодной, белой,
Летел в моря удачи флаг,
Ведя Колумба каравеллы
К тем берегам, где рос табак.

И даже сумерки светлеют,
Когда курить разрешено,—
И в трубках флотских тихо тлеет
Табачных листьев волокно.

Вскоре эти стихи были опубликованы в первой книжке Алексея Лебедева «Кронштадт». Но я запомнил их такими, на небольшом листке, исписанном его стремительным угловатым, с наклоном почерком, где буквы «Т», написанные по-латински, возвышались, как маленькие мачты.

С тех пор мы встречались с Лебедевым не раз, в Ленинграде и в Кронштадте.

До училища Лебедев прошел суровую школу службы на Севере, в торговом флоте, несколько лет служил на Балтике радистом, где и остался на сверхсрочную.

Морская служба стала его призванием. Товарищи рассказывали мне о юности Лебедева, о его дружной семье, матери, которую поэт любил особой нежной любовью. Людмила Владимировна научила Алексея любить литературу, была первым ценителем его юношеских стихов. Когда Алексей Лебедев решил посвятить свою жизнь флоту, он спросил совета у матери, и она сказала ему: «Иди!»

Я вспоминаю, с каким интересом читали мы новые стихотворения Лебедева на страницах ленинградских журналов «Звезда» и «Литературный современник». Реальный мир, морской уклад, его освященные столетиями традиции и революционная новизна и молодость жили, пульсировали в этих стихах.

Лебедев мог писать о самом прозаическом — форменке, полотняной флотской робе, вкладывая в эти понятия что-то свое, увиденное зорким взглядом моряка, одухотворяя будничное, прозаическое. Так, стали для нас любимыми строфы:

Зимой и в осень вздорную,
И в сумрачный апрель —
Хранит нас сине-черная
Солидная фланель.
Что сырость нам постылая?
Живем с погодой в лад,
Имея друга милого
По имени бушлат.

Как упруги и молодо сильны эти строки! В самом ритме их живет движение корабля, его раскачка, нерушимый флотский уклад.

И первый выход в море, и радость узнавания далеких побережий — все запечатлено в лебедевских стихах.

Передо мной, на столе в Центральном военно-морском архиве, темно-серая папка с пятиугольной звездой, под которой крупные черные буквы: «Личное дело».

Лейтенант
ЛЕБЕДЕВ
Алексей Алексеевич

И еще ниже: «Народный комиссариат Военно-морского флота СССР».

Молодое, открытое всем штормам лицо. Ясный взгляд будущего штурмана, морехода. И хотя снимок официальный, в лице угадывается еще что-то, нет, не улыбка, скорее, задумка о своем, сокровенном...

И далее анкета, автобиография. «Родился в Суздале Ивановской области 1 августа (19 июля) 1912 года. Отец — юрист, мать — учительница. Комсомолец, № комсомольского билета 5 364 381».

На вопрос: «Принимали ли активное участие в Октябрьской революции и в гражданской войне?» — следует ответ: «К сожалению, за малостью лет, не принимал».

И точно такой же характер раскрывается в своем развитии в его мужественной волевой поэзии.

Лебедев был проникнут революционным духом эпохи. Революция жила в его сознании, повелевала, вела. В сознании жили и перепоясанные пулеметными лентами кронштадтские матросы. Они брали Зимний, шли по зову Ленина на все фронты гражданской войны.

Алексей Лебедев, подобно каждому из нас, рождения десятых годов, нес в душе зависть к тем, кто был несколькими годами старше и успел повоевать под знаменами Октября.

Ну да, мы мальчишками были,
Когда подходил Юденич,
Британских эсминцев пушки
Грозили тебе, Кронштадт,
Но наши отцы служили,
Вели корабли на сближение,
И запах штормов ревущих
Отцовский впитал бушлат.

Так, в образах, навеянных фильмом «Мы из Кронштадта», прозвучала, столь важная для творчества Алексея Лебедева, тема кровного родства революционных поколений.

Естественным потомом был и приход Алексея Лебедева в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, окончательно определивший выбор жизненного пути.

На протяжении всей учебы Алексей Лебедев был одним из самых деятельных военкоров и членом редколлегии курсантской многотиражной газеты «Фрунзевец», при которой существовал и литературный кружок.

Курсакты, приносившие свои заметки, постепенно втягивались в литературное творчество, писали свои первые рассказы, очерковые зарисовки, стихи. И понятно, что Алексей Лебедев, уже обладавший к тому времени литературным опытом, был непререкаемым авторитетом, правофланговым для этих ребят.

Учившийся вместе с Лебедевым морской офицер Макаренко так вспоминал об этом периоде в изданном после войны в Иванове сборнике «За Родину!»:

«В свободное от учебы время Лебедев принимал активное участие в работе редколлегии газеты «Фрунзевец». Бывало, забежит в свободную минуту в редакцию и скажет:

— Я после занятий зайду, отложите корреспонденцию мне для просмотра, и кто нуждается в моей консультации, пусть приходит».

Такою же прочною была связь поэта-моряка со старейшей нашей военно-морской газетой «Красный Балтийский флот», постоянным сотрудником которой он состоял, в которой часто печатал свои стихи.

Газета эта (сейчас она называется «Страж Балтики») выходит с 1919 года. В «Красном Балтийском флоте» печатали свои произведения замечательные писатели-моряки Борис

Лавренев и Василий Лебедев-Кумач, здесь начинал свою «литературную вахту» моряк, киносценарист, погибший в сентябре 1941 года на линкоре «Марат», Иоганн Зельцер. Николай Чуковский, Юрий Инге, Александр Зонин, Николай Браун — целая плеяда писателей флота связана неразрывными узами с газетой военных моряков Балтики.

Алексей Лебедев также принадлежит к этой плеяде. И не случайно горячее пожелание сегодняшнего литературного актива моряков дважды Краснознаменного Балтийского флота учредить в газете «Страж Балтики» ежегодную премию имени Алексея Лебедева за наиболее действенное, наиболее талантливое поэтическое произведение.

В газете уже учрежден приз имени боевого корреспондента «Красного Балтийского флота» Петра Звонкова за лучший очерк.

И пусть в годовщину Октябрьской революции или в День советской печати премия имени Алексея Лебедева венчает победителей в творческом поиске бойцов поэтической разведки.

Мне вспоминается Алексей Лебедев в конце 1939 года в ледяном, просвистанном ветрами Кронштадте. Алексей только что вернулся из боя, он шел на эскадренном миноносце «Ленин».

По заданию газеты «Красный Балтийский флот» он написал во время похода цикл стихотворений о том, что сидел и пережил. Стихи печатались рядом с боевыми корреспонденциями, они и были по сути такими, лишь окрыленными поэтическим словом.

Вот одно из таких стихотворений, помещенных в газете:

МАШИНИСТАМ МИНОНОСЦА «ЛЕНИН»

Хранители движенья боевого,
Давление поднявшие в котлах,—
О вас мое торжественное слово,
О мужестве простом в больших делах.

Когда зима, кругом смыкая льдины,
Толкала их под лопасти винтов,
Скисания не ведали турбины,
Движенье не замедлилось валов.

Шел в бой корабль иль охранял линкоры,
В большой волне зарывшись по килез,—
Всю боевую бешеную скорость
Давали машинисты кораблю.

Не зря эсминец носит имя «Ленин»,
И всем бойцам оно согрело грудь,
Корабль идет вперед без отступлений,
И этот путь — его команды путь.

Лебедев читал нам написанные в походе стихи об адмирале Нахимове, читал цикл, посвященный новым героям флота — артиллеристам, минерам. И героика прошлого сочеталась в его творчестве со славой предков. До сих пор звучит в памяти его голос:

...Умирает флагман и к победе
Русские суда не поведет.
Пробивает кровь бинты тугие,
Врач подносит терпкое питье.
Видит флагман горькую Россию
И матросов — сыновей ее.

В 1940 году лейтенант Алексей Лебедев закончил училище имени Фрунзе. В данной ему аттестации значилось: «Энергия и сила воли есть. Решителен и смел. Море, службу и свою специальность любит». И далее: «Способен пренебрегать личными выгодами для пользы службы».

Таким знали Алексея Лебедева и мы, его друзья.

Вскоре он получил назначение на подводную лодку «Л-2». Молодой штурман гордился: это было то, к чему он стремился, чем он жил. И с этого времени его связи с редакцией «КБФ» еще более окрепли.

В том же году вышла его вторая и последняя, изданная при жизни поэта, книга — «Лирика моря».

В послесловии к первой своей книге «Кронштадт» Алексей Лебедев писал:

Превыше мелочных забот,
Над горестями небольшими
Встает немеркнувшее имя,
В котором жизнь и сердце, — флот.

Это чувство владело им, когда он произносил: «Мой корабль».

В готовности проверить себя, если потребуется, «сталью и огнем сражений», встретил штурман Алексей Лебедев Отечественную войну.

Сохранилось его письмо к матери, которую Алексей очень любил, отосланное из осажденного Ленинграда 29 октября 1941 года:

«Дорогая и милая моя мама! Когда ты получишь это письмо, я буду далеко в море... Не смущайся, если даже до половины декабря не будешь иметь обо мне известий. Не закрываю глаза на то, что поход будет серьезным и не лишен опасностей, но надеюсь, что все будет в порядке. Дней пять-шесть налетов не было, а сейчас гады опять летают и бомбят. Вглядываюсь в город, особо прекрасный в своей трагической красоте. Сейчас, в милую осеннюю пору, особенно чувствуешь, как хороша жизнь, как кратковременна она, как бессмысленно уничтожение на войне всего лучшего, что вырастило и сделало человечество, и, вместе с тем, выход только один: драться, драться и драться, только огнем, только сталью, только тремя жизнями за жизнь можно сломить орды этой дегенеративной и безумной сволочи, идущей на нас. На этом стою. Не говорю «прощай», светлая моя мама, сто раз целую милые твои руки, серебряные волосы, глаза и губы.

Ничто еще не потеряно, если надежда не покидает сердце и руки держат оружие.

И теперь вот, накануне самого серьезного из походов, сделанных мною, я не раскаиваюсь в том, что выбрал себе военноморскую профессию, она отвечала моему характеру...

Твердо верю, что мы победим».

Командовавший в годы Великой Отечественной войны Балтийским флотом адмирал Владимир Филиппович Трибуц в своей книге «Подводники Балтики атакуют» так писал о моряке-поэте:

«Не могу назвать себя знатоком или даже просто любителем поэзии. Но произведения Алексея Лебедева меня волновали, и я подумал, нельзя бы как-нибудь побережь поэта? И все-таки я понял, что оскорблю молодого лейтенанта, если не подпишу приказ о его назначении штурманом подводного минзага».

Лодка, на которой служил Алексей Лебедев, была назначена на позицию в район Данцигской бухты. Там она должна была произвести постановку мин и начать активные боевые действия против фашистских кораблей. Из Кронштадта «Л-2» должна была идти в составе конвоя, следовавшего на Ханко.

Последним из моих товарищей, видевших Лебедева перед выходом в море, был писатель-балтиец Александр Крон, в ту пору редактор многотиражной газеты соединения подводников. Лебедев очень дружил с редактором газеты

подводников и охотно печатал на ее страницах свои стихи. Он говорил о своем желании вступить в партию, делился с Кроном самым сокровенным. «Раньше мне казалось, что у меня есть какие-то причины не торопиться с этим. Теперь я не мог вспомнить ни одной».

Накануне выхода в море Лебедев читал Крону много новых стихотворений. Он хранил их в записной книжке, с которой не расставался. Крон хотел предложить Лебедеву оставить записную книжку на берегу, но не счел себя вправе просить об этом.

В ночь на 14 ноября 1941 года лодка «Ленинец-2» при форсировании минного поля в надводном положении подорвалась.

Вот официальные данные об обстоятельствах гибели корабля, на котором шел штурманом лейтенант Алексей Лебедев:

«Донесение о гибели подводной лодки «Л-2» в районе острова Кери 14 ноября 1941 года.

Подводная лодка «Л-2» вышла из Кронштадта в 18 часов 00 минут 12 ноября совместно с подводной лодкой «М-98».

Лодки шли в составе конвоя, следовавшего на Ханко для эвакуации гарнизона. При форсировании минного заграждения противника «Л-2», сразу же после гибели ТЩ «ВЕРП», дважды подорвалась на mine и через час после второго взрыва затонула.

Спасено три человека».

Спасшиеся моряки рассказывали позднее о том, как мужественно вел себя Алексей Лебедев в эти трагические минуты.

Он был вахтенным командиром. Для того чтобы выяснить характер разрушений, Лебедев после первого взрыва с мостика прошел на корму. Вскоре последовал второй взрыв.

В штабных документах, не терпящих никаких излишних слов, после изложения обстоятельств гибели минзага, сказано: «Погиб поэт-маринист Лебедев».

В газете бригады подводных лодок 23 ноября 1941 года, рядом с впервые опубликованными стихами Алексея Лебедева «На отвоеванной земле», старший политрук, редактор газеты «Дозор» Александр Крон писал: «Поэтическое наследство Лебедева и после его смерти будет жить и звать балтийских моряков к новым боям за нашу победу».

В стихах, переданных поэтом незадолго до похода жене, Вере Ефимовне Петровой, мы читаем:

...И если пенные объятья
Назад не пустят ни на час
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас —

Не плачь, мы жили жизнью смелой,
Умели храбро умирать, —
Ты на штабной бумаге белой
Об этом можешь прочитать.

Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод
Там, в тайниках твоей души.

А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога — море,
Моя могила и купель.

...Когда я узнал о гибели товарища, я написал о нем, мне захотелось вспомнить его живого:

Подносит огонек рука,
Мелькнут в табачном дыме зыбком
Загар суровый моряка
И прямодушная улыбка.
«Придешь — увидимся!»

— «Добро!»

За поворотом тень пропала.
Как много вспененных дорог
И штормов между нами встало.
Теперь ты больше не придешь.
Тебя мне над Невой не встретить.
Твой не услышать голос...

Ложь!

Ведь повторяет песню ветер.
В морях погибшим — нет могил.
Их имена навечно в списках...

Именем Алексея Лебедева названы улицы в Кронштадте и в Иванове, где прошла юность поэта, названы пионерские отряды.

И стихи его живут, не стареют, учат любви к Родине, любви к морю и флоту, воспитывают в новых поколениях романтиков моря волю и смелость!

Владимир Харитонов
СОЛДАТСКАЯ СЕСТРА



О пять мне вспоминаются
Атаки и бои.
С любимыми прощаются
Товарищи мои.

Поэты мы. Поэтому
О мужестве поем:
Мы мастерству газетному
Учились под огнем.

Потерты блокнотики
Затиснуты в шинель;
Промочены в болоте мы,
Обветрены в метель.

Обласканы обмотками,
Одарены махрой —
Врага прямой наводкою
Встречали под Москвой.

И строем шли, и строчками
Ходили мы в штыки,
И слыли одиночками,
А строились в полки.

Мы тишиною грезили,
Горланили — «Ура!»
Поэзия, поэзия,
Солдатская сестра!



Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

Николай Майоров

Марк Чарный

КОМИССАР ПЕЧАТИ



По длинным коридорам 1-й Пензенской гимназии расхаживал человек в форменной учительской тужурке, с русой бородкой клинышком. Он заглядывал в классы, следил за порядком на переменах, был, как тогда говорили, классным надзирателем. Но мы, гимназисты, его не боялись. Безошибочным чутьем детей гимназисты младших классов угадывали во Владимире Васильевиче Кутузове человека доброго, душевного.

И тем же самым чутьем мы угадывали в нем человека угнетенного, стоящего почему-то не на одном уровне с учителями, имеющими звания статских советников и даже действительных статских советников. Только потом, через несколько десятилетий, я узнал, что Владимир Васильевич, по причине своего участия в студенческом освободительном движении, был у начальства на подозрении и поэтому не продвигался по служебной лестнице.

Жил Кутузов на свое небольшое жалованье скромно, зато имел богатство не совсем обыкновенное: пять сыновей. Все они учились в нашей же гимназии, все обнаружили исключительные способности, все окончили гимназию с золотой медалью. Ко времени революции 1917 года старший сын Александр уже окончил историко-филологический факультет Петроградского университета, три других были студентами, пятый собирался им стать. Эти пять братьев Кутузовых были гордостью всей гимназии.

И вдруг одно известие потрясло чинные кабинеты и

учительскую дворянско-купеческой гимназии: пять сыновей Кутузова, пять отличников, пять медалистов оказались большевиками.

Студент Харьковского университета, талантливый математик Петр Кутузов, член партии с 1916 года, вскоре вернулся в Пензу. Я помню его светящиеся чистотой и верой в революцию глаза неутомимого пропагандиста на бесконечных собраниях фронтовиков, рабочих, молодежи. Петр Кутузов стал одним из руководителей пензенских большевиков, был послан делегатом на X съезд партии, вместе с другими делегатами участвовал в подавлении кронштадтского мятежа и был награжден орденом Красного Знамени, весьма редкой в те времена наградой.

Судьба братьев Кутузовых заслуживает подробного описания; я же в этих кратких заметках могу сказать только об одном из них — об Александре.

Когда Александр Владимирович кончил курс историко-филологического факультета, известный литературовед петроградский профессор Венгеров предложил ему остаться при кафедре доцентом. Молодой Кутузов уже успел показать себя обещающим литератором. Он опубликовал небольшую работу о пензенском периоде Белинского, собрал интересные материалы о крепостном театре, о пензенских декабристах.

Но был 1916 год. Именно о нем Маяковский писал: «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год». Российская земля гудела в ожидании неизбежных социальных потрясений. В такое время Кутузова не соблазняла перспектива тихой профессорской карьеры. Он от нее отказался, пошел в армию и окончил Михайловское артиллерийское училище. Молодой прапорщик был послан в Финляндию, в гарнизон Свеаборгской крепости. С победой революции в Свеаборге появилась армейская газета. Это была большевистская газета. Прапорщик Кутузов сотрудничал в ней наряду с прапорщиком Крыленко, который после Октября был назначен главнокомандующим вооруженными силами молодой республики.

Александр Кутузов вернулся в Пензу и вскоре был избран губернским комиссаром печати. Нигде в России таких комиссаров не было, ни раньше, ни позже. Комиссариат печати объединил в одних руках руководство издательством, национализированными типографиями, информационными бюро печати, книжной и газетной торговлей.

Кутузов проявил исключительную энергию и инициативу. Издавались многочисленные листовки, газеты, журналы. В 1917 и первой половине 1918 года в Пензе еще выходили газеты кадетская, меньшевистская, эсеровская. Каждый шаг юной Советской власти и большевистских журналистов был борьбой, каждый замысел нужно было осуществлять с боем.

Александр Кутузов сам редактировал газеты «Пензенская беднота», «Ополчение бедноты», «Пензенская коммуна», «Клич», «Красный пахарь». В 1918 году в сравнительно небольшом губернском городе Пензе, где в дореволюционные времена влачила жалкое существование одна газета, выходило одновременно шесть ежедневных газет.

Интересно вспомнить, что в комиссариате печати Кутузову одно время помогал Александр Малышкин, будущий автор известных романов «Севастополь» и «Люди из захолустья». Тогда в Пензе он писал отличные очерки о первых шагах Советской власти.

После окончания гражданской войны Александр Кутузов приехал в Москву. Революция была защищена, хотя победа досталась дорого. Из пяти братьев Кутузовых в живых остались только два.

Теперь Александр мог вернуться к темам, которые волновали его с юности, — к литературе, искусству, к истории русской культуры.

Советские читатели двадцатых и тридцатых годов, в особенности москвичи, хорошо знали подпись журналиста «А. Кут». За этой подписью в «Вечерней Москве», «Советском искусстве» и других изданиях часто появлялись немногословные, но содержательные, написанные легким и точным языком рецензии, интервью, отчеты, сообщения о разнообразных фактах культурной жизни столицы — литературных и театральных диспутах, лекциях и докладах на самые разнообразные темы, выставках, новых книгах. Много таких заметок, статей написал А. Кутузов. Они отличались обычно не только тем, что давали интересную информацию, но и отражали авторскую позицию, его отношение к тому, о чем идет речь.

Между прочим, Кутузов писал в «Вечерней Москве» отчеты почти о всех публичных выступлениях Маяковского. Он любил революционного поэта, который в те годы вызывал много споров, защищал его от всяких хулителей, недругов, обывательских недорослей, но никогда не был слепым апологетом и не отказывался во многих случаях от критиче-

ских замечаний. Вряд ли кто-нибудь еще записал столько выступлений Маяковского, как Кутузов. Некоторые его отчеты-рецензии являются уникальными и представляют несомненную ценность для изучения творчества поэта, да и всей литературной среды двадцатых и тридцатых годов.

В Александре Владимировиче была некоторая замкнутость и неуживчивость, но каждый, кто его узнавал поближе, видел, что за внешней колючестью скрывается человек большой душевной чистоты, скромности, проницательности, даровитый литератор. Работать с ним было интересно.

Наступил 1941 год. Над Советской страной, над всеми завоеваниями революции нависла угроза гитлеровского уничтожения. Кутузову шел пятидесятый год. Но он не колебался. Как только раздался призыв к добровольцам вступать в ополчение, Александр Владимирович отложил перо и вступил в Ленинскую дивизию рядовым бойцом.

«Не может быть...— говорил он, расставаясь с женой,— Германии не одолеть революционной России...»

Все мы помним, как трагически сложились обстоятельства в первые месяцы войны на многих участках фронта. Кутузов был со своей батареей под Москвой, в Спас-Деменском районе. 1 октября несколько десятков гитлеровских самолетов подвергли этот район жестокой бомбежке. Наши понесли большие потери, была нарушена связь. Однажды батарея оказалась в окружении и без командира. Команду взял на себя Кутузов, и батарея продолжала бой.

В январе 1942 года Александр Кутузов погиб. Остались незавершенными работы о Белинском, о Малышкине, неосуществленными многие замыслы.

Александр Кутузов был последним из пяти братьев Кутузовых, отдавших жизнь за Родину и революцию.

Леонид Высокоостровский САМОЛЕТ ПОЛЕТЕЛ К РЖЕВУ...



Леонид Михайлович Лось... Я работал с ним на фронте около двадцати дней. Они оказались последними в жизни товарища.

До войны и в начале ее Леонид был в «Комсомольской правде». Потом его призвали в Красную Армию и назначили специальным корреспондентом «Красной звезды».

В те дни я считался начинающим репортером. И скажу прямо: не без волнения ехал на Калининский фронт. Старшиной там был опытный журналист Михаил Зотов, которого мне предстояло сменить. Другим корреспондентом был «милый парень Ленька Лось», как называли его в нашей редакции. 20 декабря 1941 года я читал в «Красной звезде» его статью из Калинина, отбитого у фашистов. 28 декабря Леонид Михайлович опубликовал очерк «Как они отступают».

«...Когда два с половиной месяца назад,— писал автор,— немцы ворвались в город, корреспондент берлинской газеты «Фелькишер беобахтер» восторженно восклицал на своих страницах:

— Отсюда до Москвы на автомобиле ровно три часа езды!»

А далее Леонид иронически развивал мысль, во что обошлись гитлеровцам эти три часа.

30 декабря я выехал в Действующую армию. Но где находится штаб фронта? Этого мы в редакции не знали.

— Езжай в Калинин! — посоветовал литературный сотрудник Миша Головин. — Там разберешься.

И вот я стою на Ленинградском шоссе за поселком Сокол. «Голосую» проходящим автомашинам. Останавливается «эмка» — наиболее распространенный вид транспорта тех времен. В «эмке» мы передвигались, в ней писали свои корреспонденции, положив под бумагу дощечку, в ней ночевали. Иные обрели в «эмке» могилу. Так случилось под Великими Луками с начальником корреспондентской сети «Красной звезды» Александром Михайловичем Анохиным.

Леонида Лося ожидала другая судьба...

Итак, «эмка» на Ленинградском шоссе остановилась. Командир, сидевший рядом с шофером, проверил мои документы, спросил:

— Куда же вы хотите ехать?

— В Калинин...

— Вам повезло. Будете прямо в военной комендатуре города...

В разбитый Калинин мы въехали поздно ночью. 190 километров пути от Москвы потребовали двенадцати часов. Дорога, изуродованная и разбитая боями, ставшая одной из фронтовых магистралей, была так загружена, что автомобиль двигался едва быстрее лошади. К фронту тянулись колонны грузовиков с войсками, снарядами, фуражом, авиабомбами, шли танки, бензоколонны... Завершалась подмосковная битва, в которой мы вырвали инициативу из рук врага и диктовали ему свою волю.

Утром я нашел штаб дивизии генерала Поленова. Генерал завтракал. С ним же сидел за столом корреспондент «Правды» Борис Полевой.

— Да тебе, батенька, надо в Кушалино, это в тридцати километрах отсюда, — говорил Поленов. — Конев где-то там*, значит и Зотов с Лосем должны быть поблизости.

— А где же искать машину, за Тверцой, что ли? — спросил я, развернув карту.

— Зачем же искать, садись завтракать, — возразил генерал... — Мы же Калинин брали, а Лось писал о нас. Поэтому тебе рюмка полагается, как опоздавшему к баталии. — Потом он утешил: — Не горюй, городов впереди много, будешь и ты писать... В штаб фронта едет на летучке мой заместитель. Вот тебе и попутчик.

* Тогда И. С. Конев командовал Калининским фронтом.

В полдень я приехал в Кушалино.

— Слушай, писатель,— посоветовал на прощание заместитель командира дивизии,— иди в хозчасть и проси валенки. В сапогах отморозишь ноги.

Я поблагодарил, потому что холод всю дорогу напоминал о себе, и уже хотел спросить, где разместились вещевые склады, как меня окликнули:

— Товарищ, вы писатель? — рядом с летучкой стоял молодой человек.

Одет он был как и все фронтовики: в теплый полушубок, подпоясан широким офицерским ремнем. Сбоку висел трофейный парабеллум — свидетельство, что человек принимал участие в наступательной операции. На ногах — добротные валенки, в которые не очень ловко были заправлены стеганые ватные штаны. А на голове — выдавшая виды, отороченная рыжим мехом солдатская шапка-ушанка. Ее отвороты были опущены и завязаны тесемкой на затылке. Форма явно не по-военному сидела на нем. И вместо ответа я спросил:

— Вы недавно из запаса?

Ноги у меня до того замерзли, что я никак не был расположен к беседе на литературные темы. Ответ незнакомца был неожиданным:

— Да, я из «Комсомолки». А сейчас корреспондент «Красной звезды». Моя фамилия Лось,— как бы оправдывался человек, и добрые глаза его лучились.

И вот сейчас, когда пишутся эти строки, невольно вспоминается этот глубокий взгляд, ясные и проникновенные глаза. Как я узнал позже, Леонид Михайлович был очень общительным человеком, любил людей, стремился чем-то помочь всякому, кто нуждался в помощи. Но Лось спокойно открывал огонь по врагу.

Однажды он раскроил гитлеровцу череп от уха до уха малой саперной лопатой. А потом объяснял:

— Ну что же мне было делать! Идиот ворвался в сарай, как с неба свалился. Орет: «Хэнде хох!» и щелкает автоматом. Я же обувался за дверью, фриц не заметил меня...

Когда Леонид рассказывал об этом, глаза его были грустными. Но стоило пойти беседе о других делах, как они снова засветились.

Но сейчас мы стояли в центре села Кушалино, у самой церкви.

Мы познакомились.

— Зотов велел быть дома, — Леонид указал рукой на избушку, стоявшую рядом с церковью. — Он поехал на узел связи передать в редакцию свое сочинение, вот-вот будет. — А потом, вспомнив совет заместителя командира дивизии, забеспокоился: — Без валенок сейчас нельзя, пойдёмте, быстро получим, склад в церковных подвалах...

Я посмотрел на крестьянский домик, притулившийся к колокольне. Спросил:

— Вас ни разу еще не бомбили в этой обители?

Леонид засмеялся:

— Нет еще, — заметил он. — Зотов сказал, святой дом убежит...

Немцы не занимали села Кушалино. Домики в нем почти сохранились, за исключением некоторых, пострадавших во время воздушных бомбардировок. Наша изба представляла собой добротный сруб из толстых сосновых бревен, сложенный на северный манер: первый этаж — хлев и складские помещения, второй — жилые комнаты. Окна закрывались снаружи на ночь дубовыми ставнями с железными перекладинами, которые запирались изнутри. Поэтому о световой маскировке в вечерние часы думать не приходилось.

— Вот тут мы и обитаем, — произнес Лось.

В это время за окном загудела автомашина. Она остановилась около дома, и кто-то стал открывать ворота во двор. В сени вошел человек. Было слышно, что он околачивает от снега валенки.

— Здорово, — раздался знакомый голос.

— А у нас гости, — ответил Леонид Михайлович.

В комнату вошел Зотов.

— Знаю, — весело заговорил он, — только что получил телеграмму. Снимают меня... Он не гость, а хозяин теперь.

— Не снимают, а сменяют, — возразил я. — В редакции тебя ожидает портфель начальника отдела партийно-политической работы.

— Ну, ладно, не будем спорить, — заключил Зотов. Потом как бы скомандовал: — Всем сесть в машину, пока я старший. — И, обращаясь к шоферу, добавил: — Ступников, к торжественному маршу, заводи!

Минут через десять мы выезжали за околицу. Надвигались сумерки. Ступников, молодой красноармеец, не жалел газа. Я сидел с тезкой на заднем сиденье. Нас подбрасывало

на ухабах, иногда даже сталкивало лбами, но Миша не обращал внимания на бешеную скачку и погонял водителя: «Быстрей, быстрей!..»

— Куда мы едем?

— Как куда? Сегодня же тридцать первое декабря...

И к ночи мы уже были во втором эшелоне штаба фронта. Начинался новый, 1942 год...

Праздновали недолго. Утром группа вернулась в район командного пункта.

Хорошо встретили нас в оперативном отделе. Офицеры, посвятив нас в обстановку на фронте, охотно делились впечатлениями о минувших боях, называли героев боев за Калинин, Старицу... Леонид Лось заинтересовался одним партизаном, спросил:

— А о нем можно писать, ведь он же в тылу врага?

— Нет, он уже на территории, занятой нашими войсками.

Леонид Михайлович тут же уточнил место, где находился герой, быстро попрощался и уехал.

— Завтра к вечеру буду.

Он вернулся на другой день. Привез материалы о партизанах, дерзко терроризировавших гитлеровцев в районе Калинина. Очерк о партизанском командире «Красная звезда» опубликовала 16 января 1942 года. То было последнее выступление Леонида Лося в газете.

Поездка по штабу заняла почти весь день, который в январе очень короток. Уже темнело, когда мы вернулись с Михаилом Зотовым в свою избу.

— Если оставишь корреспондентский пункт в этом селе, то выбери домик где-нибудь на окраине, — говорил Зотов. — У церкви перекресток дорог, постоянные пробки. Фрицы еще не разобрались что к чему. А присмотрятся — грохнут из-за облаков...

Насколько же верны оказались слова Зотова, которым тогда я не придавал особого значения! Он уехал в Москву третьего января. Мы с Леонидом Михайловичем еще продолжали знакомиться с людьми в районе командного пункта, а ночевали «у себя дома». Кажется, через неделю после отъезда Зотова, ночью разбудил нас вой фашистских бомбардировщиков.

Первым взрывом сорвало оконные рамы и двери. Зазвенели стекла. Грохнулся на пол висевший в переднем углу иконостас. Потом воздушная волна унесла крышу. Рухнул

потолок. Бомбардировка стихла так же быстро, как и началась. Я услышал рокот автомобиля. Потом голос:

— Давай сбросим ворота,— говорил Леонид Лось, очищая нашу «эмку» от обломков дворовых построек.

Вид у нее был неважный. Без стекол и фар, с помятым капотом и кузовом. Но мотор работал исправно, резина уцелела. Мы выехали за село.

Утром рассказывали начальнику политуправления дивизионному комиссару Дребедневу о ночных злоключениях.

— Черт вас поселил на самом бойком месте,— выругался он,— жметесь к большим дорогам. Писатели, одним словом...

И он развернул оперативную карту, ткнул в нее карандашом:

— Не Каракумы здесь, деревня на деревне сидит. Выбирайте в стороне от тракта...

В этот день мы переехали в небольшое село, расположенное в дремучем лесу.

Вспоминается, как умел Леонид Михайлович быстро сходиться с людьми — местными жителями. Народу в селе было немного: старики, женщины, дети. Все остальные — на фронте. В каждой семье — думы о них, мучительные, тяжелые. Некоторые уже получили похоронные извещения, иным писали из госпиталей. Но многие не имели никаких сведений об ушедших в армию.

— Что будет? — сокрушалась хозяйка нашего дома.

У нее муж и два сына были призваны в самом начале войны. Один мальчик и две девочки — все пионеры, оставались с матерью. Иногда они о чем-то шушукались. И вдруг мальчуган сказал Лосю:

— Дядь, мы хотим бежать в партизаны...

Леонид Михайлович внимательно и серьезно выслушал, спросил:

— Ребята, а на кого мать оставите?

А когда о тайном замысле детворы узнала мать, она заплакала. Хотела было выдрать озорников. Леонид вступился:

— Этого делать нельзя. Вся страна хочет победы. Дети поймут, если вы поговорите с ними, как с равными.

Минула еще неделя. Мы уже побывали в войсках, вернулись. Сели писать. Потом Лось съездил на узел связи, привез телеграмму, полученную из Москвы. В ней сообщалось примерно следующее: в деревне под Ржевом крестьяне переклоли вилами гитлеровцев и помогли войскам занять ее.

Лосю было передано, чтобы он любой ценой летел на место и дал очерк.

Мы решили посоветоваться с начальником политуправления фронта.

— Я об этом ничего не знаю,— откровенно сказал он, прочитав телеграмму.

Пригласили начальника отделения информации политуправления.

— Позавчера о вилах сообщали из армии,— лаконично заметил он.— Я не очень поверил этому, но включил в политдонесение...

Утром 18 января 1942 года, когда едва занялся рассвет, самолет «У-2» оторвался от полевого аэродрома. Он сделал круг. Я помахал ушанкой. Летчик покачал плоскостями. Лось поднял руку над кабиной. Затем самолет взял курс в сторону Ржева. Позже стало известно, что в те же часы враг контратаковал и занял деревню, куда летел журналист.

Самолет не вернулся...

Мы долго его искали. Командующий фронтом приказал войскам сообщить о всех «У-2», которые видели 18 января в воздухе. Из одной дивизии пришло донесение: «Около Ржева упал в пламени связной самолет. Он рухнул в лес, занятый противником».

Николай Родионов ПОЭТ, СЫН ПОЭТА



то было в январе 1942 года. Войска Волховского фронта вели упорные и кровопролитные бои, пытаясь помочь осажденному Ленинграду.

В редакцию армейской газеты «Отвага», где я работал начальником отдела пропаганды, явился подслеповатый человек, в очках, одетый почти по-летнему, хотя стояла суровая военная зима...

— Всеволод Багрицкий, — отрекомендовался он, и сразу же мы узнали в этом сутуловатом и несколько неуклюжем юноше сына известного поэта, автора бессмертной поэмы «Дума про Опанаса» Эдуарда Багрицкого.

Быстро соорудили солдатский ужин, достали водки и выпили за неожиданную фронтовую встречу. Потом начались нескончаемые воспоминания о Москве, мирной жизни, смешные рассказы о литературном быте.

Коллектив редакции был разный и интересный: философ Б. Бархаш и филолог Л. Перльмуттер, художник Е. Вучетич (ныне известный скульптор), журналисты Л. Моисеев, В. Кузнецов, А. Кузмичев и другие. Большинство из них народ не строевой и попали на фронт еще в рядах народного ополчения. Каждому было что вспомнить, многие москвичи неоднократно видели и слушали Эдуарда Багрицкого и теперь рассказывали сыну об этих встречах.

В. Багрицкий приехал на фронт из Чистополя, небольшого городка, расположенного недалеко от Казани, куда была эвакуирована группа московских писателей. Несмотря

на то что Всеволод был снят с воинского учета из-за плохого зрения, он обратился в Главное политуправление РККА с просьбой направить его во фронтовую печать. Его ходатайство поддержал А. А. Фадеев, руководивший тогда Союзом писателей СССР.

И вот после долгих мытарств по дорогам войны Багрицкий добирается наконец до места назначения и сидит теперь среди нас, уже обстрелянных журналистов, побывавших на других фронтах, в жестоких боевых переплетах.

Всеволод рассказывает о жизни маленького городка, о гибели Марины Цветаевой в Елабуге, читает ее, незнакомые нам, стихи:

Я вечности не приемлю!
Зачем меня погребли?
Я так не хотела в землю
С любимой моей земли!..

Эту строфу Всеволод повторял неоднократно, как будто томимый предчувствием...

Потом он читает стихи отца, читает проникновенно, и мы, замороженные его чистым и звонким голосом, забываем про войну и фронт...

Тополей седая стая,
Воздух тополиный...
Украина, мать родная,
Песня — Украина!..

Я слушал Багрицкого и мне вспоминалось далекое прошлое... Писательский дом в проезде Художественного театра, небольшая квартирка Багрицких, живших тогда вместе с семьей Марка Колосова, своеобразный литературный вечер... Пришли А. Фадеев, В. Ермилов, Е. Усиевич, неуемный Васильев, сразу же начавший читать стихи, притоптывая в такт тексту. Здесь, в этой естественной и непринужденной обстановке, я впервые услышал Эдуарда Багрицкого. Его голос был молодым, звонким, несколько даже резким. Он читал горячо, темпераментно, никого не оставляя равнодушным... И сейчас, спустя почти десять лет, слушая его сына, я обнаружил удивительное между ними сходство. Оно было и в мимике лица, в жесте, и в интонации, и в безыскусственности произношения стиха, которое было свойственно им обоим...

Очередной налет немецкой авиации возвращает нас к действительности. Бомба попадает в дом, расположенный недалеко от редакции, и разворачивает его до основания. Мы пытаемся помочь оставшимся в живых, и тогда, может быть

впервые, Всеволод увидел, что такое подлинная война, хотя самое тяжкое было еще впереди.

Затем начались непрерывные бои. Надо было во что бы то ни стало прорвать кольцо блокады Ленинграда, который переживал трагические дни.

Стояли сорокаградусные морозы, и наступающие бойцы шли по колено в снегу, иногда наскоро вырывая снежные окопчики, чтобы согреться или укрыться от вражеского огня.

Багрицкий был почти все время с наступающими ударными частями, он редко появлялся в редакции, и то для того, чтобы сдать очередную корреспонденцию или очерк.

За короткую фронтовую жизнь Багрицкого мне пришлось, пожалуй, больше всех быть с ним вместе. Возможно, это было связано с тем, что у нас оказалось много общих знакомых и дорогие воспоминания сблизили нас, а может быть, потому, что меня, как и Багрицкого, одолевало желание увидеть все своими глазами.

После жестоких боев ударные части Волховского фронта заняли западный берег реки. Наступление было сопряжено с большими жертвами.

Мы идем с Багрицким по льду древней русской реки и куда ни взглянем — везде трупы, трупы, трупы. Они лежат в разных позах, уже замерзшие и окостенелые, заносимые колючим январским снегом.

На другом берегу Волхова те же следы жестоких боев и тоже трупы, но уже немецких и испанских солдат из «голубой дивизии». Повсюду руины, пепел и только уцелевшие трубы от русских печей, когда-то согревавших деревенские избы. Сейчас они словно чьи-то изуродованные руки, обращенные к небу и просящие о милосердии. Но враг был жесток. Уползая на запад, он старался стереть с лица земли все живое и оставить после себя пустыню...

Я видел, как темнело лицо Багрицкого, сжимались его руки и он, вглядываясь своими близорукими глазами в этот страшный мир разрушений и смерти, шептал слова проклятий.

Но что это? Перед одной из обугленных воронок закурился дымок, мы подходим ближе и неожиданно проваливаемся вниз... Это, оказывается, землянка, где укрывались оставшиеся в живых советские люди. От них мы узнали, что на этих выгоревших и мертвых местах совсем недавно стояла небольшая деревня Новые Быстрицы.

21 августа 1941 года деревню заняли немецкие оккупанты. За пять месяцев они разорили деревню, забрали весь скот и птицу, хлеб, теплые вещи, а колхозников заставили день и ночь рыть окопы, блиндажи, могилы, подвозить снаряды к передовой...

Перед отступлением они уничтожили деревню, а до этого расстреляли двенадцать пленных красноармейцев и сожгли их. Они убили многих колхозных активистов и комсомольцев.

Мы с трудом выбираемся из землянки. Нас провожает восьмидесятилетний старик Иван Степанович Кукушкин. Скрюченными, обмороженными руками он показывает на пепелище, где когда-то была живая, веселая деревенька Новые Быстрицы, и говорит:

— Напишите об этом, сынки, обо всем напишите... Пусть все узнают, какие это ироды — немецкие фашисты...

Мы встретили женщину с годовалым ребенком. Вид ее был ужасен, ее словно только что сняли с креста после распятия... Женщина была полураздета, обморожена, вся в кровоподтеках и ссадинах, а ребенок уже находился в смертном забытии. Быстро разыскав санитаров, отправили женщину с ребенком в санбат...

Решение пришло тут же: мы расскажем о трагедии небольшой русской деревни Новые Быстрицы немедленно, посвятим этому газетную полосу или может быть даже целый номер.

Вернувшись в редакцию, мы сразу принялись за обработку материалов. И вот здесь я с трудом узнавал Багрицкого. Куда девалась его созерцательность, замкнутость! Багрицкий сразу стал деятельным, стремительным, по-солдатски собранным. Он быстро обрабатывал заметки, печатал их сам на машинке, правил и снова печатал, ходил из угла в угол редакционной землянки, проговаривая какие-то поэтические строчки.

Через два дня, 7 февраля 1942 года, в армейской газете «Отвага» вся третья полоса была отдана материалам под общей шапкой: «Большое горе маленького колхоза». В подзаголовке стояло — «Как издевались фашистские изверги над жителями деревни Новые Быстрицы».

Большая часть материалов принадлежала Багрицкому. На этой полосе опубликовано и стихотворение поэта «Встреча». По своей пластической выразительности, мужественности, по отсутствию в нем выпяченных, пустопорожних

слов это стихотворение, на мой взгляд, принадлежит к лучшим произведениям нашей поэзии военных лет.

В этом же номере газеты, на четвертой полосе, была помещена заметка под названием «Предатель», которую тоже написал Багрицкий. В ней шла речь о назначенном немцами старосте деревни Новые Быстрицы Алексее Панкратьеве. По вине этого человека, продавшего душу врагам, погибло много советских людей. По приговору военного трибунала Панкратьева расстреляли. Нам привелось увидеть предателя и услышать его последние слова о прощении и помиловании...

Перед нами сидел небольшой человек с рыжей, аккуратно подстриженной бородкой и прилизанными волосами. В его мутных, остановившихся глазах трудно было прочесть что-либо человеческое. Он повторял все время одно и то же, одну и ту же, как ему казалось, спасительную для него фразу:

— Меня заставили и нету в этом никакой моей вины...

— А почему вы выдали немцам пленных красноармейцев? — спрашивает Багрицкий.

Прилизанный человек молчит. В его мутных глазах не произошло никакого движения.

— А почему вы донесли немцам о группе советских бойцов, вышедших к Волхову из окружения? — опять спрашивает Багрицкий.

И снова никакого движения в глазах прилизанного человека.

— Так это же по малодушию. О том и прошу товарищей, чтобы, значит, учли и простили...

Мы потом молча шли с Багрицким по разбитой военной дороге. Он вдруг остановился и, словно отвечая каким-то своим мыслям, глухо сказал:

— А знаете, этот человек во мне не вызвал жалости... Наверное, я мог бы тоже его расстрелять...

Что касается заметки, помещенной в «Отваге», то она была написана гневно, отличалась публицистической остротой и давала точную, убедительную характеристику облика изменника Панкратьева.

Однажды, направляясь в очередной поход на передовую, мы с Багрицким заблудились. Это было очень опасно, потому что понятие «передовая» было относительным, так как немцы находились кругом, а отдельные группы их вклинивались в боевые порядки наших частей. К этому следует доба-

вить, что уже вечерело, а мороз крепчал. Воинская часть, которую мы разыскивали, очевидно изменила свое месторасположение. Что делать? Багрицкий предложил соорудить снежный окоп, наподобие тех, что мы видели у бойцов во время наступления, зарыться в него и переждать до утра. Сказано — сделано. Мы отходим несколько в сторону от дороги, углубляемся в лес и зарываемся в сугроб.

В высоком и холодном небе над нами мирно мерцают звезды. Куда-то далеко-далеко уходит Млечный Путь, а совсем рядом немцы уже начинают бросать вверх осветительные ракеты. Низко над лесом проплыл в немецкую сторону наш «У-2», и сразу же в небе вспыхнули разноцветные струи трассирующих пуль.

На дороге затарактел грузовик. Мы быстро выскочили из-за своего снежного укрытия, встали поперек пути и заставили шофера остановиться. Состоялся крепкий разговор. Водитель не хотел сажать нас на машину, ссылаясь на указание своего командира, запрещающее подбирать на дорогах всяких посторонних. Но мы добились своего и, подбрасываемые на ящиках со снарядами, направились дальше...

Поздно ночью добрались до штаба полка, отличившегося в последних боях. Это был блиндаж, из которого только что выбили немцев. Знакомимся с командиром и комиссаром полка.

— Багрицкий?! Как же, как же, читал кое-что... «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед...» Эх, хорошо!.. — сверкнув глазами, комиссар похлопал Багрицкого по плечу.

Протирая вспотевшие очки, Всеволод смущенно заметил:

— Да... Но это стихи моего отца...

— Ну и что же, читали стихи и сына, — не растерялся комиссар. — Как здесь ни жарко, в этом чертовом логове, а за своей газеткой следим...

Снова начались воспоминания, рассказы о прошлом, стихи. Командир включил трофейный приемник и стал ловить Москву. Сквозь шум, треск и разноязычный хор на мгновение появился еле слышимый голос Левитана... Все притихли. Но левитановский голос быстро исчез и вместо него полились звуки лихих, бравурных маршей и послышалась немецкая речь.

— Я слышал вечернюю сводку. Ничего пока утешительного... — невесело проговорил комиссар.

Мы пробыли в полку два дня, собрали материал, а Багрицкий приехал в редакцию с новым стихотворением об отважном связисте Андрееве. Это стихотворение по своему жанру было близко к балладе, отличалось мужественной интонацией и рассказывало о войне суровую правду, без прикрас и шапкозакидательства. Такие стихи любили бойцы, хорошо знавшие, что такое фронтовое, окопное лихо.

Очень жаль, что стихотворение это до сих пор не разыскано. Оно было напечатано в «Отваге», но комплект газеты не сохранился — подшивка погибла, когда редакция, вместе со всей армией, попала в окружение. Не удалось найти ни комплекта, ни отдельных номеров газеты со стихотворением о связисте Андрееве даже в Ленинской библиотеке и в архивах. Может быть, газета с этим стихотворением сохранилась у кого-нибудь из тогдашних читателей «Отваги»?

В один из зимних февральских вечеров я встретил Багрицкого возбужденным. Он ругался, угрожая обратиться в Политуправление фронта с просьбой откомандировать его в другую газету.

— Что такое, что с вами?

— Нет, я так больше не могу, он правит не только заметки, но и стихи. Понимаете, стихи! Вы посмотрите, что получается, — и Багрицкий совал мне свежий оттиск газеты.

Всеволод был вспыльчив, он нетерпимо относился ко всякой лжи и фальши. Особенно болезненно он переживал, когда в его заметки или стихи вносились поправки, причем не всегда грамотные, иногда менявшие мысль, тот или иной смысловой оттенок или интонацию, психологический подтекст.

На этой почве у него с редактором газеты, который имел пристрастие ко всяким «округлостям» стиля, вставкам и допискам за авторов, нередко происходили споры и стычки.

Багрицкий присел на пенек, достал блокнот и что-то быстро написал.

— Вот, пожалуйста, передайте это в Политуправление, — обратился он к поэту Павлу Шубину, корреспонденту фронтовой газеты, находившемуся тогда в нашей армии. А сам быстро подтянул ремень, поправил сумку и, улыбнувшись, сказал: — Ну, а я в хозяйство Гусева, там, кажется, жарко сейчас, но интересно...

Действительно, в эти последние февральские дни конники Гусева вели ожесточенные бои за овладение городком

Любань. Это был важный населенный пункт в борьбе за освобождение Ленинграда.

Этот разговор произошел 24 февраля 1942 года. А через два дня, когда на лес спускались вечерние сумерки, на простых русских санях рядовой солдат-возница привез мертвого Багрицкого. 26 февраля, в 6 часов вечера, он был убит осколком бомбы во время налета немецкой авиации на деревню, где расположились боевые подразделения Гусева.

Потрясенные этой неожиданной утратой, мы долго стояли вокруг умолкнувшего Багрицкого, всматривались в его холодное побелевшее лицо, глубоко запавшие глаза...

И в те горькие и скорбные минуты мне опять вспомнилось прошлое... Февраль 1934 года. Клуб писателей. На высоком постаменте гроб с телом Эдуарда Багрицкого... В почетном карауле сменяются писатели и рабочие, студенты и ученые, командармы и красноармейцы, дети и взрослые... Сдерживая слезы, читает над гробом поэта стихотворение хрупкая Вера Инбер:

Возлежать на смертном ложе
В тридцать с лишним лет...
Мало, мало же ты прожил
На земле, поэт!

Его сыну, Всеволоду Багрицкому, было суждено прожить еще меньше. Он погиб 19 лет, а его фронтовая жизнь исчислялась всего 34 днями. Мало, мало же ты прожил на земле, поэт!..

Находившиеся поблизости бойцы саперного батальона помогли нам вырыть в глубоко промерзшей земле могилу, сколотить из свежих сосновых досок, предназначенных для блиндажей и траншейных сооружений, простой солдатский гроб.

Мы несли его к могиле на плечах, лесной тропой, в ясное зимнее утро. Обо всем этом Сева рассказал сам еще в своем пророческом письме к матери 2 октября 1938 года. В этом письме есть такие строки:

Он упал в начале боя.
(Показались облака...
Солнце темное лесное
Опускалось на врага.)
Он упал, его подняли,
Понесли лесной тропой...
Птицы песней провожали,
Клены никли головой.

Гроб поставили на насыпь, сказали несколько скупых и коротких слов, отдали последнюю воинскую почесть — салют...

Рядом с могилой поднималась вверх молодая сосна. На ее стволе художник редакции Женя Вучетич вырезал немного перефразированную строфу из стихотворения Марины Цветаевой, которую так часто любил повторять Багрицкий, и короткие надмогильные слова:

Воин-поэт Всеволод Багрицкий.

Убит 26-го февраля 1942 года.

Низко поклонившись свежей могиле, мы уходили вперед, навстречу новым испытаниям и потерям, а Всеволод Багрицкий остался лежать в древней новгородской земле, за которую он отдал свою совсем юную жизнь.

Николай Чуковский

В ОСАДЕ



Переход нашего Балтийского флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года — одно из самых героических и трагических событий войны. Моряки уходили на военных кораблях, гражданское население — на транспортах. Множество эстонцев уплывало на этой армаде с женами и детьми. Советская власть установилась в Эстонии всего год назад, там кипела ожесточенная классовая борьба, и все эстонцы, участвовавшие в этой борьбе на стороне революции и Советской власти, знали, что с приходом немцев им и их семьям грозит кровавая расправа. Корабли были переполнены, на палубах столли, не было места, чтобы сесть. Пока грузили людей на корабли, немцы, прорвав нашу оборону, заняли всю верхнюю часть Таллина. Наша истребительная авиация, потерявшая аэродромы, действовала с узкой косы, вдававшейся в море. Краснофлотцы, контратакуя наседающих немцев, до последней минуты удерживали порт. Одной из этих контратак командовал Орест Цехновицер, в то время полковой комиссар, а еще месяц назад — ленинградский литератор, литературовед, книжный человек изысканных вкусов, исследователь творчества Одоевского, Достоевского и Федора Сологуба. Он поднял залегших краснофлотцев, повел их вперед — и был убит...

Вспоминая о нашем уходе из Таллина, я не могу не рассказать и о Лаганском, моем спутнике. Еремей Миронович Лаганский был ленинградский литератор — журналист, очер-

кист, судебный репортер. Свою журналистскую деятельность Лаганский начал еще до революции. У него в жизни была заслуга, которой он очень гордился, — будучи репортером одной газеты, он в предреволюционные недели обнаружил, что императрица Александра Федоровна тайно похоронила убитого Распутина в парке Александровского дворца в Царском Селе, перед своими окнами. Газета намекнула на это, и получилась сенсация, дня на три взволновавшая всю Россию.

Я встретил его в Таллине летом 1941 года и, помню, с первого взгляда был поражен происшедшей с ним переменой. Я знал его суетливым пожилым человеком в пенсне, которого, казалось, и представить невозможно в военной форме. А тут вдруг оказалось, что военно-морской синий китель сидит на нем превосходно и очень ему идет, и что человек он вовсе не суетливый, а, напротив, спокойно-медлительный...

В те дни немцы уже обтекали Таллин с трех сторон, сужая петлю, и многим казалось, что это громадная ловушка, из которой не уйти. Впрочем, поезда на Ленинград еще ходили, но их уже обстреливали, и было ясно, что это последние поезда. Внезапно редактор маленькой военной газетки, в которой работал Лаганский*, получил приказание — отправить одного из своих сотрудников в Ленинград. Ясно, что тот, кого отправят, окажется вне немецкой петли. Редактор посоветовался в политотделе и решил отправить Лаганского как старшего по возрасту: Лаганскому было уже за пятьдесят. В редакции все считали это решение справедливым, и воспротивился ему только один Лаганский. Он ужасно обиделся. Два дня ходил он по начальству, убеждал, доказывал — и остался в Таллине, а вместо него в Ленинград был командирован другой работник.

Я уходил из Таллина вместе с Лаганским. Шло нас человек пятнадцать — все наземные работники нашей уничтоженной авиабригады. Только тут я оценил Лаганского по-настоящему. Не было среди нас человека более стойкого, решительного, умелого, не поддающегося панике. Он был сообразителен, тверд и отважен.

У него было удивительное практическое чутье: как устроить ночлег поудобнее, как раздобыть обед. Он научил нас

* Интендант 3-го ранга Е. М. Лаганский в это время был писателем-корреспондентом редакции газеты политотдела 2-й бригады морской пехоты. Позже, уже в Ленинграде, он был прикомандирован к политотделу спецчастей Военно-Воздушных Сил и работал в многотиражке гидроавиации.

не бояться немецких самолетов, обстреливавших те лесные дороги, по которым мы брели; сам он не обращал на них никакого внимания. Ко мне он относился заботливо и покровительственно; я с трудом поспевал за ним, хотя был лет на пятнадцать моложе его и гораздо крепче. Не думаю, что мне удалось бы выйти из Эстонии, если бы моим спутником не был Лаганский.

Главной его особенностью был оптимизм. Он верил не только в конечную победу, но смотрел оптимистически на исход самых ближайших событий. Он уверял меня, что немцам никогда не удастся дойти до Ленинграда и что они вот-вот будут разбиты. В августе 1941 года немцы действительно были задержаны в Кингисепском районе Ленинградской области недели на две. Во время этих двух недель Лаганский был совершенно убежден, что оптимистический его прогноз уже осуществляется. У нас обоих были в Ленинграде семьи. Однако моя жена с двумя детьми уже в первой половине июля выехала из Ленинграда на восток. Лаганский, зная об этом от меня, чрезвычайно не одобрил ее поступка. Он вообще не одобрял массовой эвакуации ленинградцев, начавшейся летом 1941 года. Своей жене и дочери он запретил уезжать куда бы то ни было. Он, разумеется, не предвидел осады города, не допускал даже такой возможности, и эвакуация казалась ему проявлением паники и малодушия.

К сожалению, он оказался неправ: ленинградцы, уезжавшие из города в летние месяцы сорок первого года, до того как вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо, и себя спасти, и оказали услугу осажденным, уменьшив количество едоков. Лаганский, оставив в городе жену и дочь, заплатил за свою ошибку жизнью.

Голод в осажденном Ленинграде начался с октября. Жена и дочь Лаганского по-прежнему жили в Ленинграде на улице Жуковского в своей просторной, хорошо обставленной, но неотапливаемой квартире. Карточки у них были иждивенческие, по которым не выдавалось почти ничего. Лаганский жил в редакции военной газетки на Васильевском острове и питался вместе со мной в военной столовой; он получал триста граммов хлеба в день, две тарелки супа, одну столовую ложку каши, один кусочек пиленого сахара. Но он не ел ни хлеба, ни супа, ни каши, ни сахара. Он завел целую систему портативных судочков и складывал в них все, что ему выдавалось; в свободные от работы часы он шел к себе на квартиру и отдавал судочки жене. Он уверял жену и дочь, что

совершенно сыт, и с наслаждением смотрел, как они съедают его паек. Разумеется, он отлично знал, чем все это для него кончится. В марте 1942 года он умер голодной смертью.

Жена его, Тамара Григорьевна, узнала о его молчаливом подвиге только после его смерти. Он пожертвовал жизнью ради нее, но, к сожалению, спасти ее ему не удалось. Она пережила его только на год. В 1943 году, уже после прорыва блокады, когда продовольственное положение города значительно улучшилось, она погибла от артиллерийского снаряда, влетевшего в окно ее комнаты...

Осада, уже не полная и потому окончательно потерявшая для гитлеровцев всякий смысл, продолжалась еще целый год. Здесь проявилась бездарность стратегической мысли немцев: не умея перестроиться, не умея понять, что произошло, они только сковывали свои собственные силы. Потеряв превосходство в авиации, они усилили обстрел города из тяжелых орудий, разбивали то дом, то трамвайный вагон, убивали случайных прохожих на улицах, но все это уже было только проявлением бессильной злобы, ничего не способной изменить.

Никогда за все время своего существования Ленинград не был так прекрасен, как в 1943 году. Небывалое по торжественности и мощи сочетание зданий, небес и вод околдовывало душу. А когда пришла весна и ночные зори запылали в уцелевших стеклах бледным и сложным северным огнем, из всех садов, дворов, скверов и пустырей полезла такая яркая и пышная зелень, какой я никогда до тех пор в Ленинграде не видел...

Осенью 1943 года меня приказом вызвали из Ленинграда и перевели в другое место. Это оторвало меня от товарищей, с которыми я прошел первую половину войны...

Михаил Лапшин

ОН С НАМИ!



Жизнь, как и басня, измеряется не длиной, а содержанием». Это изречение приходит на память, когда задумываешься о судьбе журналиста Василия Кубанева.

Дни его жизни были трагически коротки, но зато озарены огненным вдохновением и радостью открытий, неуемной жадой действия и огромной любовью к людям. Это была жизнь-подвиг, жизнь-горение.

Родился он в 1921 году в Курской области. В 1938 году Василий окончил десятилетку. Материальные затруднения лишили его возможности учиться в институте. Он стал работать литературным сотрудником острогожской районной газеты «Новая жизнь». Из редакции газеты, будучи больным, пошел добровольцем на фронт... В марте 1942 года его проводили в последний путь.

В Острогожске Воронежской области, где прошла звонкая и тревожная юность Василия, люди, как о самом привычном, говорят: «У нас на Кубаневской улице», «В парке имени Кубанева», «В музее Кубанева». В этих привычных для острогожцев фразах всегда можно уловить нотки нескрываемой гордости. Да, они могут гордиться тем, что рядом с ними по улицам старинного русского города, давшего миру Крамского, Станкевича и многих других замечательных соотечественников, шагал стремительной походкой неутомный газетчик Вася Кубанев, сделавший своим девизом слова: «Либо совсем не гореть, либо гореть во всю силу!»

Самая главная, самая характерная черта Кубанева — кипучая активность. Ведь он прожил всего двадцать лет, и можно только удивляться, когда он сумел так много сделать!

Его обуревала всепоглощающая жажда знаний. «Я знаю, — писал он, — для того, чтобы осуществить свои замыслы, я должен всю жизнь учиться — у жизни, у книг, у людей, у вещей, у себя, у мира, у врагов своих, у жуков и ящериц, у ручьев, у звезд, у солнца — у всего всему учиться». И он учился. Недосыпая ночей, изучал литературу, историю, философию, политэкономии, педагогику, математику, физику, химию.

В короткое время он овладел французским и свободно читал в подлинниках Гюго, Бальзака, Золя и Роллана...

Василек, как звали его в редакции «Новой жизни», был прирожденным газетчиком. Он умел «поднимать» злободневные вопросы, быстро откликаться на самые различные события жизни, вести умный разговор с читателем.

«Внимание к другим, удовлетворение нужд других, — подчеркивал не раз Василек, — вот что должно быть первой обязанностью каждого журналиста, вот на что должны быть, в первую очередь, направлены его силы, потому что без этого жизнь его утратит всякий смысл и сам он потеряет себя... Любовь к человеку, забота о человеке должны пропитывать каждый шаг, каждое движение любого из нас. Облагородить человека, человеческий быт, человеческие отношения — вот что надо сделать каждому... И для этого прежде всего надо очистить себя и свои личные переживания, стремления, мысли, чувства, отношения от всех предрассудков и условностей, от всей вековой копоти, пыли и грязи. Искренность, прямота, правдивость — вот истинно журналистские качества...»

Кубаневу, разумеется, не были чужды ни заблуждения, ни ошибки, ни юношеские выходки и затеи. Однако он всегда был коллективистом и творцом.

В 1939 году Василий работал в сельскохозяйственном отделе. «У нас нынче, — пишет он своей подруге, — такая непогода поднялась... После работы заходил в поликлинику к Машичеву. Он дал мне бюллетень до тринадцатого, а 13-го велел еще прийти. Ходить никуда, говорит, нельзя. Только иногда. Ну, я, конечно, уцепился за это и спросил у него: «Можно выходить во двор, чтобы дышать свежим воздухом, может быть, можно и на работу ходить?» Он отвечает:

«Я вам дал бюллетень, а там дело ваше». Я все-таки решил на работу продолжать ходить. Буду сидеть дома в такие дни? Ни за что на свете!

Не ругайся на меня за то, что я дома не сижу... Мне сейчас ездить... надо. Так досадно, такое зло берет, что ездить нельзя. Ездить нельзя — это я и сам сознаю... Но не бывать в редакции — было бы величайшим свинством с моей стороны. Какое дело колхозам (в конце-то концов!), что я болен. Да вовсе и не болен я, если говорить строго. В гражданскую войну в таком положении в битвы неслись. А я киснуть буду: «Ах-ах-ах! У меня бюллетень, я на работу имею право не ходить и не пойду!» Нет, буду работать, пока с ног не свалюсь. Это не насилие над собой, а моя обязанность... Как хороша (сама по себе!) моя маленькая, беспокойная работа! Все время кипишь. Хорошо кипишь. И сам в этом кипении очищаешься, меняешься, лучшаешься».

Кубанев писал только то, о чем не мог не писать. Он был по-настоящему «болен страстью к газетному слову», которое было сутью его работы, результатом его повседневного напряжения. Жизнь и журналистика сливались у него воедино, так что он сам, наверное, не смог бы определить, где кончалась «просто жизнь» и начиналась «собственно журналистика».

О самом простом и будничном Кубанев писал заинтересованно и истово, потому что за всем этим стояла «теплоемкая любовь к людям». Читаешь его корреспонденции и статьи в «Новой жизни» и чувствуешь, как ясно и отчетливо представлял он задачи народа и как конкретно понимал вытекающие из этих задач свои обязанности журналиста.

«Надо писать так,— говорил он,— чтобы каждая строка трепетала и горела, как живая. Это трудно, но это возможно. Надо полнее знать людей, жизнь, мир. Только имея материал на сто строк, можно написать десяток строк хороших, а чтобы написать сто строк, надо знать то, о чем пишешь, как рассказ о своей комнате».

«Не стремитесь писать «красиво»,— говорил он на одной из редакционных летучек,— потому что иногда очень трудно отличить истинную красоту от размалеванной, крикливой красоты. Помните, что все простое — красиво, все красивое — просто... Надо быть очень чутким, очень внимательным, трезво и ясно смотреть на жизнь, без тоскливого тумана, но и без восторженного сияния — и то и другое мешает нам, газетчикам, видеть настоящее лицо мира».

Василий терпеть не мог пустозвонства, разглагольствований, общих фраз. Его доклады и выступления на редакционных совещаниях были очень краткими и предельно конкретными.

Если кто-либо из газетчиков пускался в бессодержательные рассуждения, Кубанев не выдерживал и бросал сердитые реплики:

— Ну, пошли воду лить! Хватит, работать надо...

— У вас чувство тонет в словесном потоке, растворяется в словах,— говорил он одному из авторов.— Чем меньше слов и больше чувства, тем гуще раствор, тем крепче настой...

Сам Кубанев постоянно следил за «густотой и крепостью словесного настоя». Об этом свидетельствуют его глубокие, афористически выраженные мысли:

«Каждый по-своему — вот это и есть по-русски».

«Люди! Вы лучше, чем люди думают о вас».

«Человек тем лучше, чем лучше он думает о других».

«Плох тот, кому везде плохо».

«Не в силе правда, но в правде сила».

Человек редкого упорства, Кубанев все время находился в творческих поисках. Он не искал легких дорог, не относился изживенчески к счастью. «Счастье,— писал он,— это сознание всемогущей, организующей и творящей роли труда. Счастье — это труд, это борьба, это жизнь, да, счастье — это жизнь. Жизнь во всей полноте, во всей многогранности, во всей беспредельности, во всей сложности, во всей переменчивости, во всей текучести, во всей радостности своей...

Когда я говорю о том, что счастье человека в том, чтобы приносить счастье другим, то ведь это вовсе не значит, что человек должен всю жизнь совершать жертвоприношения. Нет! Задача в том, чтобы перестроить всего себя в таком порядке, при котором осчастливливание других становится личной и повседневной потребностью, условием и содержанием собственного счастья...»

Кубанев не хочет жить только для себя, зная, что слово ««счастье» не любит единственного числа». «Личное счастье,— пишет он,— немыслимо вне общественного труда, вне общего блага, вне общего счастья... И каждый будет только тогда счастлив, когда будут счастливы все».

Кубанев был убежден, что настоящая любовь, как и сама жизнь, дается только один раз. И он берег эту любовь. Вот что он пишет в одном из писем к любимой:

«У нас с тобою, подруженька, много всякого на веку будет: и слез, и радости, и волненья высокого, и несказанного смятенья. И счастье не только в радости. Счастье во всем: и в горе, и в скрежете зубовном, и в отрешенности, и в покаяниях, и в ошибках, и в каторжно-тупой боли, которая взялась невесть откуда и душу собой глушит и давит. Счастье — в познании, в понимании. А понимать можно, только действуя. Всякое действие, даже самое маленькое, самое будничное, надо направлять лицом к человеку. Всегда спрашивай себя: я могу сейчас сделать вот то-то и то-то? Что из них полезнее людям, народу моему? Вот это. Значит, это я и сделаю сейчас...»

Принимай близко к сердцу все то, что происходит вокруг тебя. Стремись своими силами и своими знаниями слиться с общим потоком, устремляющимся в будущее. Но помни, что для того, чтобы слиться, надо иметь то, что хочешь сливать. Видишь, тут одно неразрывно связано с другим...»

Василий Кубанев был человеком определенных и категорических суждений. Ему всегда была дорога живая и будничная конкретность, связанная с перспективой общенародного дела.

«...Вчера,— пишет он в одном из своих писем,— был в кино, смотрел «Александра Невского».

«Александр Невский» перед самыми глазами поставил мне вопрос: «Что ты делаешь?» Я впервые, кажется, с животной какой-то силой ощутил, как велика, как близка, как ужасна опасность войны, опасность нашествия на нашу землю кровавых разбойников. И я спросил себя: «Что ты сделал? Что ты делаешь? Что ты сделаешь, чтобы облегчить твоей Отчизне победу в грядущей битве?» И я покраснел. Мне было так стыдно, так страшно стыдно в этот час, когда я пытал себя: «Для чего же ты живешь, если ты ничего не сделал для народа, для людей?!»»

Перед лицом надвигающейся схватки двух миров журналист Кубанев еще требовательнее, еще строже подходит к своей жизни. «С завтрашнего дня,— писал он в дневнике,— изменю свое расписание. Во-первых, буду ложиться... в половине второго ночи. Вставать в семь. Нет, это поздно. Вставать в половине седьмого. ...Большее количество часов спать невозможно. Это значило бы заглушить в себе всяческую совесть... Надо работать бешено, трезво, неумолимо работать, делать дело, делать себя!»

И он работал, делал дело, делал себя.

В те годы советские люди с огромной болью переживали трагедию многих европейских государств, попавших под иго фашистских захватчиков. Общей народной болью жил и Кубанев. Он пишет серию статей и стихотворений о Франции («Молящимся французам», «Барбюс живет», «Франция»). Все они проникнуты духом борьбы за мир, чувством единения народов против сил реакции и войны.

Василек еще в детстве впитал в себя правду нашей жизни. Его понимание долга перед народом, его естественная готовность к подвигу и самопожертвованию никогда не декларировались, не сбивались на красноречие. Он говорил: «Чтобы зажечь, надо зажечься самому...» И он горел и зажигал.

«Я,— пишет Кубанев,— ввел в редакции со вчерашнего дня новый прием приветствия: по-антифашистски — поднимать к голове правую руку, сжатую в кулак, и говорить: «Рот фронт!» Я антифашист. Я горжусь этим и хочу на деле заслужить это боевое звание».

Кубанев часто посещает тир, учится стрелять, готовит себя к предстоящей войне...

Перед опасностью надвигающейся войны Василий задумывается над тем, сумеет ли он в грядущих боях «приравнять перо к штыку». В одном из стихотворений, которое было опубликовано в «Новой жизни», он пишет:

Ты думаешь, мне каска не к лицу
И плотная шинель не по плечу?
Ты думаешь, что я в прямом строю
Сутуловатость окажу свою?
Тебе порой бывает невдомек,
Как от бумаги легкой я далек.
Ты думаешь, что я не запою
Отдельным голосом в густом строю?

Неугомонность, активность, оперативность Кубанева особенно сильно проявились в дни войны. Никогда прежде не вкладывал он столько запала в свое газетное творчество, как в то тревожное время. Уже в первый день войны, отправляясь в военкомат, он экспромтом написал стихотворение «К ногтю!», в котором гневно заклеил разбойничий фашизм. В стихах и корреспонденциях, написанных в начале войны, с наибольшей полнотой раскрылись черты его характерного таланта.

Он всегда непоколебимо верил в правоту нашего дела, в богатырскую силу народа. Именно поэтому даже в наиболее трудные дни войны, обращаясь к «легионам рабочей родни», смог написать он такие вещи строки:

Ходите прямо, дышите легко
Все, сгибавшие спины низко!
Это от Берлина до Москвы далеко,
А от Москвы до Берлина близко!

Несмотря на слабое здоровье, Василий все время рвался на фронт. Наконец он добился своего: в начале августа 1941 года Кубанева провожали в армию. Вася был весел и радостен. Прирожденный журналист, он хотел воевать рядовым солдатом и отказался от работы в газете.

По дороге в армию Кубанев повстречался Михаилу Болдыреву — работнику «Мичуринской правды», хорошо знавшему Василия. «Летом 1941 года, — рассказывает Болдырев, — я с Карельского фронта приехал в командировку в Мордовский район. На станции Оборона неожиданно встретился мне Кубанев. Он ехал из Воронежа в Борисоглебск, в свою воинскую часть. Мы вместе пообедали в столовой. Подошел поезд Москва — Сталинград. Кубанев сел в вагон, и с тех пор я больше не видел его».

В дневнике, который Кубанев продолжал вести и в армии, он пишет: «Есть все-таки в военной службе что-то такое, что наполняет огнем даже мое сугубо штатское сердце. Вероятно, вся штука в том, что военная служба позволяет наиболее полно и ярко проявиться чувству патриотизма. Если бы мне сказали, что для общего счастья нужно, чтобы я погиб, — я беспрекословно согласился бы погибнуть...»

Осенью 1941 года фронт приблизился к месту рождения Василия — Курской области. Рядовому пехотинцу Василию Кубаневу пришлось участвовать в защите родных мест. Трудности боевой походной жизни первого периода войны не сломили волю Василька, не потушили в его душе «журналистского огня». Воюя самоотверженно и героически, он продолжал писать стихи. Вот одно из стихотворений тех дней:

Мой друг!
И ручку и тетрадь свою
Держать с собою стану я в строю,
Чтобы помнить всюду,
До какой строки
Дописаны заветные стихи,
Чтобы спокойным выстрелом в бок
Закончить песню новую свою.

Но закончить новую песню Кубаневу не удалось.

Не удалось ему и «выполнить самую свою заветную думку — дойти до Берлина». Ранней весной 1942 года его свалила старая, обострившаяся на фронте болезнь — туберкулез. Тяжело больного Кубанева привезли в родной Острогожск. Здесь, в больничной палате, он снова взялся за перо. Но силы уже были на исходе... 27 марта он умер... Умер, не дописав последней корреспонденции, не долюбив, не дождавшись выхода своей книги. Все в его короткой жизни осталось незавершенным, кроме нее самой.

Похоронен Василий Михайлович Кубанев в Острогожске. На обелиске высечены его слова: «Либо совсем не гореть, либо гореть во всю силу!»

Кубанев был одним из тех людей, для которых любовь к Родине — это действие, а не громкие фразы. И пусть ему мало пришлось пройти по пылающим дорогам большой войны и не довелось дожить до дня разгрома фашизма, но в победе нашей правды и нашего оружия есть доля и его усилий.

Летом 1942 года в Острогожск ворвались оккупанты, квартира Кубанева была разрушена взрывом фашистской бомбы, и находившиеся в ней рукописи безвозвратно погибли. Но добрая память о талантливом юноше продолжает жить в сердцах его земляков. Благодаря стараниям друзей в 1958 году вышла книга статей, фельетонов, дневников, писем, стихов Кубанева «Идут в наступление строки». Через два года она была переиздана по просьбе читателей.

Строки этой книги идут в наступление и сегодня.

Сила книги Кубанева не только в отдельных самобытных и удачных произведениях, но и в исключительной цельности и правдивости ее автора, в том могучем дыхании времени, которое веет с каждой ее страницы.

«Мне надо прожить пятьдесят лет,— говорил журналист Кубанев,— а за пятьдесят лет я должен сделать как можно больше и сделать это как можно большее как можно лучше. Через пятьдесят лет... меня не будет... А мир останется. Что важнее: я или мир, который будет тысячи лет? Конечно, мир! Значит, надо жить для мира, для людей. Украшать мир благородными делами, перестраивать мир...»

Ему не довелось прожить и половины задуманного. Но и сгорев в пламени войны, он не ушел от нас. Он с нами! Выходят его книги, звучит его голос,— значит, жизнь журналиста Василия Кубанева продолжается!..

Василий Жилмостных

ВЫПОЛНЯЯ БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ...



Передо мной листок нашей дивизионной газеты за 25 мая 1942 года. В правом углу второй полосы — некролог:

«...Выполняя боевое задание, 22 мая смертью храбрых погиб литературный работник редакции политрук Семен Иванович Тюльпаков...»

Далее в некрологе говорится, что товарищ Тюльпаков с первых дней Великой Отечественной войны на фронте, что был он мужественным и бесстрашным воином, пользовался всеобщим уважением и любовью со стороны всех, кто с ним общался по работе...

Не так много пришлось мне поработать с ним. Но я до сих пор хорошо помню этого доброго, славного товарища.

В первом томе сборника «В редакцию не вернулся...» я рассказал о героической гибели нашего редактора политрука Ивана Якубенко. Он был убит в первый день наступления нашей дивизии под Москвой — 6 декабря 1941 года. Через несколько дней после его гибели редактором нашей дивизионной газеты был назначен старший политрук Андрей Иванович Пилипенко. До этого он работал в газете 30-й армии.

В феврале 1942 года мы понесли еще одну потерю. Был ранен и отправлен в тыловой госпиталь ответственный секретарь редакции младший политрук Александр Можаяев. Снова наша редакция оказалась «малочисленной». Временно исполнение обязанностей секретаря было возложено на меня.

В те дни наша 371-я стрелковая дивизия вела боевые действия под Ржевом. Перед ней была поставлена задача во что бы то ни стало пробить брешь во вражеской обороне, дать возможность выйти из вражеского кольца попавшей туда одной нашей части.

Зима и весна 1942 года запомнились нашей дивизии, да и всем другим, воевавшим тогда под Ржевом, непрерывными и тяжелыми боями. Ежедневно из строя выбывало немало бойцов и командиров. Под Ржевом мы потеряли командира дивизии полковника Ягодкина, командира полка полковника Решетова, несколько других командиров полков и комиссаров, был убит заместитель начальника политотдела дивизии.

Редакция нашей дивизионной газеты стояла тогда в Итомле. До переднего края от Итомли было далековато — километров пятнадцать. Но ближе разместиться мы не могли — деревни были разбиты, сожжены. Политотдел дивизии находился километрах в семи от нас — в деревне Дегтяри. Штаб дивизии — в лесу за деревней Бахмутово. Полки вели бои за населенные пункты Ножкино, Кокошкино и другие, названия которых изгладились из памяти.

Чтобы организовать материал для газеты, мне и политруку Харьков (инструктору газеты) приходилось ежедневно делать пешком по снегу до тридцати километров. Работать было трудно. А газету надо было выпускать вовремя и хорошую. Начальник политотдела батальонный комиссар Ефанов решил помочь редакции.

Примерно через неделю после ранения Можаяева в редакцию заехал начальник политотдела. Вместе с ним прибыл чернявый, моложавый на вид политрук. Это был инструктор политотдела Семен Тюльпаков. Начальник политотдела предложил редактору оставить Тюльпакова в редакции, испытать его способности на газетном поприще.

— Если дело у него пойдет, поставим перед политотделом армии вопрос о переводе товарища в редакцию, — сказал начподив.

И вот Тюльпаков начал работать в газете.

На другой же день мы втроем — Харьков, я и Тюльпаков — пошли в полки за материалом. А новый товарищ сразу же завоевал наши симпатии. Был он прост, скромен и по всему было видно — веселого нрава. Смешинки так и играли в его карих глазах. До этого Тюльпакова никто из нас не знал, так как в политотделе он появился совсем недавно.

Пока, месяц глубокий рыхлый снег, шли мы на передний край, Семен почти все рассказал о себе. Сейчас, спустя много лет, я уже забыл, о чем тогда рассказывал наш новый товарищ. Помню только, что говорил он о своей маленькой дочурке Кате, в которой души не чаает, говорил, что война нарушила, как и у каждого из нас, его планы. Тепло говорил о своей жене Наташе, которая работала то ли заведующей библиотекой, то ли парткабинетом в одном из подмосковных районов, кажется в Куровском.

— А знаете, я рад, что начальник политотдела порекомендовал меня в редакцию. Люблю это дело. Перед войной писал в газету «Московский большевик». И кое-что печатали,— говорил Семен.

Тут же он расспрашивал, отдавая, очевидно, дань нашему фронтовому опыту, как лучше организовать материал, как и о чем писать...

Что могли мы посоветовать нашему молодому коллеге? Знали одно: что материал получается живым и интересным, когда ты сам непосредственно участвуешь в том или другом событии, когда лично общаешься с человеком, о котором пишешь.

— Я готов все время быть в роте, взводе, отделении, воевать вместе с бойцами, переносить все трудности, которые переносят они, лишь бы дать для газеты интересный, живой, запоминающийся материал,— оживленно отвечал Тюльпаков.

Как оказалось впоследствии, это не было пустыми словами.

С первых же дней работы в редакции наш молодой товарищ все время стремился на передний край, в подразделения, которые вели наиболее активные боевые действия. Он бывал в ротах, доходил до отдельных пулеметных расчетов.

Когда уставший, пропахший дымом и порохом, с красными от недосыпания глазами приходил Семен с переднего края в редакцию, ему было что рассказать. Не раз он участвовал в атаках или вместе с бойцами отбивал вражеские контратаки...

Любили слушать Тюльпакова работники нашей типографии — старший наборщик Николай Иванович Шатров, человек уже в годах, много повидавший на своем веку, наборщик Григорий Дымшаков, печатник Павел Крушин, шоферы Иван Барабанов и Сергей Холодилин.

Как-то Шатров заметил:

— Нашему политруку Тюльпакову не в редакции бы работать, а ротой, а то и батальоном командовать. Видать, неплохо разбирается в военном деле, да и храбростью не обижен...

А редактор, Андрей Иванович Пилипенко, иногда говорил нашему новому сотруднику:

— Ты, товарищ Тюльпаков, не особенно там, на передовой... Не обязательно газетчики должны участвовать в атаках, мы и так уже многих не досчитываемся. Помни, что главное — собрать и дать в газету хороший материал. Это будет не хуже атаки...

Слушал Семен редактора, и в карих глазах его искрились смешинки.

— Так, товарищ батальонный комиссар (нашему редактору в то время уже присвоили звание батальонного комиссара), я же не специально, а просто иногда уж приходится так, — отвечал Тюльпаков. — Да и как бы стали смотреть на меня бойцы, если, скажем, начался бой, а я скорее в тылы? Ведь другой раз придешь в роту, пока побеседуешь с одним, с другим, а тут смотришь — фрицы в атаку пошли. Все за оружие, ну и мне не приходится отставать...

Говорил это Семен с юмором, как бы шутя. Но все мы уже хорошо знали, что Тюльпаков и на самом деле был храбрым парнем. На переднем крае он чувствовал себя в «своей тарелке». Бывало, идешь с ним, вдруг над головой вой мины. Ты как-то непроизвольно вдруг и пригнешься. А Тюльпаков усмехнется и скажет: «Этой кланяться нечего, уже пронесло...»

Знали мы, что в одном из стрелковых полков, которым командовал майор Хмелев, работника дивизионной газеты политрука Тюльпакова за мужество и отвагу, проявленные в боях, представили к награждению орденом Красной Звезды.

На первых порах заметки и корреспонденции Тюльпакова приходилось изрядно править. Но они были конкретны, в них приводились интересные, поучительные примеры. Ведь Тюльпаков все материалы брал на переднем крае, писал о фактах, живым свидетелем которых был сам. Поэтому, несмотря на нехватку профессионального умения, материалы его были интересны, содержательны. Они находили в сердцах воинов живой отклик.

Помнится мне так называемая «Роща Казака». Она находилась километрах в пяти-шести от берега Волги, недалеко

от деревни Погорелки. Рощей этой овладела рота лейтенанта Владимира Митрофановича Казака. Гитлеровцы предпринимали все для того, чтобы выбить наших бойцов из этой рощи. Но рота Казака крепко держала ее в своих руках. Были дни, когда фашисты по несколько раз ходили в ожесточенные атаки, пускали танки, авиацию, прочесывали рощу огнем артиллерии, минометов. Порой казалось, что в роще уже не оставалось ничего живого. Но бойцы Казака продолжали жить и бороться. Это был пример мужества и стойкости!

Рота Казака была, в сущности, отрезана от полка. Все подступы к ней простреливались врагом из минометов и пулеметов. Пробраться в роту было трудной и весьма опасной задачей. Доставку боеприпасов и пищи бойцам, а также эвакуацию раненых производили только ночью.

В редакции знали, каких неимоверных трудов стоило роте Казака удерживать рощу, какое мужество и героизм проявляли воины. Однако о роте, о ее героях в газете материалов не было. Редактор не рисковал посылать кого-либо из нас в эту рощу.

Но Семен все же упросил редактора послать его к Казаку. Под покровом ночи, вместе с бойцами, переправлявшими боеприпасы и питание, он пробрался в «Рощу Казака». Два дня пробыл он там, несколько раз, как узнали мы потом, приходилось ему откладывать в сторону карандаш и браться за автомат, чтобы вместе с бойцами отбивать очередную атаку.

Вернулся Семен из роты поздно ночью. Был радостен, возбужден, доволен. Ему удалось узнать о многих, неизвестных доселе героях, в его блокноте было много интересных записей.

Наступала ранняя весна. Под Ржевом развезло все дороги. Сразу возникли большие трудности с подвозом продуктов. Несколько дней мы питались одними сухарями, причем и тех было по два сухаря на человека в день. Шоферам посчастливилось подстрелить из винтовки пару грачей. Но больше, несмотря на все старания, так и не удавалось.

Как-то, взяв дневной запас сухарей, мы с Тюльпаковым отправились на передний край. Едва только вышли за деревню Степакино, где стояла тогда редакция, как Семен достал свои сухари и тут же съел их до крошки.

— Знаешь, — сказал он, — я бы, кажется, съел сейчас вола, до того голоден.

Но, как и всегда, настроен был Семен весело. Всю дорогу шутил, вспоминал.

— А ведь хорошо,— говорил он,— зажили мы перед войной! Всего у нас было вдосталь. Так хочется снова дожить до таких времен!

Потом, немного помолчав, продолжал:

— Я думаю, что после войны все быстро войдет в норму и станет даже лучше, чем было. Война многому нас научила, а? Дожить бы только до победы, посмотреть, как оно все будет...

Мы подходили к зарослям ельника. Семен вдруг предložил:

— Давай-ка, сфотографируй меня в боевой обстановке. Пошлю фотографию на память жене да дочке, пусть смотрят, какой боевой у них папка. А то, чем черт не шутит, прихлопнет где-нибудь, и не попадешь больше домой...

Я снял свой старенький «ФЭД», с которым не расставался и на фронте. Семен зашел за елочку, скинул автомат, взял его на изготовку.

— Это я как бы веду огонь по фрицам.

Я щелкнул раз, другой. Потом поменялись ролями, в таком же виде щелкнул и он меня.

Не знаю, отослал ли тогда он этот снимок домой. К сожалению, у меня ни фотографий тех времен, ни негативов не сохранилось — все они сгорели в июле 1944 года, когда наша редакция попала под очередной налет вражеских самолетов.

А в тот раз мы принесли в редакцию много хороших материалов.

...5 мая 1942 года мы впервые праздновали на фронте День печати. Отмечали праздник более чем скромно. Говорили о газете, о своих успехах и недостатках. Я прочитал отрывки из своего фронтового дневника. Семен спел переделанный им «Синий платочек». У него был неплохой голос и чувство юмора. Вечер прошел весело. Мы шутили, смеялись, пели. Была у нас и своя музыка. Наборщик Дымшаков здорово играл на мандолине, шоферы Барабанов и Холодилин — на гитаре и балалайке. Они исполняли русские народные и полюбившиеся новые, фронтовые песни.

В тот вечер начальник политотдела похвалил Тюльпакова:

— Неплохие даешь материалы в газете. Поставили вопрос перед политотделом армии о переводе тебя на постоянную работу в редакцию.

Семен был рад. Он по-настоящему полюбил газету, прочно вошел в наш маленький коллектив. За какие-нибудь два с небольшим месяца, которые он проработал в нашей редакции, он заметно вырос. С каждым днем его материалы становились лучше и по содержанию, и по форме.

Но не сбылась мечта молодого газетчика!

Ранним весенним утром, 22 мая, вместе с инструктором редакции политруком Иваном Харьковым Тюльпаков отправился на выполнение очередного редакционного задания. Накануне один из батальонов отразил ожесточенную атаку гитлеровцев. Многие бойцы и командиры проявили в этой схватке исключительное мужество и стойкость. Надо было показать в газете героев боя.

Семен хорошо знал батальон, который отличился в бою, бывал там уже не раз, лично знал всех командиров и многих бойцов. Был твердо уверен, что быстро организует и принесет хорошие материалы.

Захватив с собой полевые сумки и плащ-палатки, Тюльпаков с Харьковым ушли. Мы с редактором занялись подготовкой материалов к очередному номеру. Наборщики разбирали только что отпечатанные полосы. Все, как говорится, шло как по маслу, настроение у всех было отличное, тем более, что денек выдался по-настоящему весенний, солнечный, теплый.

Касса старшего наборщика Шатрова стояла у окна, выходящего на дорогу, по которой отправились Харьков с Тюльпаковым. Время от времени он поглядывал на нее. Взглянул и вдруг говорит:

— Что-то наш политрук Харьков быстро сегодня возвращается.

Действительно, по дороге к редакции стремительно шагал Харьков. Один, без Тюльпакова... И как только подошел поближе и мы увидели его встревоженное лицо, поняли — что-то произошло.

— Семен погиб... — хрипло произнес Харьков, подходя к нам.

Не может быть!.. Ведь прошел всего какой-то час, как отправились они из редакции! По расчетам, они не могли еще добраться даже до КП батальона.

Не ожидая наших расспросов, Харьков, волнуясь, стал рассказывать:

— Не дошли мы еще до переправы через Волгу, как попали под артналет. Первый снаряд разорвался недалеко от

нас. Я сразу же бросился на землю. Недалеко от меня и Семен. Второй снаряд, третий, четвертый... Они рвались один за одним. И все тут же, недалеко от нас. Потом все притихло. Я окликнул Семена. Не отозвался. Мелькнула мысль: «Убит!» Поднялся, осмотрелся. В нескольких шагах от меня, под кустом, в какой-то странной позе лежал Семен. Бросился к нему, нагнулся. Семен был еще жив. Недалеко оказалась землянка артиллеристов. Боясь, как бы налет не повторился, мы с двумя артиллеристами быстро занесли Семена в землянку. Он очнулся. Застонал. Потом открыл глаза. Попросил пить. И все время повторял: «Ребята, спасите меня, у меня сердце крепкое». Один из бойцов сбегал за санинструктором. Тот пришел, посмотрел на Семена, покачал головой. Положение было безнадежное: осколки попали Тюльпакову в живот, перебили руку и ногу. Минут через пять Семен на наших глазах скончался...

Мы молча слушали рассказ Харькова.

К вечеру мы привезли тело Семена. А на другой день хоронили нашего боевого друга и товарища. Похоронили его с воинскими почестями. Над могилой дали салют. Проститься с газетчиком пришли товарищи из политотдела, из штаба дивизии, из полков. В небольшом, по-весеннему зеленом садике, за двором дома, где размещалась наша редакция, вырос свежий могильный холмик. На могиле установили деревянный обелиск с пятиконечной звездой.

* *
*

Несколько лет назад я написал письмо комсомольцам деревни Степакино Ржевского района. Просил ответить, целая ли могила фронтового товарища и друга, в каком состоянии она находится. Сообщил им обстоятельства гибели Семена, подробно описал, где мы его похоронили.

Через некоторое время получил ответ. Мне сообщили, что прах всех захороненных в деревне Степакино воинов вскоре после окончания войны был перенесен в одну общую братскую могилу в деревне Парихино. За этой братской могилой ухаживают пионеры и комсомольцы. Ежегодно там весной высаживаются цветы, в День победы проводятся митинги и возложение венков.

«Мы свято чтим память павших героев и не забываем тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, за наше счастье», — писали комсомольцы.

Марк Зерницкий

РЕДАКТОР ПОДПОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ



«**Ж**изнь короткая, а слава долгая» — эту поговорку любил повторять верный сын белорусского народа гвардии генерал-майор Лев Михайлович Доватор, которому посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Эти же слова с полным правом можно сказать и о другом славном сыне Белоруссии — молодом журналисте Владимире Омелянюке. Звание Героя Советского Союза ему также присвоено посмертно. Он не прожил и двадцати пяти лет. Но ведь значение прожитого определяет не возраст, а след, который человек оставил на земле...

Мне довелось близко знать Владимира Степановича Омелянюка: в годы, когда он учился в Белорусском коммунистическом институте журналистики имени С. М. Кирова, я был директором и одним из преподавателей этого института. Позже, узнав о героической борьбе Володи Омелянюка в подполье и о его трагической гибели, я стал собирать материалы о нем. И теперь я расскажу об одном из моих бывших студентов то, что навсегда врезалось в память.

...Я иду по улице Чернышевского и вспоминаю, какой была она до войны: низенькие, чаще всего одноэтажные деревянные дома. Тихая улица на окраине города... И я представляю себе, какой была эта улица в страшные дни фашистской оккупации, когда по ней ходил Владимир Омелянюк. Тогда она называлась, конечно, иначе: гитлеровцы «перекрестили» ее по-своему.

Город, вернее то, что осталось от него, затаился. Повсюду — руины. Что ни шаг — поблескивает немецкая каска. Весь Минск, еще во время наступления превращенный немцами в развалины, опоясан густой сетью вражеских застав, постов и секретов. Но город славных революционных традиций, колыбель Российской социал-демократической рабочей партии, не покорился врагу. С первых дней оккупации минчане взялись за оружие и били фашистов где и как могли. Уже в конце ноября 1941 года был создан Минский подпольный партийный комитет, который взял в свои руки руководство борьбой против оккупантов.

Для того чтобы обеспечить «новый порядок», гитлеровцы создали в городе целую сеть карательных учреждений и организаций. Помимо постоянного гарнизона, насчитывавшего 5 тысяч солдат и офицеров, в Минске находились отдел армейской разведки — абвер, управление полиции безопасности и СД, военная комендатура, штаб по борьбе с партизанским движением, многочисленные части СС, охранная полиция, жандармерия. Здесь же размещался «генеральный комиссариат Белоруссии» во главе с фашистским гаулейтером Вильгельмом Кубе, городской комиссариат и другие учреждения оккупантов.

Весь этот огромный аппарат карательных органов и фашистский военный гарнизон имели одну цель — порабощение и уничтожение советских людей. Он находился в постоянной боевой готовности для борьбы с подпольем.

И вот в этом самом Минске, под носом у озверевших фашистов со всей их многочисленной псарней, вышел номер подпольного органа горкома Компартии Белоруссии — газеты «Звезда»! Это был подвиг. Литеры набора ожили и заговорили гневно, призывая на борьбу с фашизмом.

Совершил этот подвиг студент 4-го курса Белорусского коммунистического института журналистики имени С. М. Кирова коммунист-подпольщик Владимир Степанович Омелянюк, редактор многих подпольных листовок, звавших на вооруженную борьбу против фашистов и их прислужников.

...Еще с ранних лет у Володи Омелянюка появилась мечта — стать журналистом. Окончив среднюю школу, он пошел работать в дзержинскую районную газету. И там, на практической работе, он вскоре понял: для того чтобы быть высококвалифицированным работником печати, необходимо получить высшее журналистское образование. И Владимир Омелянюк едет в Минск, в КИЖ имени С. М. Кирова. Здесь

он также отлично проявил себя. Студенты любили его — Володя был хорошим товарищем: скромным, сердечным и внимательным.

В 1940 году Омелянюка приняли кандидатом в члены Коммунистической партии.

Я хорошо помню его в предвоенные годы. Это был среднего роста русоволосый парень с карими глазами, веселый, с располагающей к себе улыбкой. Он был мастер пошутить, сказать острое, меткое слово. Ребята смеются, а лицо Володи светится обаятельной улыбкой. Любили его и преподаватели — учился он отлично. С упоением читал классиков, изучал первоисточники, настойчиво штудировал все журналистские дисциплины. Ему хотелось как можно глубже постичь секреты журналистского мастерства. Он был одним из наиболее активных авторов многотиражки нашего института «Кировец», с увлечением работал на производственной практике в районных газетах.

Быстро пролетали годы учебы. И вот уже Омелянюк — студент 4-го курса. Институт направляет его на последнюю производственную практику. Он едет в Белосток, в редакцию областной газеты.

В начале июня 1941 года служебные дела привели меня в Белосток: в качестве директора КИЖ я проверял производственную практику наших студентов. В редакции областной газеты я в последний раз встретился с Володией Омелянюком. Человек большой нравственной чистоты, он обладал высоко развитым чувством ответственности за порученный ему участок работы. Помнится, он почему-то носил летный реглан. Должно быть, молодому парню хотелось выглядеть несколько солиднее своих лет, чтобы люди, с которыми ему приходилось встречаться при выполнении заданий редакции, видели в нем вполне серьезного представителя прессы.

Практикант писал много, вдохновенно рассказывая в своих статьях и корреспонденциях о новой жизни на недавно освобожденной от панского гнета земле. В редакции хвалили молодого журналиста. «Поддаешь надежды», — шутливо подмигивая Омелянюку, говорил редактор, а Володя краснел.

А уже вскоре жизнь преподнесла студенту-кижевцу куда более серьезный экзамен, чем производственная практика в областной газете. На этом экзамене сурово проверялись и партийная, и журналистская зрелость, и право называться настоящим Человеком... Владимир Омелянюк выдержал этот экзамен отлично.

Геннадий Буда́й, бывший студент КИЖ и близкий друг Омелянюка, рассказывает:

— Когда в моей памяти встает образ Владимира, я сразу вспоминаю его улыбку, с которой он встретил меня, юношу со школьной парты, в редакции дзержинской районной газеты в ноябре 1933 года. Там мы познакомились, дружились и почти три года проработали вместе. Володя работал ответственным секретарем редакции. Он был очень молод, но молодость не мешала людям значительно старше его искренне уважать Володю. В нем было что-то очень привлекательное, чувствовалась добрая душа.

Вместе с Владимиром мы поступили в Коммунистический институт журналистики. Вместе с ним проходили мы последнюю производственную практику: я — в Бресте, он — в Белостоке. Начало войны было для нас одинаковым — внезапно начали сыпаться бомбы, рваться снаряды. В потоке беженцев сквозь дым и огонь пожарниц пробивались мы на восток. Недели через две после начала войны встретились в Минске, у родителей Володи. У меня никогда не изгладятся воспоминания об этой встрече. Я не заметил у Владимира ни душевной подавленности, ни растерянности, как это часто бывает при резком переломе в жизни. Владимир выглядел бодро, только похудел, и глаза стали грустными, сосредоточенными. У нас была мысль перейти линию фронта, вступить в ряды Красной Армии и с оружием в руках бороться против врага. Но отец Владимира, Степан Кондратьевич, и близкий друг его, тоже член партии, Степан Иванович Заяц убедили нас, что линия фронта проходит и здесь, что врага можно и нужно бить в оккупированном Минске, что наши журналистские способности будут нужны и в подполье...

Так Омелянюк остался в оккупированном врагом Минске и вскоре стал активным участником подпольной борьбы.

Живя у родителей — в доме № 11 (ныне 31) по улице Чернышевского, — он слушал московское радио, принимал сводки Совинформбюро, писал листовки и распространял их. Советские люди с волнением читали переписанные им сводки и другие важные сообщения. Вести из Москвы неопровержимо свидетельствовали о том, что Родина живет и борется!

Несколько позже удалось наладить печатание листовок в типографии Дома печати, в которой немцы издавали свою «литературу». Настойчиво и упорно искал Володя пути проникновения в эту типографию. Начал он с установления связей с типографскими рабочими. Он был уверен, что среди них

есть немало патриотов, которых оккупанты заставили работать на себя. Надо было выбрать из них самых верных и надежных.

Свой выбор Омелянюк остановил на комсомольце Михаиле Воронове, отец которого работал в печатном цехе, а сам Михаил — электромонтером типографии. Отец и сын Вороновы давно уже искали связи с подпольщиками Минска и охотно согласились помочь в создании нелегальной типографии. Воронов-отец твердо пообещал подобрать верного человека наборщиком для этой типографии.

Таким человеком оказался Борис Пупко — он всей душой ненавидел гитлеровцев и ждал только удобного момента, чтобы уйти в лес к партизанам. На глазах оккупантов Борис Пупко и Михаил Свиридов смело набирали тексты, переданные им Омелянюком. Линотипистка Вера Мицкевич в присутствии немецкой администрации набрала текст присяги белорусских партизан. По поручению подпольного партийного комитета коммунист Николай Иванович Иванов вместе со своими товарищами вынесли из немецкой типографии «Прорыв» большое количество шрифта и других типографских материалов. С риском для жизни они проносили шрифты в карманах, рубашках, под ремнями. По свидетельству подпольщицы М. П. Рынкевич, шрифт выносился и отдельными буквами и набором.

Так была создана подпольная типография.

За время своей подпольной деятельности Владимир Омелянюк написал много листовок. Прокламация о зверствах фашистов была набрана в типографии Дома печати Борисом Пупко и отпечатана на квартире Вороновых. Текст сообщения Совинформбюро о победе наших войск под Москвой Володя передал М. Воронову, а тот — Борису Пупко. Через несколько дней листовка была расклеена по городу.

Такие листовки часто появлялись на стенах домов, подпольщики расклеивали их на досках рядом с распоряжениями немецких властей, распространяли на Комаровском рынке. Силу этих маленьких листков, вырванных из обыкновенных школьных тетрадей и перепечатанных на машинке, ни с чем нельзя было сравнить!

Материалы, подготовленные Владимиром Омелянюком, перепечатывала на машинке Анастасия Яковлевна Цитович. Она работала машинисткой в жилотделе городского комиссариата. Володя привлек ее к печатанию листовок, а позже — к перепечатыванию материалов для подпольной газеты.

— Мое рабочее место,— вспоминает Анастасия Яковлева,— было в дальнем углу одной из комнат жилотдела. Если кто вздумал подойти близко, то увидел бы на столике деловые бумаги, а текст листка в машинке убирался поворотом валика — оставался лишь край чистой бумаги... И все же приходилось быть начеку, чтобы благополучно напечатать материал, вынести его и сохранить до передачи в набор.

...Ранней весной 1942 года фашисты зверски замучили Степана Кондратьевича Омелянюка, отца Володи. 9 мая того же года в неравной схватке с врагом погибли его боевые друзья Саша Макаренко и Вася Жудро. Володя тяжело переживал потерю дорогих ему людей. Он пришел к Нате Цитович на улицу Немига, дом 11, где находилась одна из конспиративных квартир подпольщиков, и начал писать в ЦК ВКП(б) письмо от минчан:

«Мы знаем, что близок час нашего освобождения от немецко-фашистского гнета. Мы никогда не забудем и не простим фашистам мук и крови белорусских людей. Мы никогда не забудем ни комиссара 405-го партизанского отряда Сашу Макаренко, ни члена Минского горкома КП(б)Б Васю Жудро, ни сотен других, может быть, неизвестных бойцов, честно погибших за освобождение своей Родины. Они погибали со словами пламенной Долорес Ибаррури в сердце: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Под этим девизом борется весь белорусский народ. И он никогда не покорится фашистским каннибалам. Через бури невзгод и страданий, через страшные дни немецко-фашистского хозяйничанья пройдем мы к лучшему будущему. И тогда вновь взрождаются на белорусской земле прекрасные города, заработают фабрики и заводы, песни полюбятся над полями и реками нашей страны. Так было. Так будет».

В неимоверно тяжких условиях борьбы с немецко-фашистскими захватчиками Володя стал опытным партийным работником, постигшим трудное искусство конспирации. Он завоевал доверие и большую любовь товарищей по борьбе, которые избрали его одним из руководителей минского подполья: с мая 1942 года он — член Минского подпольного комитета КП(б)Б, заведующий отделом агитации и пропаганды. Совместно с другими товарищами он создал подпольную партийную группу в районе Комаровки, руководил Дзержинским антифашистским комитетом, помогал бежавшим из плена советским воинам, отправлял их из города в партизанские отряды, снабжал подпольщиков документами.

Но самой большой заслугой Владимира Омелянюка было создание газеты «Звезда» — органа Минского подпольного комитета КП(б) Белоруссии, — издававшейся на белорусском языке. Он сам подготовил, отредактировал и организовал выпуск ее первого номера.

— Подумайте только, — говорил он, — как это здорово будет, если под самым носом у немцев мы возобновим издание нашей «Звезды»!

Это было его заветной мечтой — создать в оккупированном Минске подпольную газету. Как она понятна советскому журналисту! Ведь каждый начинающий газетчик видит себя в мечтах признанным журналистом, стоящим во главе боевого печатного органа.

Название газете дали не случайно. «Звезда» — старейший большевистский орган в Белоруссии. У ее колыбели стояли закаленные ленинцы — М. В. Фрунзе, А. Ф. Мясников. Она сыграла выдающуюся роль в борьбе за победу Октября в Белоруссии и на Западном фронте, а также в годы социалистического строительства. Газету хорошо знали трудящиеся республики, верили ей, каждое ее слово воспринимали как голос Коммунистической партии. Подпольщики были уверены, что население оккупированного Минска с радостью встретит появление «Звезды» в стане врага.

Решение подпольного городского комитета об издании газеты было принято в мае 1942 года. Материал для первого номера Омелянюк начал готовить тотчас же, как только были налажены связи с партизанским отрядом, откуда подполье получало информацию о боевой деятельности народных мстителей. Что же касается сводок Советского Информбюро, международной информации, то эти материалы он принимал с помощью радиоприемника, который перенесли из дома семьи Омелянюка на квартиру А. Я. Цитович, где Володя скрывался в период мартовских арестов.

Подготовленные для набора материалы Володя передавал отцу и сыну Вороновым. Газеты набирали нелегально в типографии Дома печати. Затем гранки по частям переносились в молочных бидонах, солдатских котелках на квартиру Вороновых, в дом № 9 по улице Шорной, в котором, кроме Вороновых, жила семья Тимофея Трофимюка. Сюда же из типографии были доставлены пробельные материалы, линейки, зажимы, верстаки, типографская краска, бумага и все остальное, необходимое для выпуска газеты.

В этом доме были отпечатаны две тысячи экземпляров

первого номера подпольной «Звезды». Номер вышел двумя тиражами: первый раз — 18 мая, затем, в июне, уже после гибели Омелянюка, газета вышла дополнительным тиражом. В ней заменили только устаревшую сводку Совинформбюро.

Небольшой по формату, скромный по оформлению номер «Звезды» таил в себе огромную взрывную силу. В верхнем правом углу помещено обращение к читателям:

«Товарищи! С сегодняшнего дня Минский горком КП(б)Б возобновляет издание своего органа — газеты «Звезда». Пишите в газету о жизни партизанских отрядов, об их боевой деятельности, об отдельных партизанах, проявивших себя в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами».

Передовая статья «Шире партизанскую борьбу!», написанная Владимиром Омелянюком, звала на бой с врагом:

«Партизан! Ты видишь, на фронт тянутся немецкие эшелоны, груженные солдатами, боеприпасами и техникой. Взрывай железнодорожное полотно, мосты, пускай под откос составы — этим ты облегчишь наступление Красной Армии. Видишь телефонный кабель — рви его, этим ты перервешь связь и внесешь замешательство в стан врага».

В заметке «Приближается час освобождения» газета призывает население оккупированной территории братья за оружие, подыматься на священную борьбу против ненавистного врага.

На второй полосе напечатано обращение народного поэта Якуба Коласа «Заря освобождения занимается над Белоруссией». Он писал: «Белоруссия, народная, советская земля! Ты вновь слышишь раскаты страшной грозы. Вновь содрогаются леса и просторы твоих полей от гула орудий, от грохота танков и рева самолетов... На запад идет Красная Армия, железной метлой выметает дикие орды озверелого фашизма».

Выход подпольной газеты в оккупированном городе стал знаменательным событием не только в жизни минчан, но и всей Белоруссии. Этот небольшой листок вызывал радость у наших людей. Подумать только: в условиях фашистского разгула, когда гитлеровцы бросали людей в тюрьмы, расстреливали, вешали, вышла самая настоящая наша, советская печатная газета!

У фашистской охраны выход в свет подпольной газеты вызвал ярость. Гитлеровцы рыскали по городу в поисках подпольной типографии. За выдачу ее фашисты обещали 75 тысяч марок. Но никто не выдал ее.

Находясь в оккупированном Минске, Владимир Омелянюк отпустил бородку, которая сильно изменила его внешность, — он понимал, что шпики и провокаторы ищут его. Теперь он совсем не походил на того застенчивого студента-кижевца, которого мы знали до войны.

И все же одному из шпииков удалось опознать и выследить Володю. Это случилось 26 мая 1942 года в Минске, в районе университетского городка. Заметив слежку, редактор, сжав в кармане пистолет, пытался увлечь преследователя в место, выгодное для схватки. Но фашистский агент опередил его. Выстрелом в спину Владимир Степанович Омелянюк был убит. Талантливый молодой журналист, герой минского подполья, погиб на боевом посту.

Но, убив Омелянюка, фашисты не убили «Звезду». И после его гибели выпуск подпольной газеты не прекратился: в августе 1942 года вышел второй, а в сентябре — третий и четвертый номера «Звезды». В октябре 1942 года ЦК КП(б) Белоруссии принял решение о переносе выпуска «Звезды» из Минска в глубокий тыл противника, в одну из партизанских зон. Здесь следующий номер газеты вышел 27 января 1943 года.

Дело, начатое В. С. Омелянюком, продолжало жить. В суровых условиях подполья вышло 104 номера газеты. «Звезда» вновь пришла из лесов в освобожденный Минск вместе с передовыми частями Красной Армии и партизанскими отрядами, пришла, чтобы под знаменем партии вместе со всем народом строить счастливую жизнь на родной Советской земле.

...Имена героев бессмертны. Минчане свято чтят светлую память Владимира Омелянюка. Одна из улиц города носит теперь его имя. На доме № 31 по улице Чернышевского укреплен мемориальная доска, на которой золотыми буквами написано:

«В этом доме в 1941—1942 гг. находилась конспиративная квартира минского партийного подполья. Содержали квартиру С. К. Омелянюк и его сын В. С. Омелянюк — член Минского подпольного комитета КП(б)Б, редактор подпольной газеты «Звезда»».

В канун 20-летия победы над германским фашизмом за большие заслуги в мобилизации белорусского народа на борьбу с врагом Президиум Верховного Совета СССР наградил республиканскую газету «Звезда» орденом Отечественной войны I степени, а ее редактору Владимиру Степановичу

Омельянюку — члену Минского подпольного городского комитета партии — посмертно присвоил звание Героя Советского Союза.

Он прожил совсем мало и не успел многого сделать из того, о чем мечтал. Но то, что он успел сделать, составляет славную страницу в истории подпольной борьбы минчан в годы Великой Отечественной войны, в истории советской печати Белоруссии.

Быстро летят годы... Уже сровнялись с землей могилы фашистских разбойников, намеревавшихся поработить мир. Но вовек не смолкнет слава о подвигах героев, павших в борьбе за счастье нашего народа. Никогда не померкнут их образы, среди которых вечно живым будет и образ молодого белорусского журналиста Героя Советского Союза Владимира Степановича Омельянюка.

Жизнь короткая, а слава долгая!

Константин Полтев
ОРЛЕНОК САШКА



Поздняя ночь. Давно погасли огни в жилых домах Петроградской стороны. Только в коридорах Ленинградской студии телевидения все еще горит яркий электрический свет. На съемочной площадке включены прожекторы. Идет работа над телевизионным фильмом о смелом воздушном бойце, одаренном поэте и журналисте Александре Подстаницком.

Автор сценария — ленинградская журналистка Ирина Жарова — нашла некоторое сходство в судьбах французского летчика майора Антуана де Сент-Экзюпери и советского авиатора Александра Подстаницкого. Оба сражались в одном небе. Оба погибли в боях с ненавистным врагом человечества. Оба оставили после себя литературные произведения.

Режиссер фильма нервничает: он считает аналогию слишком смелой и боится, что скромный паренек из Мурманска никак «не вытянет» глубокую идею. Я присутствую в студии на правах друга и сослуживца Саши Подстаницкого: до войны мы вместе работали в редакции мурманской областной газеты «Комсомолец Заполярья», вместе начинали, вместе оттачивали свои недостаточно острые перья. Не буду греха таить: наша писанина не всегда приносила молодым читателям удовлетворение.

А теперь я вызван в Ленинград в качестве консультанта и участника телевизионного фильма о моем друге. У меня тоже возникает сомнение в правомерности параллели.

Писатель с мировым именем Сент-Экзюпери — и Сашка Подстаницкий! Пожалуй, тут что-то не так...

Наконец гаснут прожекторы и меня отпускают подброду в Мурманск. Жду, волнуясь. А потом читаю в «Правде» за 14 сентября 1965 года: «Прошли месяцы, а перед глазами так и стоит мужественный паренек Саша Подстаницкий из телевизионного фильма «Недопетая песня»...» Фильм хвалят за сердечность, доверительность тона. Затем — еще несколько теплых строк в «Комсомольской правде».

Значит, фильм понравился, значит, удача. Я никак не хочу обидеть создателей телевизионного фильма, но мне кажется, что эту удачу принес нам сам Саша, человек честный, мужественный, обаятельный.

Мы, мурманские газетчики, не считали его каким-то особенным. Или это была невнимательность молодости? Или так бывает всегда: живет человек рядом с тобой, носит такую же, как и ты, серую кепку, категорически, как и ты, отвергает галстуки, регулярно платит комсомольские взносы, а порой получает и взбучки от начальства. Обыкновенный человек, только стихи пишет. А кто их не писал? Вот и применяли к нему самую обычную мерку. Свойский парень — и все тут.

А сегодня нам обидно: почему не присматривались, почему не удержали в памяти многое из того, о чем теперь хотелось бы рассказать молодому поколению журналистов?

Но мне все-таки повезло больше других: некоторое время я учился с Сашей Подстаницким в одной школе. Он много читал, любил литературу и не считал ее «предметом», где все изучается «от» и «до», задумывался над книгами, размышлял о прочитанном. Однажды класс, в котором учился Саша Подстаницкий, писал сочинение на тему «Образ Анны Карениной». Одни написали лучше, другие — хуже. Но никто не написал так, как это сделал Саша. Вместо испытанных формулировок, почерпнутых из школьного учебника, человек решил высказать свое мнение и рискнул даже полемизировать с великим автором. Он написал следующее: «Лев Николаевич! Я не соглашаюсь с вами. Зачем вы толкнули под колеса поезда прекрасную русскую женщину Анну?..»

А время шло. И в 1939 году в газете «Комсомолец Заполярья» появился новый сотрудник. Никто не хотел называть его Александром Витальевичем, а добряк-редактор сокрушенно разводил руками:

— Детский сад у меня, и только.

Иной секретарь райкома комсомола тоже считал себя обиженным: могли бы прислать настоящего корреспондента, а тут мальчишку командировали. Но это было первое впечатление. Саша хорошо делал свое дело. Он писал умно и выразительно, увлекался темой, раскрывал ее интересно и содержательно. Поэт приходил на помощь журналисту, журналист помогал начинающему поэту.

Романтик и мечтатель, он был прежде всего человек дела. Саша не терпел пустых слов. Если кто-нибудь цветастой фразеологией пытался подменить настоящую работу, Подстаницкий говорил иронически: «Разговоры разговаривает... Сейчас утонет в словесном море и будет ему счастливый конец». Сам он всегда работал, засучив рукава.

Тогда в Мурманске строился новый стадион. Теперь этот стадион называется старым. А для нас, комсомольцев предвоенных лет, он почему-то никогда не стареет. Может быть, оттого, что строили мы его своими руками.

Так вот, на стройке стадиона газета «Комсомолец Заполярья» создала свою выездную редакцию. Впрочем, редакции как таковой не было. Был один Саша Подстаницкий. Редакционный курьер ходил туда за материалами. Возвращался и сообщал:

— Подстаницкий сам валуны ворочает. Говорит: пока материалов в газету нет. Вот создам бригаду — тогда и материал будет. Газетчик обязан знать, почем фунт лиха.

Саша считал постыдной роль стороннего наблюдателя. Раз пишешь об этом, значит, и делать это — твоя обязанность. Он всегда был непосредственным участником тех или иных событий. А события разворачивались с необыкновенной быстротой. Были и такие, которые беспокоили, внушали тревогу за судьбы мира. Прорыв линии Мажино, Дюнкерк, неожиданная высадка гитлеровского десанта в Норвегии... Было о чем подумать в эти тревожные годы.

И комсомол бросил клич: вся молодежь должна овладеть лыжами! Метких стрелков, отважных парашютистов, летчиков было уже много. А вот лыжников не доставало.

Каждое воскресенье устраивались кроссы. С утра до вечера Саша пропадал на лыжной базе. И тут он не изменил своему правилу: где все, там и он. Подстаницкий ходил на тренировки то с командами рыбокомбината, то с лыжниками судоремонтного завода, то с учителями и школьниками. Под вечер он появлялся в редакции, ставил лыжи в угол и

садился писать. Иногда, вопреки редакционному заказу, заметка получалась в стихах. Он даже письма писал в стихах.

Замечу сразу, что в редакцию Саша пришел не для того, чтобы писать душещипательные стишки про любовь, какими иногда заполняют альбомы и дневники. Он всегда ясно представлял себе высокое назначение советского поэта и журналиста.

Но молодость, кипучая и неумная, жила в нем, брала свое.

— В редакции «Комсомольца Заполярья», — вспоминает костромской журналист Василий Бочарников, — Саша со всеми находил общий язык, держался запросто. Кого подбадривал, кого подкалывал, кого смешил всегда свежими и неожиданными островами. Меня наставлял шутливо:

— Самое трудное в нашем деле — это научиться расставлять абзацы.

В каждой редакции есть своя какая-нибудь чтимая редкость. Ее молча показывают всем новым людям и ревниво ждут, что они скажут. В «Комсомольце Заполярья» таким драгоценным экспонатом были медвежьи рукавицы на шнуре. Закинув шнур за шею, Саша совал руки в гигантские, топорщившиеся шерстью рукавицы и таинственно шептал:

— Подарок самого Бадигина, капитана «Седова». Встречали седовцев, ну и нам вот перепало. Целую поэму можно написать об этих рукавицах. Как думаешь, стоит? По-моему, стоит.

Иногда Подстаницкий обижался:

— Везет же людям. Уходят в море на траулерах, а я тут в четырех стенах торчу...

В этот момент он забывал о том, что день или два назад вернулся от оленеводов Ловозерской тундры, побывал на отдаленном стойбище, радовался тем необыкновенным переменам, которые совершались кругом, и ему рано думать о новой командировке — надо еще отписаться.

Известно, что наиболее верную оценку работе журналиста дают сами читатели. Каждый из нас с трепетом ждет, что они скажут, и лучшая награда любому автору — маститому или начинающему — письмо в ответ на его выступление на страницах газеты. В этом отношении Саше везло. Помнится мне, как много откликов вызвал его материал «Об остроумии и зубоскальстве». Это был подвал на третьей странице, заверстаный не очень выигрышно, без каких-либо «оформительских излишеств». Но подвал прочитали все или почти

все подписчики молодежной газеты. В редакцию хлынул поток писем. Читатели сами принялись развенчивать доморощенных остряков.

Но Саша ничуть не возгордился своими успехами. Он оставался таким же простым и задушевым парнем. Комсомольцы редакции избрали Подстаницкого своим вожаком. И наш секретарь был всегда принципиальным, деловитым и, откровенно говоря, чуточку смешным. Не шли ему руководящие должности!

Я запомнил Сашу на перроне Мурманского вокзала, когда он уезжал добровольцем в летную школу. Это было в конце 40-го года. У вагона столпились допризывники, совсем не воинственные на вид, стриженные под нулевой номер, с нехитрыми пожитками будущих солдат.

— Ждите писем!— крикнул Саша, когда поезд тронулся.

— В стихах?— шутливо спросил кто-то из провожающих.

— Будут и в стихах,— подтвердил Саша.

Письма приходили. Были среди них и стихотворные. Человек природного юмора, он беспощадно высмеивал самого себя. Однажды он прислал свою фотографию в летной форме, снабдив ее откровенным признанием:

...Сей доблестный вояка,
Отважный ас, гроза больших высот,
На самом деле волком выл от страха
На высоте две тысячи пятьсот.

Мы умели ценить шутку. Тем более, что друзья Подстаницкого по летному училищу удивлялись его смелости и отваге. Саша решительно прыгал с парашютом, и, конечно, никакие «две тысячи пятьсот» не могли остановить его. Он отлично учился, прекрасно овладел теорией воздушной стрельбы.

И вот — война... Саша уже стрелок-радист на бомбардировщике.

В первом же письме к матери он сообщает:

«Пишу письмо наспех, ибо скоро уедем. Настроение самое лучшее. В бой пойду с радостью — надо бить врага так, чтобы он никогда больше не смог поднять головы. У нас на это хватит сил! Все мои товарищи дышат ненавистью к фашистам, будем драться до победы. Хочется как можно быстрее идти в бой... Ваш «летчик» Сашка».

Из летной школы Подстаницкий попал в авиацию дальнего действия, участвовал в налетах на Берлин, Инстербург,

Кенигсберг, Данциг. Смерть боевых друзей, тяжелое ранение, ожоги, которые появились после прыжка с парашютом из горящего самолета, не смогли сломить Сашу.

Совсем неожиданно он опять появился в Мурманске. Это было ранней весной 1942 года. Сюда, на Кольский полуостров, перебазировался один из полков авиации дальнего действия. Надо было разгромить фашистские тылы в Северной Норвегии, уничтожить гитлеровские аэродромы, с которых немцы бомбили Мурманск.

Сашу, конечно, в Мурманске сразу узнали. Да и как не узнать человека, который учился вот в этой школе, ходил по этой улице и жил вот в этом доме?! Я, к сожалению, не видел его в тот приезд — был на фронте. Но сохранилась фотография. Она сделана на Ленинградской улице, поблизости от редакции газеты «Полярная правда». Туда он принес свои стихи. До этого они лежали в летном планшете рядом с топографическими картами.

Каждую ночь полк бомбардировщиков поднимался в воздух. Самолеты выходили на заданные цели, сбрасывали бомбы и возвращались на свой аэродром. Легко сказать сейчас: возвращались! За бомбардировщиками гнались ночные истребители. На пути советских летчиков появлялись стены зенитного огня.

Однажды легчики недосчитались бомбардировщика, на котором летал Александр Подстаницкий. Погоревали, конечно. Вспомнили добрым словом поэта и журналиста-северянина. А он тем временем полз по снегу к переднему краю нашей обороны. Оказывается, Подстаницкий выпрыгнул с парашютом из подбитого бомбардировщика. Приземлился на ничейной территории: с одной стороны наши, с другой — немцы. Стало светать, и пробираться к своим было опасно. Александр пролежал в снегу целый день. И только в сумерках вышел в распоряжение наших пехотинцев.

Быть может, этот эпизод покажется не очень значительным, но из таких эпизодов складывались дни и годы войны. А случай сам по себе все-таки характеризует Подстаницкого как человека волевого и мужественного.

И на фронте Саша хорошо делал свое дело: бомбил, стрелял, писал стихи и заметки в военные газеты.

Друзья поздравляли Сашу: на его груди уже поблескивал орден Красной Звезды. О своих подвигах Саша умалчивал. Уезжая из Мурманска, он оставил в редакции стихи из задуманного им цикла «Лирика наших дней». Несколько стихот-

ворений из этого цикла было опубликовано за две недели до воздушного боя под Орлом, в котором погиб Александр Подстаницкий. Его не стало 28 июня 1942 года. Было ему тогда немногим больше двадцати. Посмертная награда — орден Красного Знамени — как бы засвидетельствовала еще раз, что это был замечательный человек.

...У нас в Мурманске Сашу Подстаницкого помнят многие. Стихи поэта звучат на литературных вечерах, они составили небольшой сборник, опубликованы в поэтической книжке погибших — «Имена на поверке». По Всесоюзному радио звучат песни на слова Подстаницкого. Это — любимившаяся молодежи песня о маленьком геологе, это и «Подорожная», удачно положенные на музыку ленинградцем Юрием Акуловым.

Теперь в Мурманске есть улица имени Александра Подстаницкого. Есть и мемориальная доска с его именем, установленная в Доме печати. Это — дань живых погибшему. По новой улице ходят с барабаном пионерские отряды, которые тоже носят имя поэта. А в редакции мурманских газет и радио приходят с улицы Подстаницкого конверты со стихами начинающих и пока еще никому не известных поэтов.

Вот, пожалуй, и все. Теперь и я начинаю думать, что паренек из Мурманска может быть упомянут в одном ряду с Антуаном де Сент-Экзюпери. Они сражались в одном небе. Они жили на одной земле. И были лучшими. А лучшие — не умирают.

Яков Звездов
«Я БЫЛ, ЕСТЬ И ОСТАНУСЬ
КОММУНИСТОМ»



Когда я вспоминаю Гавриила Осенко, мне всегда приходят на память стихи, очень популярные в годы первой пятилетки:

Мы можем нашей
Коллективной силой
Все радуги
Согнуть
И разогнуть...

Впервые я услышал их от молодого слесаря механического цеха Одесского судоремонтного завода комсорга Гавриила Осенко. Казалось, этот парнишка в черной сатиновой косоворотке в самом деле, шутя и играючи, может распрямить гигантскую радугу, казалось, что вся энергия пятилетки проходит через его сердце. Осенко любили на заводе за страстные речи, за умение работать без усталости и большую требовательность к себе.

Эти слова — не дань традиционным формам воспоминаний о хороших людях. Именно так характеризовали Осенко в 1934 году заводские комсомольцы, когда тот поступал на учебу в Одесский государственный университет. Он стал студентом исторического факультета.

И сразу ребята доверили ему — вчерашнему рабочему — факультетскую, а потом и общеуниверситетскую комсомольские организации.

Будучи студентом, Гавриил никогда не порывал связи с родным заводом. Он читает там лекции, посвящает свою курсовую работу участию судоремонтников в борьбе за установление Советской власти на Одессине.

А в 1938 году Гавриил Осенко приходит на работу в областную комсомольскую газету «Молодая гвардия».

Говорят, маленькая деталь, какая-то мелочь порой характеризует человека лучше всяких его слов. Над своим столом Гавриил повесил плакат со словами Горького, набранными им собственноручно в типографии: «Товарищ! Знай и верь, что ты — самый необходимый человек на земле. Делая твое маленькое дело, ты начал создавать действительно новый мир». В этом — весь Осенко, его вера в человека.

Будучи редактором, работая над монографией о борьбе колониальных народов за свое освобождение, Осенко оставался верным другом рабочих-судоремонтников, студентов университета.

Он всегда смеялся над молодыми «старичками», не умеющими отдыхать. Сам он прекрасно читал стихи, любил музыку, был отличным шахматистом и страстным футбольным болельщиком.

Весть о войне застала нас с Гавриилом Осенко в отделе пропаганды областной партийной газеты «Черноморська комуна». Мы готовили в набор полосу об изучении рабочими станкостроительного завода имени Ленина ленинской книги «Что делать?». Среди заявлений журналистов, стремившихся отправиться в действующую армию, его было самым первым.

Вспоминается жаркая сентябрьская ночь 1941 года. Нашей зенитной батарее предстояло не только отбиваться от самолетов противника, но и бить прямой наводкой по танкам врага. Осенко пробрался к нам еще накануне. Он был теперь корреспондентом военной газеты «За Родину». Вместе с нами он участвовал в отражении танковой атаки фашистов, участвовал не как наблюдатель, а как солдат, заменивший в бою подносчика снарядов одного из орудий. У Гавриила не было блокнота, он ничего не записывал, он просто был с людьми, говорил с ними, вместе с ними ел из одного котелка, шел в атаку.

А через несколько дней мы читали на страницах газеты его рассказ «Каждый боролся за троих». И от каждой строчки веяло жаром недавнего сражения. И снова я узнал голос сердца Осенко: теперь, казалось, через него проходит вся ненависть нашего народа к поработителям.

Как-то раз в нашей части Осенко встретил красноармейца в рваных сапогах и узнал, что начальник вещевого снабжения копит обувь на складах. Гавриил попросил у бойца порванный сапог, вложил в него листок из своего блокнота с надписью: «Так поступает только сапог» и молча поставил перед растерявшимся снабженцем...

...Мы оставляли Одессу. Это были тяжелые, скорбные дни. Стоя у баррикады возле университета, политрук Осенко смотрел на отходившие войска.

Затем Осенко сражался в Севастополе, писал статьи, очерки, заведовал партийным отделом газеты Приморской армии «За Родину». У меня сохранилось одно его письмо тех времен, адресованное на Керченский участок фронта: «...Севастополь сейчас называют городом храбрецов. Ко мне это относится, конечно, в меньшей степени. Но если бы ты посмотрел на этих людей! Лучшие страницы нашей истории повторяются вновь. Мы пишем письма под грохот артиллерийской канонады. И это приятно. Пусть беснуется враг, пусть громче говорят пушки о том, что его смерть неминуема...»

А вот выдержка из письма Гавриила Осенко жене. Он отправил его из Севастополя в Алма-Ату 9 июня 1942 года.

«Пользуюсь оказией и пишу это письмо для того, чтобы оно отправилось сегодня же ночью на «Большую землю». Пойдет оно не совсем обычным путем — подводной лодкой. Ничего особенного сообщить о себе не могу. Работы сейчас по горло. Это ты поймешь, если сопоставишь сводки Совинформбюро с проставленной на этом листе датой.

Враг пытается достичь успеха, но все его попытки разбиваются о нашу железную оборону. Он несет большие потери, и наша задача — наряду с лозунгом «ни шагу назад» бить врага до полного его уничтожения.

Фашисты силятся уничтожить нас ураганом бомб и снарядов. Тебе, моя родная, это непонятно, и ты этого себе представить никак не можешь. Даже бывалые люди никогда ничего подобного не видели. Но мы хорошо подготовились к встрече и мужественно, со всей присущей нашей армии стойкостью, отражаем яростные атаки захватчиков. О, мы слишком крепкий орешек для гнилых зубов немецких фашистов, и они обломают себе об него все челюсти!»

Далее, описав ночной воздушный бой, в котором наш истребитель сбил фашистский бомбардировщик, Осенко продолжает:

«Не думай, милая, что это единственная картинка. Я видел и вижу вещи куда поинтересней, а кончится война — сяду за книгу. Если она мне удастся, в ней будет много занимательного и поучительного. Такая мысль о «Записках военного корреспондента» зародилась не только у меня. Будем соревноваться с товарищами — у кого лучше получится.

Одновременно я задумал работу об истории героической обороны Одессы. Но все это впереди. Хочу только, чтобы скорей закончилась война, закончилась нашей победой над фашистскими псами. Тогда вся наша жизнь снова польется полноводной рекой, и мы будем счастливы.

Милая моя жена! Если бы ты знала, как я счастлив, что нахожусь на фронте. Что говорил бы я друзьям и знакомым после войны, если бы не был здесь? Всю свою жизнь я посвятил Родине, моей партии — для них весь я. Я знаю — ты понимаешь меня. И что бы со мной не случилось — я был, есть и останусь коммунистом. Других путей для меня нет и не будет...

Побеждает в жизни лишь тот, кто смело глядит ей в глаза, кто умеет найти себя в трудностях и побеждать их...

Мы поклялись над изуродованным телом бездыханного Ванюши * без усталости драться с врагом, и мы выполним свое твердое, большевистское слово. Война требует жертв, и вот еще одна принесена на алтарь Отчизны...»

Таковы были письма Г. М. Осенко. Они читались в госпитальных палатах, перепечатывались в местных газетах в глубоком тылу страны, где жила в то время его семья.

Задуманной книги об обороне Одессы и «Записок военного корреспондента» он не написал. 3 июля 1942 года на Херсонесском мысе Гавриил Осенко с группой бойцов был окружен противником. Он дрался до последнего патрона, которым оборвал свою, без остатка отданную Родине жизнь.

Перелистывая газеты, уже пожелтевшие от времени, читая строки, под которыми стоит подпись «Г. Осенко», думаешь: вот пример глубокого патриотизма, мужества, ясного и оптимистического взгляда на жизнь, вот пример служения Родине! Круг журналистских интересов Г. Осенко был необычайно широк. Комплекты газет «Молода гвардія»,

* Имеется в виду погибший в Севастополе одесский журналист Иван Сафонов.

«Чорноморська комуна», «За Родину» и других хранят его волнующие очерки, посвященные истории нашей Родины, пропагандистские статьи, фельетоны, рецензии и информации.

Следовало бы увековечить образ мужественного борца, коммуниста, рабочего, историка, журналиста, воина. Его статьи и очерки до сих пор не утратили своей познавательной ценности, они заслуживают быть изданными отдельным сборником, так же как и его письма к жене, сыну Владимиру и друзьям.

1967 г.

Зоя Корзинкина

В ТРИНАДЦАТЬ МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ...



Севастополь горел. Его защитники отбивали третий штурм гитлеровцев. Решалась судьба города... В раскаленном июньском небе кружат вражеские самолеты. Гитлеровцы бомбят порт, корабли, фабрики и кустарные мастерские, с первых дней войны работающие на оборону, жилые кварталы, школы, госпитали. Тысячи орудий и минометов бьют по улицам, бульварам, памятникам русской боевой славы, по всей неповторимой севастопольской красоте.

Третий штурм! Грохот рвущихся снарядов, завывание бомб, свист осколков... Люди глохнут, не слышат друг друга... Не хватает воды, копоть покрыла лица защитников города. Пить, пить!.. Но Севастополь живет, борется и, наперекор всему, верит в победу.

И не только верит: севастопольцы слагают песни об этой грядущей победе. Одна из них — на мотив широко известной народной песни «Раскинулось море широко». Уже в самом ее грустном напеве есть что-то созвучное севастопольской страде. В этой берущей за сердце песне были слова, отвечавшие самым сокровенным чаяниям севастопольцев:

Мы холод и стужу видали в боях,
Мы свыклись с дождем и ветрами,
И будем фашистов в боях истреблять,
Мы знаем: победа за нами!

Победа за нами! В это верили все — от командующего до рядового красноармейца и краснофлотца. Именно в эти

критические дни в разрушенном здании одной из севастопольских школ появился написанный еще неокрепшей рукой боевой листок. Он был сделан наспех, двумя карандашами — малиновым и простым, черным. Под малиновой красноармейской звездочкой стоял заголовок: «Окопная правда № 11». А дальше, на фоне знамени, шла «набранная» более крупным шрифтом газетная шапка:

«Наша 10-ка — это мощный кулак, который враг считает дивизией,— сказал майор Жидилев.— И мы будем драться, как дивизия».

Гордые слова! Их повторяли во многих подразделениях 7-й бригады морской пехоты, насмерть стоявшей в сражавшемся Севастополе. В одном из подразделений бригады и выпускалась «Окопная правда». Этот боевой листок выглядел, как «настоящая» большая газета: заголовок, рисунок, «печать» в две краски, броская шапка и страстный призыв, обращенный к читателям. Все на месте, во всем чувствовалась рука опытного редактора, выпустившего уже не одну стенную газету и боевой листок.

«Нет силы в мире,— говорится в передовой статье «Окопной правды»,— которая победит нас, Советское государство, потому что мы сами хозяева, нами руководит партия коммунистов».

Боевой листок ходил по рукам защитников одной из севастопольских твердынь, карандашные строки стерлись на сгибах, и теперь некоторых слов уже не прочтешь. Но каждый легкий след карандаша хранит в себе динамитную силу. И сейчас, спустя четверть столетия после того, как вышел этот номер «Окопной правды», нельзя без душевного трепета читать его строки:

«Вот посмотрите, кто мы... (несколько слов стерлись.— 3. К.):

Здесь, в 52-й школе:

1. Командир морского пехотного полка майор Жидилев — русский;
2. Капитан, кавалерист — грузин Гобиладзе;
3. Танкист, рядовой Паукштите Василий — латыш;
4. Врач, медицинской службы капитан Мамедов — узбек;
5. Летчик, младший лейтенант Илита Даурова — осетинка;
6. Моряк Ибрагим Ибрагимов — казанский татарин;
7. Артиллерист Петруненко из Киева — украинец;

8. Сержант, пехотинец Богомолов из Ленинграда — русский;

9. Разведчик, водолаз Аркадий Журавлев из Владивостока;

10. Я, сын сапожника, ученик 4-го кл. Волков Валерий — русский.

Посмотрите, какой мощный кулак мы составляем и сколько немцев нас бьют, и мы сколько их побили, посмотрите, что творилось вокруг этой школы вчера, сколько убитых лежат из них, а мы, как мощный кулак, целы и держимся, а они, сволочи, думают, что нас здесь тысяча и идут против нас тысячами. Ха-ха, трусы, оставляют даже тяжело раненых и убегают. Эх, как я хочу жить и рассказывать все это после победы всем, кто будет учиться в этой школе!

52-я школа! Твои стены держатся, как чудо, среди развалин, твой фундамент не дрогнул, как наш мощный кулак десяти...

Дорогая десятка! Кто из вас останется жив, расскажите всем, кто будет в этой школе учиться; где бы вы ни были, приезжайте и расскажите все, что происходило здесь, в Севастополе. Я хочу стать птицей и облететь весь Севастополь, каждый дом, каждую школу, каждую улицу. Это такие мощные кулаки, их миллионы, нас никогда не победят сволочи Гитлер и другие. Нас миллионы, посмотрите! От Дальнего Востока до Риги, от Кавказа до Киева, от Севастополя до Ташкента таких кулаков миллионы, и мы, как сталь, непобедимы!..

Валерий «поэт» (Волк)
1942...»

Валерий Волков, как и все защитники города, ни минуты не сомневался в конечной победе Красной Армии, в том, что мы вновь вернемся в родной Севастополь. Он верил в это даже тогда, когда участь Севастополя уже была решена.

Впервые выдержки из этого боевого листка вместе с полюбгоревшей фотографией группы бойцов были опубликованы на первой странице «Пионерской правды» 24 февраля 1961 года. И сразу же начался пионерский поиск. О юном редакторе боевого листка говорила на Всесоюзном слете молодых следопытов московская школьница. Ее рассказ зажег ребячий сердца. В поиски следов редактора «Окопной правды» включились школьники Севастополя, Москвы, Се-

верной Осетии, Украины, Грузии и многих других местностей Советского Союза. И если бы не энергия следопытов, их настойчивость, упорство, если бы не их, умело направляемый педагогами, патриотический энтузиазм, тайна «Окопной правды» так и осталась бы нераскрытой до сих пор.

А теперь мы знаем хоть и не все, но многое.

Ребята располагали обгоревшей фотографией. На ней — тринадцать советских воинов. Было больше, но изображений остальных сгорели. Бойцы спокойно позируют фотографу — одни сидят, другие стоят. На всех — шинели, а головные уборы разные: у некоторых шапки-ушанки, а у большинства — пилотки.

Видно, что снимок сделан в спокойной обстановке, в затишье между боями. Но когда? Судя по одежде бойцов — весной 1942 года, перед третьим штурмом города-героя. Среди сфотографированных, во втором ряду — девушка-летчица Илита Даурова, а внизу, справа в первом ряду — школьник Валерий Волков. Он и был редактором «Окопной правды».

Эту чудом сохранившуюся фотографию привезла севастопольским школьникам Илита Кирилловна Даурова, заведующая детским садом в селе Камбилеевское Пригородного района, расположенного в нескольких километрах от Орджоникидзе. Отважная летчица, участница обороны Севастополя, она совершила 82 боевых вылета, перевоза в осажденный город офицеров связи, боеприпасы, медикаменты, продовольствие. На 83-м вылете немецкие истребители сбили самолет Дауровой. Раненная в голову, она нашла силы покинуть падающую машину и раскрыть парашют.

Несколько часов провела летчица в море, пока ее не подобрала разведчики. Даурова осталась в Севастополе и до конца обороны сражалась в батальоне морской пехоты.

Во время одной из вылазок в тыл врага, в которой участвовала и Даурова, разведчики встретили в каком-то поселке тринадцатилетнего белокурого мальчика, пробиравшегося в Севастополь. Это и был Валерий Волков. Он привязался к морским пехотинцам и остался у них — в то время во многих частях, наравне со взрослыми, сражались и юные патриоты. Солдаты научили мальчика бросать гранаты, стрелять из автомата, быстро переползать открытые места. Не раз юный боец ходил в разведку, а «в свободное время» помогал бойцам — подносил в термосах пищу, доставлял патроны и выполнял другие поручения. Скоро выяснилось,

что Валерий пишет стихи. Так он стал редактором «Окопной правды» и успел выпустить одиннадцать номеров боевого листка. Одиннадцатый номер оказался последним — Валерий был убит. Но «Окопная правда» не исчезла бесследно — ее последний номер сохранил боец, имя которого упомянул Валерий в своей предсмертной статье.

Как погиб Валерий? Когда? Об этом рассказала ребятам Илита Кирилловна Даурова. Но она многого не помнит — сказались последствия тяжелых ранений и контузий. Даурова была тяжело ранена в самые последние дни обороны Севастополя, но ее успели эвакуировать. В сознание она пришла только в Куйбышеве. Где сражалась их «десятка»? Кто помог ей эвакуироваться? Ничего этого она не помнит. У нее сохранилась только полуобгоревшая фотография тринадцати ее боевых товарищей. Не могла Илита Кирилловна найти и места, где погиб и был похоронен Валерий Волков, — все теперь в Севастополе новое, все выглядит совсем не так, как в грозное лето 1942 года...

Но бой, в котором погиб Валерик, Даурова помнит хорошо.

— Шел третий штурм города, — рассказывает Илита Кирилловна. — Передовой, в прежнем понимании, уже не было — сам город стал фронтом. Наша десятка оборонялась около шоссе, в самом узком месте балки. В один из последних дней, не помню точно в какой, на шоссе внезапно появились три немецких танка. Валерик схватил связку гранат, выскочил вперед и хотел метнуть ее под гусеницу головной машины. Но не успел — был ранен в правое плечо. Тогда он перехватил связку и бросил ее левой рукой. Раздался взрыв, и танк с перебитой гусеницей завертелся на месте, закрывая дорогу другим. Еще несколько секунд — и все три машины запылали: бойцы забросали их бутылками с горючей смесью. В тот день фашисты так и не смогли прорваться к морю, где шла эвакуация раненых.

Валерик умер на руках у Дауровой. Его похоронили в каменной земле, рядом со школой. А пионерский галстук героя, пропитанный его кровью, еще несколько дней реял над руинами школы, став знаменем последних защитников Севастополя.

Вместе с обгоревшей фотографией Илита Кирилловна передала школьникам и последний номер «Окопной правды». История этого боевого листка еще более удивительна, чем история фотографии. В пекле севастопольской битвы, в бед-

ствиях эвакуации его сохранил и пронес сквозь все превратности войны тот самый «артиллерист Петруненко из Киева», о котором писал Валерий в «Окопной правде». Уже много лет спустя, после войны, разыскав адрес Дауровой, Иван Петруненко прислал ей из Ташкента боевой листок и письмо.

«Мне листок этот жжет руки,— писал старый солдат.— Поезжай в Севастополь, тебе там ближе, разыщи эту школу, расскажи ребятам про нашего славного разведчика Валерия Волкова. О его подвиге должны знать все пионеры...»

И. К. Даурова поехала в Севастополь. Так фотография и «Окопная правда» попали в школу-интернат № 4, потому что школы № 52 ей разыскать не удалось. Тогда поиски места, где жил и совершил свой подвиг Валерий Волков, начали ученики 3-й и 4-й школ Севастополя, учащиеся 613-й московской школы, следопыты из города Орджоникидзе и пионеры многих других городов. Был создан сводный экспедиционный отряд, который, шаг за шагом, шел по следам подвига.

Опросив старожилов, следопыты установили, что до войны в Севастополе школы № 52 вообще не было. Значит, выпуская газету в пылу боя, Валерик допустил ошибку. Может быть, он видел разбитую школьную вывеску с № 32? Ведь тройку легко спутать с пятеркой... Школа с таким номером была в восточном пригороде Севастополя — Инкермане. Ребята отправились туда, разыскивали людей, живших там во время войны, но никто из них не помнил Валерия Волкова...

Поиски продолжались. Ребята совершили много походов по местам боев, обследовали ряд пригородных поселков и деревень, побывали в Гончарном, в Верхнем и Нижнем Чоргуне и наконец нашли женщину — А. Т. Титоренко, которая подтвердила, что одно время, когда немцы ворвались в Крым, в Чоргуне жила семья сапожника Волкова, бежавшая из Бахчисарая. В этой семье был мальчик, по описанию похожий на Валерика. Но дальнейшие поиски ни к чему не привели: видимо, вся семья Волковых погибла.

Вели поиск и пионеры Северной Осетии. В селе Зильги они разыскивали бывшего лейтенанта Э. М. Азиева, одного из защитников Севастополя. Энвербек Мухранович сражался в группе прикрытия и хорошо помнит Валерия Волкова, подорвавшего танк и погибшего при этом. Он назвал и номер школы, около которой погиб Валерий. Оказалось, что это

была школа № 12, располагавшаяся в районе Ушаковой балки. Так было установлено место подвига героя.

Мы многого еще не знаем о юном редакторе, но пионеры продолжают свои поиски. Мы знаем, что звали его Валерием, а отчества его пока не знает никто — не принято тринадцатилетних мальчуганов звать по имени-отчеству. Отчества Валерика не знали даже в Президиуме Верховного Совета СССР, когда подписывали Указ о его посмертном награждении. Это — редчайший случай в практике наградного отдела. Вот текст этого документа:

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении пионера Валерия Волкова орденом Отечественной войны I степени

За мужество и отвагу, проявленные в период Великой Отечественной войны при защите города Севастополя, наградить пионера **Валерия Волкова** орденом Отечественной войны I степени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Л. БРЕЖНЕВ

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль,
28 декабря 1963 года

Имя Валерия Волкова записано теперь рядом с именами героев-пионеров Володи Дубинина, Вити Коробкова, Вали Котика в Книге почета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Все это — результат настойчивых поисков юных следопытов, долгим и упорным трудом возвративших из небытия имя редактора «Окопной правды».

А сверкающий золотом и красной эмалью орден Валерия Волкова вместе с его орденской книжкой ныне хранятся под толстым зеркальным стеклом одной из витрин Центрального музея Вооруженных Сил СССР. Здесь же — обгоревшая фотография, навеки запечатлевшая Валерия среди однополчан, единственная дошедшая до нас его фотография, и потертый на сгибах листок «Окопной правды»... Пионеры передали эти реликвии музею.

Жизнь Валерия Волкова только начиналась, не многое успел он сделать в свои тринадцать лет. Но прожил их не зря!

Мирон Яковлев С ПЕСНЕЙ О СОКОЛЕ



Мне надолго запомнился один из сентябрьских дней обороны Одессы. На нашу зенитную батарею, защищавшую воздушные подступы к порту, налетела стая фашистских хищников. Они обрушили на землю тонны горячего металла. Вокруг стоял сплошной грохот, лязг и звон, пронзительно выли сирены, неумолчно била корабельная и береговая артиллерия, и в ее канонаду вплетались длинные очереди пулеметов и свист осколков. Высоко вздымались столбы воды, над всем непроницаемой стеной висели дым и смрад.

А среди этого грохота и моря огня стоит у орудия военный журналист, редактор нашей бригадной газеты старший политрук Трофим Новиков, посылает по «юнкерсам» один снаряд за другим и громовым голосом читает горьковскую «Песню о Соколе».

Дальневосточник, герой боев в районе озера Хасан, отмеченный медалью «За отвагу», Трофим Владимирович Новиков был одним из тех, кто познакомился с нашим городом лишь в первые дни войны, но дрался за него с такой же сыновней преданностью, как и коренные одесситы, породнился с ним кровью.

Таково уж обаяние смелости и искренности: Трофим Новиков сразу же стал всеобщим любимцем. Отличный газетчик и глубокий знаток военного дела, коммунист, он воевал красиво и вдохновенно, зло и беспощадно. На его умение

метко стрелять, приобретенное еще на Дальнем Востоке, все мы смотрели с хорошей завистью. Эти замечательные качества снискали ему большое уважение товарищей по перу и оружию. В воинских частях и подразделениях его приход всегда был желанным.

Новиков редактировал красноармейскую газету «На боевом посту», в которой я работал литературным сотрудником. Это была газета 15-й отдельной зенитной артиллерийской бригады, защищавшей Одессу. По случайному совпадению, газету с таким же названием он редактировал и раньше, когда еще служил на Дальнем Востоке. Но теперь перед нашей редакцией стояли другие, гораздо более сложные задачи. Надо было не только воспитывать личный состав, но учить в ходе непрерывных боев воинскому мастерству, прививать любовь к своему грозному оружию и веру в него. Газета повседневно печатала материалы, помогавшие разгадывать тактику врага, переходившего от горизонтального бомбометания к пологому и крутому пикированию, стремившегося использовать рассвет, сумерки, низкую и среднюю облачность, изощрявшегося во внезапных налетах.

Статьи Новикова по этим вопросам отличались глубоким знанием возможностей зенитной артиллерии. Они звали людей на подвиг и рождались в самой гуще боевых дел.

Эпопея обороны города-героя Одессы теперь известна всему миру. Трофим Новиков пережил ее от первого до последнего дня. Он в буквальном смысле слова был на боевом посту!

В последний день обороны родного города мы ушли на канонерской лодке в Севастополь. Потом были бои за Симферополь, тяжкое отступление, и, наконец, суровая военная судьба разлучила нас: Новиков остался в Севастополе, а я с бригадой оказался под Керчью. Но и на Керченский полуостров доходили вести о подвигах журналиста, а потом бесстрашного комиссара зенитного дивизиона, с тем же одесским упорством защищавшего небо Севастополя.

— Ваше слово, товарищ пушка! — сказал Трофим, когда ему пришлось возглавить артдивизион.

Погиб Новиков в боях за Севастополь.

Больше мы ничего не знали о нашем редакторе и друге... Закончилась война, и началась длительная и настойчивая переписка со всеми, кто мог бы хоть что-нибудь знать о судьбе Т. В. Новикова и его семьи.

На протяжении всех 73-х дней обороны Одессы были мы вместе с Трофимом Новиковым, шагали по пыльным дорогам Крыма рядом со смертью, хлебали щи из одного котелка. Но, занятые буднями войны, мы, к сожалению, мало говорили о прошлой жизни. Я помнил лишь, что была у него жена Елизавета и дочь, очень больная, эвакуированные в Оренбургскую область. Но где они, как сложилась их жизнь?

И вдруг на один из бесчисленных запросов пришло письмо из архива Министерства обороны, в котором сообщалось, что семья Т. В. Новикова проживает в Одессе по улице Мизикевича, в доме № 69. Я немедленно помчался туда, но, увы, такого дома на этой улице вообще не оказалось. И снова началась переписка, и снова все поиски были тщетны.

23 февраля 1966 года, в День Советской Армии и Военно-Морского Флота, выступая на собрании юных следопытов 55-й одесской школы, возглавляемых неутомимой энтузиасткой Тамарой Ивановной Корнеевой, рассказал я о своих бесплодных поисках и обратился с просьбой о помощи к ученикам. Они охотно откликнулись.

О том, что юные следопыты совершают большое патриотическое дело, общеизвестно. То, что удалось сделать учащимся 29-й школы под руководством Галины Сергеевны Глебовой для розыска героев обороны Одессы, получило всеобщее одобрение и признание. В последние дни декабря 1966 года журналисты одесских газет, помнившие и любившие Трофима Новикова, были необычайно обрадованы. Действительно, каких только случаев не бывает в жизни! Сколько лет безрезультатно искали мы следы Т. В. Новикова, а ученица 7-го класса Рая Григоренко решила задачу по-своему: убедившись, что дома № 69 действительно нет, она зашла напротив, в дом № 68... Там и оказалась семья Новикова!

Здесь мы встретили жену Трофима Владимировича, его боевую подругу, отличившуюся в сражениях на озере Хасан, Елизавету Николаевну Новикову. Ныне она работает медицинской сестрой в санатории имени Иванова. Вместе с ней живут престарелая больная мать и парализованная дочь.

Елизавета Николаевна — человек большого сердца и сильной воли. Тяжелые беды не сломили ее, она ни на что не жалуется. В специальной папке бережно хранит она пожелтевшие от времени фотографии, отдельные экземпляры

дальневосточных и одесских газет, которые редактировал Т. В. Новиков, и его письма — документы огромной душевной силы, раскрывающие подлинную красоту характера этого замечательного человека.

Журналист и зенитчик, Новиков пал в боях за Севастополь. Вместе с ним погибли и очень многие другие наши товарищи. Некоторым удалось пережить и одесскую и севастопольскую страду, но и они пали в последующих боях.

На исторической перекличке в честь 25-летия обороны Одессы не было многих из дружной фронтовой семьи одесских журналистов. Они погибли в разное время, но всех их смерть сразила в расцвете творческих сил. Среди них — Иван Сафонов, Владимир Сивобородько, Иван Наганов, Лазарь Тонконогий, Пантелеймон Ульянов, Иван Руба, Давид Грудский, Григорий Гитин, Константин Шарапов, Михаил Макаров, Михаил Кошеватский... Много их!

И особенно горько то, что мы до сих пор не знаем, где их могилы...

1967 г.

Михаил Цунц

ТРУЖЕНИК ВОЙНЫ



Письмо, которое я держу в руках, датировано февралем 1942 года. Оно начинается обращением: «Дорогая Аня!». Анна Михайловна — жена и друг Леона Вилкомира — сидит рядом со мной. «Ведь это то самое письмо, которое вы привезли мне с фронта». То самое? И в памяти всплывает маленький, заснеженный, окаймленный ельником аэродром близ Волхова, лунная, огорчительно лунная ночь — ведь лететь придется над территорией, занятой врагом, — и ладная фигура Леонида, как все мы его звали. Он сует мне письмо, и в шуме уже запущенного мотора я с трудом различаю: «Отдай прямо в руки, по-нял — в ру-ки!..»

Неужели это было двадцать пять лет назад? Четверть века! А предо мной, как живой, стоит рослый человек в развевающейся на ледяном ветру шинели, топчется в сугробе, переминается с ноги на ногу, ждет, пока самолет побежит по полю, штормящему снежной пылью...

Погружаюсь в письмо, написанное таким знакомым почерком (удивительно это свойство почерка — мгновенно воскрешать в памяти образ его обладателя!), и весь ухожу в прошлое:

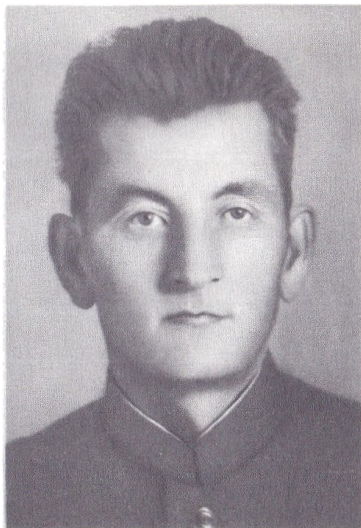
«Я честно и без страха исполняю свой долг военного корреспондента. Бываю на передовых позициях, делаю пешком и на машинах по многу десятков километров на военных фронтовых дорогах. Участвовал в танковой атаке и попал при этом в головной танк. Был под огнем противника, из

Сергею Шапошникову было неполных тридцать три года. И наивысшее его воинское звание — младший лейтенант. Так и остался он навсегда молодым.



Костя Лукьянов, ответственный секретарь «Красного Гангута», был душой редакции. Неутомимый газетчик, он умел делать все.

Всего один месяц проработал редактором батальонный комиссар Федор Зудинов и был убит осколком снаряда. Но этот месяц равен годам — Зудинов редактировал газету на полуострове Ханно.





Ни суровости, ни военной или хотя бы спортивной выправки у Марка Гейзеля не было. Так он и уехал в Таллин, в редакцию газеты «Красный Балтийский флот», в штатском костюме. Но проверку боем, жизнью и смертью он выдержал с честью.

Комендатура штаба тыла Юго-Западного фронта стояла тогда под Киевом, в Броварах. Корреспонденты приехали туда утром. На рассвете штаб бомбили. Слева направо: К. Тараданкин, М. Сувинский, комендант штаба капитан Д. Миркин и В. Полторацкий. Июль 1941 года.

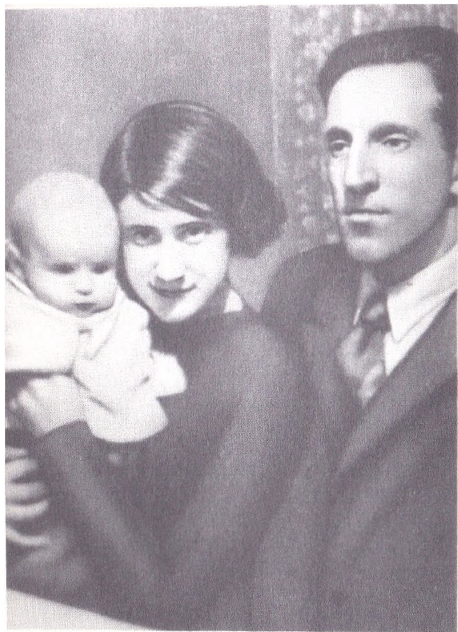


Александр Бусыгину шел тогда тридцать четвертый год... Это — первый его портрет, появившийся в печати.



Район Вязьмы, 1941 года. Группа сотрудников газеты «К победе». В первом ряду (слева направо): инструктор отдела армейской жизни Е. Дорошенко, ответственный редактор А. Гвоздев, инструктор отдела культуры А. Бусыгин. Второй ряд: начальник отдела информации А. Гандкин, начальник издательства Д. Марчик и инструктор отдела культуры А. Оленич-Гнененко.

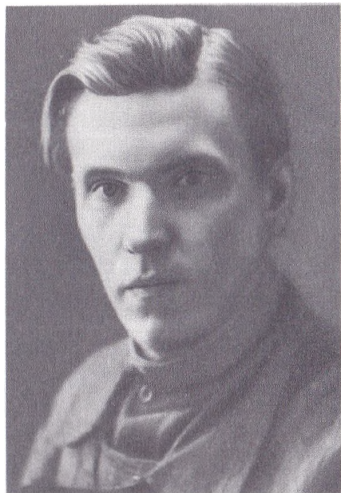




«Часто, Зиночка, я вспоминаю, как мы были счастливы с тобой», — писал жене с фронта Паул Освальдович Вейнберг.



Этот снимок Алексея Лебедева сделан в 1940 году. «А я останусь вечно молод...» — писал он в стихотворении, переданном мне незадолго до своей гибели.



Комиссар печати Александр Владимирович Кутузов. Была такая должность в Пензе во время гражданской войны. Снимок сделан в 1920 году. А погиб Александр Кутузов в боях за Москву в январе сорок второго.



Далекие довоенные годы... Корреспонденты «Комсомольской правды» Леонид Лось (на подножке автомашины справа) и Леонид Платов приехали в бывшее имение князя Голицына под Калугой. Итогом этой командировки явился «разворот» о передаче колхозам земли на вечное пользование. А во время войны Лось стал корреспондентом «Красной звезды».



Всеволод Багрицкий. Воин, поэт и журналист, он лежит в древней новгородской земле, за которую отдал свою девятнадцатилетнюю жизнь.

БЕЗ ОСТАТКА



Когда в 1930 году газете «Гудок» понадобился корреспондент по Свердловской дороге, вопрос в редакции решился очень скоро и просто. Кто-то сказал:

— Надо Сашу Шляпина взять, готовый корреспондент.

Действительно, путеец Александр Шляпин, сын рабочего Усольского солеваренного завода, был к тому времени хорошо известен редакции как активный рабкор, необычайно дотошный и настойчивый, с хорошим и ясным пером.

Горячо, энергично взялся 25-летний коммунист за новую работу, и очень скоро прослыл одним из лучших полпредов, как тогда именовали корреспондентов на железных дорогах. Он отдавался любимому делу целиком без остатка.

С Урала его спустя пять лет перевели в Донбасс, а вскоре после этого выдвинули на руководящую работу в аппарат редакции. Коммунисты избрали его секретарем парторганизации.

Надо ли говорить о том, какое чувство ненависти вызвали в нем гитлеровцы, вероломно напавшие на нашу страну? Александр Шляпин, к тому времени один из ответственных сотрудников КОГИЗ'а немедленно подает заявление об отправке его на фронт. Получив отказ, он вскоре снова обращается в райвоенкомат с той же настойчивой просьбой-требованием. Его вызвали и долго внушали, что и в тылу нужны люди, что его работа в издательстве очень необходима.

— К тому же, — сказал военком, — у вас трое малышей...

— Ничего, жена с ними управится. Прошу удовлетворить мою просьбу. Но и на этот раз его не призвали. Только после третьего заявления Александр Петрович был зачислен в ряды Действующей армии.

Боевое крещение политрук роты Шляпин принял при защите столицы от фашистских полчищ. Вскоре он вместе со своим 879-м стрелковым полком попадает на Калининский фронт.

12 декабря он пишет оттуда жене и ребятишкам, эвакуированным в Чебоксары: «Виной всему людоед Гитлер. За все наши страдания и лишения мы будем мстить фашистам, мало им не будет».

И он беспощадно, без усталости уничтожал фашистскую нечисть.

В скорбном извещении, полученном семьей, сказано, что Александр Петрович Шляпин, проявив мужество и героизм, 22 февраля 1942 года погиб в бою за деревню Васильки, Калининской области.

Он жил и умер как коммунист. Он не дожид до светлого дня нашей Победы, но отдал для этого самое ценное, чем обладал, — свою жизнь. Всю. Без остатка.

Ян Островский.



Еремей Лаганский. Это о нем Николай Чуковский писал: «Не было среди нас человека более стойкого, решительного, умелого, не поддающегося панике».



«Не в силе правда, но в правде сила» — таким был девиз газетчика Василия Кубанева.

...Едва только вышли за деревню Степанино, где стояла тогда редакция, Семен Тюльпанов достал свой дневной запас сухарей и тут же съел их до крошки. С питанием тогда было туго — дороги под Рязнью развезло.





Находясь в оккупированном врагом Минске, Владимир Омелянюк отпустил бородку, которая сильно изменила его внешность.

ПРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЕДНАЙЦЕСЯ!

ЗВЯЗДА

Орган Мінскага Гарнома КП(б)Б

№ 1 ЧЭРВЕНЬ 1942 г.

ТАВАРЫШЫ!

З сённяшняга дня Мінскі Гарном КП(б)Б аднаў-
ляе выданне свайго органа—газеты «ЗВЯЗДА». Пі-
шыце ў газету аб жыцці партызанскіх атрадаў, аб
базовых іх дзейнасці, аб навабных партызанках, пра-
явіўшых сабе ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі
акупантамі.

РЭДАКЦЫЯ.

**1942 ГОД ПАВІНЕН БЫЦЬ ГОДАМ ПОЎНАГА РАЗГРОМА ВОРАГА!
СМЕРЦЬ НЯМЕЦКІМ АКУПАНТАМ!**

**ШЫРЭЯ ПАРТЫЗАНСКУЮ
БАРАЦЬБУ!**

Гістарычныя словы перша-
майскага запэўні таварышы
Сталіна аб тым, што 1942

БЛІЗНІ ЧАС АСЛАБАНЕННЯ

Нямецка-фашысцкая грабежніцкая армія шорпіць пра-
ражэнне за паражэннем. Пад ударамі Чырвонай Арміі
яна адкатываецца на захад. Аступлючы, фашысцкія
арды знішчаюць і паліць нашы гарады і сёлы. Дарослыя

**ВЕСТКІ З ФРАНТОЎ
АНЧЫННАЙ ВАЙНЫ**

(Ад Савецкага Вярхоўнага
Водначнага Лавіцкага Б. ч. ч. ч.)

На працягу ночы не б. с. ч. ч. ч.

А вот заголовок подпольной «Звезды» № 1, которую редактировал В. С. Омелянюк. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Орленок Сашка... Таким был старший сержант Александр Подстаницкий весной 1942 года. Снимок сделан на Ленинградской улице Мурманска, поблизости от редакции газеты «Полярная правда».

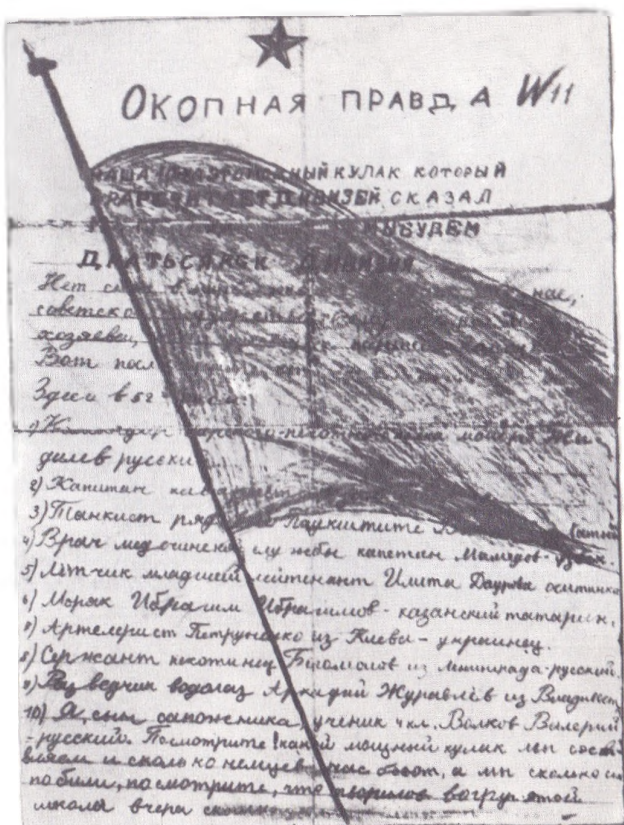


Тяжко было оставлять Одессу. Стоя у баррикады возле университета, политрук Осенко смотрел на отходившие войска.



Валерий Волков — юный редактор «Окопной правды».

**«Окопная правда» № 11 – лебединая
песнь Валерия Волкова.**



Редактор бригадной газеты «На боевом посту» Трофим Новиков. Дальневосточник, герой боев на Хасане, он погиб в Севастополе.



Этот снимок сделал Давид Минскер в Тихвине 9 декабря 1941 года, в день освобождения города от фашистской оккупации. Корреспонденты «Красной Звезды» Михаил Цунц (слева) и Леон Вилномир.



Петр Зорев. «Каждый из нас понимает, что может погибнуть, и каждый из нас знает, что все равно это жизни не остановит... Но, однако, я знаю твердо: без веры в лучшее будущее не может быть веры в победу. Без веры в победу нельзя жить и бороться. А мы живем, боремся, воюем!.. Будем же жить и бороться!»

Из письма П. Зорева товарищу.

Вадим Новиков (слева) и Юлий Зельвенский. Через 48 часов после этой съемки Вадима уже не было в живых...



**Александр Слепьянов, парень из
«Комсомолки», как его называли
в дивизии.**



**Мертвые остаются молодыми...
Это последняя фотография Лео-
нида Шершера.**

**Вот таким юным ушел из жизни
Иван Будаев... (Когда сделан сни-
мок — неизвестно. Предполагают,
что в 1941 году.)**





Корреспондентский билет, который пережил своего владельца.

Михаил Лузгин носил солдатскую шинель. Очень широкая, она постоянно собиралась в складки, и лишь «шпала» в петлице говорила о том, что ее обладатель имел звание старшего политрука.



В этой братской могиле под высоким деревом были погребены Николай Бочаров и Михаил Лузгин.

Это — один из вариантов портрета Зенты Озолс, написанный ее сестрой.



1942 год. Летучка сотрудников дивизионной газеты «Латышский стрелок». Третья слева — Зента Озолс.





До войны Нияз Абдрашитов работал заведующим партийным отделом петропавловской газеты «Ленинское знамя». А на войне он был заместителем командира стрелковой роты и погиб в бою. Это произошло в феврале 1943 года.



Отец Нияза Абдрашитова — Усман Умарович. Член КПСС с 1920 года, участник борьбы за установление Советской власти в Северном Казахстане, он организовал коммуны, в которой вырос Нияз. Ныне Усман Умарович персональный пенсионер.

танкового пулемета стрелял по немцам. Нас подбили, пробили броню, ранили командира танка. Меня только ударило осколками, я сжал наган, приготовясь к смерти... Мы сумели развернуть танк под огнем противника, спрятать машину за цепью пехоты, вынести на руках раненого командира. Над нами свистели пули. Это было поле боя, линия огня. Падали сраженные бойцы, стонали раненные. «Ребята, помогите, я умираю», — стонал кто-то.

Это все — жестокая правда войны. Не успели мы отползти и десяти метров от танка, как налетела авиация. «Юнкерсы» пикировали, бомбили, а «мессершмитты» поливали пулеметным огнем. Несколько заходов, несколько долгих минут... А мы в открытом поле головой в снег и ждали: в кого попадет? Это было мое второе прощание с жизнью за один день.

Было и третье прощание. Вечером я возвращался с линии огня в разбитую и сожженную деревушку... Начался минометный обстрел: слышишь звук приближающейся мины и бросаешься на землю в грязный, искоженный, изнавоженный лошадьми снег, рядом с трупами убитых людей и коней. Мина разорвалась где-то в десяти шагах от тебя: не задела осколками, встаешь и идешь дальше, но вот ее проклятый визг снова. Снова падаешь и снова встаешь. Холодно. Впереди костер. «Вот, думаю, погреюсь». Но опять мина, опять лежу. Встал, подошел к костру — мина попала в него. А здесь грелись десять — двадцать бойцов и командиров. Кровь, смерть, раны...

Все это эпизоды только одного дня. Кстати, было это в новогоднюю ночь и новогодний день. Я вновь и вновь вспоминал твои слова: «Рожден под счастливой звездой». Может, это и правда. Во всяком случае, смерть пока меня еще милует».

Я читаю залпом эти строки и вспоминаю первый день сорок второго года. В письмах, как и во всем своем поведении на войне, Леон был не только честен, правдив, но и поразительно скромен. В письме не сказано, например, что именно он спас истекавшего кровью командира танка, именно он под непрекращающимся огнем помогал эвакуации бойцов, застигнутых миной у костра. И бойцы, конечно, не подозревали, что этот сердечный, неведь откуда появившийся человек — военный корреспондент и что привел его сюда, в пекло боя, не приказ свыше, а зов собственной совести.

Мне кажется это очень важной стороной мужества военных корреспондентов: они добровольно шли навстречу опасности, и если уж говорить о приказе, то каждый фронтовой журналист был и автором приказа «На передовую!», и его исполнителем. В самом деле: ведь никто не требовал от того же Вилкомира идти в танковую атаку. Более того, чтобы попасть в танк, идущий в неравный бой (немцы, как известно, имели тогда значительное превосходство в танках), Леону пришлось долго и настойчиво упрашивать командира части, доказывать, что ему, военному корреспонденту, необходимо все видеть и все испытать...

Все испытать! Это не было у Вилкомира бравадой или позой. Настоящий труженик войны, он видел в ней не бедствие, от которого нужно отгородиться, а великую битву, в которой и у него есть свой боевой пост. А раз так — никаких компромиссов, никаких сделок с собой! «Я не могу жить *на войне*, как некоторые, *без войны*», — писал он в одном из своих писем родным.

Леон не мог, просто органически не мог, писать по штабным сводкам и политдонесениям и при необходимости делать это тянул, страдал и, откровенно говоря, не достигал большого успеха. Но как он загорался, когда, вернувшись с передовых позиций, предельно усталый, исхлестанный дождем или одеревеневший от лютого мороза, устраивался в избе, землянке, чтобы описать увиденное и пережитое. Полный живых впечатлений, он писал быстро, легко, почти без помарок. Потом перечитывал, хитро улыбался в белесые усы, которыми, между прочим, очень гордился: «А еще говорят, лентяй!» И тут же засыпал, укутавшись с головой шинелью.

В нашей группе корреспондентов «Красной звезды» по Волховскому фронту как-то сама собой возникла тематическая специализация. Одного влекло к статьям о тактике и опыте боев, другого — к материалам о противнике. Стихией Леона Вилкомира был человек, советский человек на войне, независимо от рода оружия и звания, способность этого человека преодолеть колебания и страх, умение забыть себя ради других, подняться до вершин вдохновенного подвига. Блокноты Леона были полны именами героев, подробным описанием того, как тот или иной солдат, политрук, командир, санитар, связист вели себя в минуту опасности, что предпринимали, что кричали, идя в атаку, и что шептали, будучи тяжело ранены. Позднее Леон интересовался судьбой

тех, кого встречал под огнем, даже разыскивал некоторых в госпиталях.

Некоторые задания редакции мы выполняли вместе. Об одном из них у меня сохранились довольно подробные записи в дневнике. Они дают мне теперь возможность восстановить то, что в памяти уже густо заштриховано временем. Эпизод этот тем более показателен, что идти нам пришлось по следам изумительного подвига, а к героям, и тем более павшим, Леон относился прямо-таки с благоговением, и к выступлениям о них в печати — с предельной ответственностью.

Было так. В конце января 1942 года три сибиряка-коммуниста — сержант Иван Герасименко и рядовые Александр Красилов и Леонид Черемнов — совершили под стенами Новгорода великий подвиг: они одновременно закрыли своими телами амбразуры трех вражеских дзотов. Герои не только спасли жизнь своим товарищам, попавшим в огневой мешок, но и обеспечили победный исход тяжелого боя. Произошло это за тринадцать месяцев до подвига Александра Матросова.

Мы передали в редакцию материал о героях-коммунистах, и он нашел широчайший отклик. «Красная звезда» посвятила им передовую статью. Емельян Ярославский писал о них на страницах «Правды», Николай Тихонов опубликовал волнующую «Балладу о трех коммунистах».

Но Леон не унимался: он жаждал дать дополнительный, как он говорил, «человеческий» материал, побывать в землянках, где жили герои, своими глазами увидеть место, где происходил бой.

Ранним выюжным утром мы тронулись в путь. Двигаться пришлось не только по трактам и лесным дорогам, но и по настилам, переброшенным через оледеневшие болота. Встречали мы группы солдат — саперов, минометчиков. Помню, как восторгался Леон выносливостью и терпеливостью солдат нашего «болотного фронта».

— Пойми, ведь каждый из них — сверхчеловек! Вокруг топи, в окопах жиж, в землянки просачивается вода, а люди говорят лишь о том, как бы побольше немцев убить в этих болотах, поскорее выручить Ленинград...

Где-то вдаль показался купол древней часовенки. Леон настоял, и мы сделали крюк, чтобы увидеть ее, полюбоваться потемневшей от времени позолотой. Рядом с часовней мы увидели братскую могилу с фанерной звездой. Леона,

помню, очень тронуло такое соседство — одеревеневшими пальцами он сделал запись в блокноте.

Мы нырнули в лес, и опять потянулись приволховские чащобы. Все явственнее слышалась артиллерийская канонада. «Снаряды рвутся над рекой, поэтому такое сильное эхо», — пояснил Леон.

И вот мы наконец у цели. Нас ведут по ходам сообщения. Они проложены внутри длинного вала, окаймляющего с юго-востока тысячелетний Новгород. Наши передовые позиции упираются здесь в закованную льдом реку. Стоило нам подняться, чтобы совсем близко различить движение по улицам, увидеть знаменитый Юрьевский монастырь. Новгород лежал перед нами скорбный, молчаливый. Сугробы, словно седины, покрывали реку, купола церквей, монастырские стены, опоясанные немецкими блиндажами. А вот там вдали, у каменных быков недостроенного моста, и происходил знаменитый бой, где пали смертью храбрых три коммуниста-сибиряка. Где они жили? Вот землянка Ивана Герасименко; все здесь хранит живую теплую память о нем; на стене — его портрет, нарисованный одним из солдат. Отсюда не раз отправлялся он на опасные задания, отсюда пошел и в последнюю операцию — разведать боем вражескую оборону.

Множество драгоценного материала собрали мы для будущего очерка. Всем бойцам хотелось сказать что-то очень хорошее, сердечное о павших. До слез тронуло письмо жены Ивана Герасименко, полученное из Сибири.

Леон чувствовал себя здесь как дома — он был уже обстрелянным фронтовиком и хорошо знал жизнь и быт переднего края. Подробнейшим образом расспрашивал он бойцов о каждом из трех погибших храбрецов, отклоняя общие фразы и общие характеристики. Он спрашивал: как выглядел человек, чем интересовался, какие песни любил, с кем дружил. Выяснил, что пулеметчиков Красилов и Черемнова звали «близнецами» — они были неразлучны, что Герасименко не должен был идти в последний бой — был не совсем здоров, но сам настоял: как же без меня?

Леон умел беседовать с бойцами, он не допрашивал их, а вел непринужденный разговор, охотно отвечал на встречные вопросы. Но как только кто-либо из собеседников говорил, пусть мимолетно, о чем-то важном, он начинал, и довольно настойчиво, уточнять, выяснять, допытываться. Помню, один из бойцов между прочим сказал, что у сер-

жанта Герасименко была какая-то любимая книжница — «тощенькая, тощенькая». Леон заинтересовался. Что за книжница? Бойцы пожали плечами: кто ее знает? Надо выяснить! И Вилкомир не успокоился, пока не был найден боец, который внес полную ясность. Оказывается, в полевой сумке вместе с патронами и сухарями сержант носил тоненькую книжечку из «Библиотеки красноармейца» и называлась она «Военная слава русского народа». Далее выяснилось, что эту книжечку он читал вслух, читал и говорил: «Вот как умели воевать наши предки. А мы должны воевать еще лучше».

Потом Леон стал расспрашивать о главном: как проходил бой, как был совершен подвиг. Тут он требовал абсолютной точности, по несколько раз возвращался к отдельным этапам схватки, переспрашивал, перепроверял. Он даже нарисовал чертеж и просил показать, в каком направлении двигались наши разведчики, где находились скрытые огневые точки врага. Потом он установил, кто из участников боя был рядом с героями, когда они бросились к амбразурам. К концу беседы мы уже отчетливо представляли все перипетии боя, зримо видели каждого из героической тройки. Вот так, со скрупулезной точностью и бережностью, собирал Леон материал о подвигах и их творцах.

Когда мы прощались с бойцами, один из них спросил: дадут ли павшим звание Героя? Вилкомир сказал:

— Если бы это зависело от меня, я бы дал...

Указом Президиума Верховного Совета СССР Герасименко, Красилов и Черемнов были удостоены звания Героя Советского Союза. Но когда вышел Указ, Леонида уже не было в живых.

Мы вернулись из-под Новгорода и тут же взялись за очерк — хотелось передать его в Москву поскорее. Впечатления от поездки были живые, глубокие, и писалось нам легко. Во время работы Леон то и дело заглядывал в старые блокноты, куда он заносил свои наблюдения, мысли, поразившие его детали.

Вошла в очерк такая его фраза: «Не самосохранение, а самопожертвование — инстинкт героя». И еще: «Время в бою исчисляется ударами сердца. Одна какая-нибудь минута вмещает в себя и смерть, и победу». Обе эти фразы он записал после участия в контратаке под Ленинградом.

Было уже за полночь, когда мы закончили работу. Писали дружно, мирно. Но когда выяснилось, что очерк чрезмерно велик, возникла острая дискуссия: что сокращать?

Компромисс вряд ли был бы достигнут, если бы не угроза опоздать на военный телеграф (наши большие материалы обычно передавались на исходе ночи, когда аппараты не были загружены оперативными сводками и переговорами). Было решено, что я отправлюсь на телеграф и в ходе передачи произведу сокращения. «Чтоб я не видел», — отрезал Леон. И тут же улегся, укрывшись шинелью.

Очерк вскоре был напечатан. Он назывался «Там, где сражались три героя-коммуниста». Но Вилкомира больше обрадовало то, что его издали маленькой книжечкой на нашем фронте. И если я видел Леона счастливо-удовлетворенным, то это в тот день, когда он услышал, как политрук читал эту книжечку разведчикам перед наступлением. Правда, Леонид сетовал: «Могли мы написать лучше, человечней».

На обратном пути из-под Новгорода мы долго ехали в крытом грузовике и как никогда задушевно беседовали «о времени и о себе». Я позволю себе воспроизвести запись из моего дневника: «У Вилкомира, оказывается, есть своя концепция: «Журналисты и писатели на фронте — глаза и уши воюющего народа. А глаза должны видеть все, уши — слышать все. Мы ответственны не только перед современниками, но и перед потомками. Люди спросят нас: скажите, как выглядела атака, воздушный бой, что представлял собой окоп, огневая точка, и главное — как вели себя люди на войне, как оборонялись и наступали, как умирали и что завещали... Но чтобы действительно увидеть войну, наш брат должен идти на известный риск, неужели же у нас не хватит этого минимального мужества?»

Достаточно проследить фронтовой путь Леона Вилкомира, чтобы убедиться, что в этих словах заключено его журналистское кредо. Формула «Я не могу жить на войне, как некоторые, без войны» была для него не риторическим девизом, а непреложным законом фронтового бытия. Об этом свидетельствует все, что вышло из-под его пера за десять месяцев пребывания в действующей армии — от первой корреспонденции, написанной в гостинице «Астория» в еще полуосажденном Ленинграде, до последних строк, набросанных в день трагической гибели под Новочеркасском. Об этом свидетельствуют все три главы его боевой биографии: Ленинград — Волхов — Южный фронт.

Леон акклиматизировался на войне удивительно быстро. Сугубо штатский на вид, в не очень ладно сидящей шинели,

он душой как-то сразу ощутил себя воином, нашел свое место в боевых порядках. Уже в первых своих корреспонденциях из-под Ленинграда Вилкомир дает картину боя «с близкого расстояния», он ведет читателя в окопы, передает запах «свежевырытой земли», знакомит с идущим в контратаку бесстрашным воином Алексеевым — «в одной руке наган, в другой граната», видит в только что сожженном врагом броневике «черную угольную руку, по-прежнему твердо сжимающую руль управления». Все это можно запечатлеть только в ходе боя, на передовых позициях.

Ожесточенные сражения под Ленинградом нарастают, и не только на земле, но и в воздухе. «Исключительной точностью бомбометания славятся летчики майора Сандалова, за ними особенно старательно охотятся гитлеровские стервятники», — сообщает в редакцию Вилкомир. Но ему мало сообщить, он рвется увидеть воздушный бой, участвовать в нем. И вот на боевое задание летит двухмоторный бомбардировщик. Ведет самолет майор Сандалов, обязанности второго стрелка выполняет корреспондент «Красной звезды». Только находясь в кабине самолета, можно так точно и живо описать бомбометание, пожары в расположении врага, зенитный огонь немецких батарей. «Снизившись, — пишет Вилкомир, — мы стали расстреливать немцев из пулемета». «Мы стали расстреливать» — именно так! И тут же увиденная сверху панорама окруженного врагом великого города: «Дымки фабрик и заводов, купол Исаакия, шпиль Адмиралтейства...» Никаких словесных украшений, выпретенных оборотов: все описано скупой, сжато, сурово.

До сих пор у Анны Михайловны хранится листок из блокнота ответственного редактора «Красной звезды», отправленный Вилкомиру в Ленинград: «Сегодня напечатали Вашу корреспонденцию «На пикирующем бомбардировщике». Молодцом! 8.X.41». Кстати, еще одно свидетельство скромности Леона: никому из нас тогда он «похвальный листок» не показал.

Из Ленинграда Вилкомир приехал на берега Волхова. Здесь он тот же журналист-солдат. Его статьи и очерки рисуют войну как она есть. Он славит героев и показывает страшную участь труса-отступника. Он находится в частях, активно наносящих удары по врагу, заставляющих его отступать от выгодных рубежей.

Леон приезжает в штаб фронта или армии только для

того, чтобы отписаться. И тут же возвращается на передовые позиции. Его знают в пехотных, танковых, артиллерийских частях, на аэродромах.

Сбор материалов для газеты требовал от Вилкомира большого мужества. Вспоминаю такой эпизод. На одном из участков Волховского фронта наши части прорвали сильно укрепленную оборону врага. В прорыв устремились кавалеристы. Они проникли глубоко в тыл противника, внезапно обрушились на немецкие части и испанскую «Голубую дивизию». Надо было дать читателям «Красной звезды» живое представление об этой операции. Вилкомир летит на самолете «У-2» в прорыв. «Летчик находит «мертвое пространство» в ливне огня, и мы входим в коридор», — так начал Леон свою корреспонденцию. Добавлю, что этот коридор простреливался немцами насквозь. Самолет углубился в леса и сделал посадку на поляне. Вилкомир быстро установил связь с одним из штабов, в сложной изменчивой обстановке встретился с участниками смелого рейда, а затем «с натуры» описал действия кавалеристов в лесах и болотах в глубине вражеского расположения.

С берегов Волхова редакция перебрасывает Вилкомира на Южный фронт.

Южный фронт — последняя глава боевой биографии Леона. За девять дней до смерти он делает такую запись: «Около нас в результате аварии самолета погиб Евг. Петров. В его бумагах мы нашли неотправленное письмо. Вот отрывок из этого письма, рисующий благородный и нежный образ Петрова: «Пишу кое-что в Информбюро и «Красную звезду» по материалам (довольно свежим) и разговорам с «очевидцами». Для меня, привычного писать по личным впечатлениям, это очень тяжело»».

Последнюю фразу Вилкомир подчеркивает: ведь она созвучна его взглядам.

По личным впечатлениям! Так он работал на войне — на земле и в воздухе. Именно так он хотел описать действия летчиков-штурмовиков и на Южном фронте. Но сделать этого ему не пришлось. Он погиб во время боевого полета, погиб как воин — с оружием в руках.

Вот документ, хранящийся в делах редакции.

«Ответственному редактору «Красной звезды».

Доношу, что сегодня, 19 июля 1942 года, трагически погиб корреспондент «Красной звезды» старший политрук Вилкомир. В этот день бригада корреспондентов находилась в Но-

вочеркасске. Ожидался переезд командного пункта штаба фронта за Дон. Имея несколько свободных часов, Вилкомир решил съездить в 103-й штурмовой авиаполк, находящийся в 1 км от Новочеркасска, получить там информацию о боевых действиях летчиков. Я согласился и сказал, чтобы он не задерживался, ибо мы должны уехать с командным пунктом. С Вилкомиром уехал фотокорреспондент Левшин. Через несколько часов он вернулся и дрожащим голосом сообщил о гибели Вилкомира.

Я сейчас же отправился в полк, на аэродром, где выяснил, что Вилкомир, узнав о предстоящем вылете группы самолетов, попросил разрешения у командира полка подполковника Мироненко полететь на боевое задание. Командир отказал. Отказ последовал и со стороны военкома полка старшего батальонного комиссара Немтинова.

Вилкомир тогда обратился к находившемуся на аэродроме командиру 216-й истребительной авиадивизии генерал-майору Шевченко. Генерал сначала отказал в просьбе Вилкомира. Тот настойчиво продолжал просить разрешения на полет. Наконец, генерал дал разрешение, и Вилкомир сел в ведущую машину, которую пилотировал опытный, лучший в полку летчик лейтенант Маслов.

Когда Вилкомир отправился на аэродром, у меня с ним не было никакого разговора о возможности полета. Очевидно, мысль о полете у него зародилась уже на аэродроме.

С боевого задания вернулись все самолеты, кроме одного, — на котором полетел Вилкомир. Не вернувшийся самолет, будучи подбитым, упал на территории, занятой немцами, в 3 км южнее станции Ермаковская (15—10 км южнее станции Татинская).

О том, как Вилкомир просился на самолет и как погиб вместе с летчиком, мне рассказали очевидцы всего этого — летчики лейтенант Малышенко и младшие лейтенанты Коваленко и Журавлев.

Прилагаю официальное сообщение командира 103-го ШАП от 19.7.42 г.

Врид начальника корреспондентской группы «Красной звезды»

М. Черных».

На войне люди тоже умирают по-разному. Леон пал смертью журналиста-героя. И если об этом не было сказано во весь голос в разгар войны, то наш долг сказать это теперь.

Его героизм поразил даже тех, кто в тот роковой день увидел его впервые. Вот сейчас я читаю и перечитываю письмо полковника в отставке Немтинова, того самого комиссара 103-го штурмового авиаполка, к которому 19 июля 1942 года обращался Леон за разрешением участвовать в полете. Немтинов прошел большой боевой путь — он был летчиком, командиром звена, комиссаром авиаполка, и нетрудно представить, сколько за годы войны пришлось ему видеть подвиги и смертей. Но и он, оказывается, не может забыть бесстрашного корреспондента. Спустя почти двадцать лет после войны обратился он в редакцию «Красной звезды»:

«Прошу вас, товарищ редактор, оказать мне помощь в установлении фамилии корреспондента, героически погибшего 19.7.42 г. на Южном фронте (Ростовская область) при выполнении боевого задания на самолете при атаке мотопехоты противника. Все подробности этой трагической гибели я помню, но фамилии не помню. Внешне выглядел он так: высокий, стройный, светловолосый, с красивыми светлыми усами, на груди у него был орден Красной Звезды. Эти приметы я описываю, надеясь, что, может быть, кто из старой корреспондентской гвардии еще работает в редакции... Этот случай до сих пор живет в моей памяти и памяти других товарищей, ибо это поступок был героический, приравненный к подвигу летчика Николая Гастелло. Фамилия этого корреспондента была примерно Волсон, Вулсон... Еще раз прошу Вас, товарищ редактор, не отказать в моей просьбе».

Старый авиатор, мимолетно видевший храбреца-журналиста, не только навсегда запомнил Вилкомира, но и понял, что вело его в кабину штурмовика, идущего в бой. В письме, адресованном жене Леона, комиссар пишет: «Я его знал, вернее видел, не больше двух часов, да и то просящего, а по сути, требующего пустить его в полет. Он такую проявил настойчивость, убеждая всех, что он уже летал не раз и что этот полет ему — корреспонденту совершенно необходим для жизненного и правдивого описания. Одно можно сказать: это был человек воли, отваги, любви и ответственности к делу, которое выполнял. Это звало его все видеть своими глазами».

Вот каким много лет живет Леон Вилкомир в памяти комиссара, встретившего его за какой-нибудь час до гибели: «Все видеть своими глазами!»

Из официального сообщения командования полка мы знаем, что самолет, на котором летел Вилкомир, был «под-

бит танковой пушкой противника на высоте 400 метров». Дотянуть до своих позиций надежды не было. И охваченный пламенем «Ил», в котором были два коммуниста — летчик и журналист, — врывается в самую гущу вражеской мотопехоты. Это видели наши бойцы на передовой линии. Нет, не зря комиссар полка вспомнил в своем письме о подвиге Николая Гастелло!

Справедливо говорят: солдатами не рождаются, тем более храбрыми солдатами. И если искать истоки становления у Вилкомира сильного характера, то они в том, что он всегда в жизни искал «одни лишь трудные дороги». Окончив в Москве среднюю школу, Леон работает на заводе «Борец», потом по комсомольской путевке уезжает из Москвы на одну из крупнейших строек первой пятилетки — Уралвагонстрой. Это было славное, но нелегкое время. Завод возводился в десяти километрах от Нижнего Тагила. В ходу были лопаты, тачки. Не хватало жилья, питания, строительных материалов. Молодые строители ночью разгружали кирпич, а днем укладывали его в стены будущих корпусов. Редакция многотиражки, где работал Вилкомир, ютилась в бараке. Ее сотрудники днем носились по огромной строительной площадке, а ночью выпускали газету, боевые листки и спали тут же на столах.

Таковы были жизненные «университеты» будущего военного журналиста. Недаром в стихотворении о мужественном рабочем Тагиле Вилкомир писал:

Я в этом трудном городе мечтал
Характером быть на него похожим.

После Урала — Литературный институт в Москве, а затем призыв в армию. Леон опять ищет, где потруднее, — просит направить его на Дальний Восток. Направили. Но в разгар проводов приходит пакет: явиться для прохождения службы в «Красную звезду». Так в нашей редакции на улице Чехова появился зам. политрука Л. Вилкомир.

Помню первый день войны. Мы собрались во дворе редакции. Первая группа корреспондентов уезжала на фронт. «На фронт» — это звучало тогда и непривычно и заманчиво. В тот же день Вилкомир атаковал редактора — просил включить во фронтовую группу. Редактор отказал. Но спустя несколько недель уступил. Леон стал фронтовым корреспондентом.

Если бы тогда, в первые дни войны, меня спросили, кто

из нашего коллектива наиболее стойко выдержит крещение огнем, вряд ли я подумал бы о Вилкомире. Он казался не очень расторопным, даже медлительным, неровным, трудно сходящимся с людьми. В боевой же обстановке на первый план у него выступило совсем другое — воля, какая-то суровая ответственность перед собственной совестью за каждый прожитый на фронте день, высокое чувство гражданского долга, настоящее солдатское мужество.

Я видел Леона в сложных и даже в критических ситуациях — он оставался твердым и хладнокровным. Говорят, что подвиг на девяносто процентов складывается из готовности к нему. Леон на фронте всегда был в состоянии готовности номер один. Он смотрел войне и опасностям, которые она таит, прямо в зрачки, не отворачиваясь и не страшась. В самом деле, много ли найдется людей, которые побывали бы и в пехотном бою, и в танковом сражении, и в воздушных атаках? Леон все это испытал. Испытал во имя того, чтобы рассказать о героях войны, воссоздать облик сражающегося народа для настоящего и будущего.

«Я верю в то, что смогу написать о войне что-нибудь хорошее, цельное... Будут ли то фронтовые записки или другое — не знаю. Но что-нибудь будет». Еще и еще раз записывал, что придет время и он напишет что-то «серьезное, стоящее».

Что подкупало в Леоне Вилкомире — так это цельность натуры, прямота и честность в отношениях с людьми, определенность симпатий и антипатий. Больше всего ценил он в человеке искренность, верность долгу, душевную непосредственность. Сам он только с виду был недоступно солиден, его представительная «генеральская» фигура только казалась суровой. На самом же деле это был человек отзывчивый, мягкий, сердечный, даже вспылив, он тут же отходил, и его лицо озаряла такая добрая, виновато-застенчивая улыбка, что в ней мгновенно растворялась вся его суровость. Этот большой, по-медвежьи массивный человек был добр, чуток, нежен. К товарищам, с которыми работал на фронте, он относился тепло, но в то же время требовательно.

Как выдерживаешь испытания войной? — вот решающий критерий, с которым он подходил к оценке людей. Тут он не знал компромиссов. Об одном из самых близких своих друзей он писал жене: «Постарайся встретиться с А. и поговорить начистоту, прямо, резко... В грозные дни войны он проявил себя до конца мещанином, чьи интересы не прости-

раются дальше своего жалкого логовища». В другой раз он просит позвонить М. и сказать, что «проверки войной он не выдержал, оказался ничтожным обывателем». Такое Леон писал с болью, но и здесь оставался прямолинейным, принципиальным, правдивым.

С чистым сердцем относился он к людям смелым, стойким, без шума и треска выполняющим свои обязанности на войне, независимо от того, каковы эти обязанности. Он привязался, например, к фотокорреспонденту «Красной звезды» Д. Минскеру, который не раз делал съемки под огнем. Возвратившись из очередной поездки на передовые, Леон обязательно рассказывал о мужестве, проявленном не только минометчиками, саперами, танкистами, но и каким-либо поваром, почтальоном или телефонисткой.

Образцом для себя он считал тех, кто сражался храбро и, если надо, до конца. «Воевать тоже можно и как поэту — с вдохновением, — и как ремесленнику», — говорил Леон. Он восхищался теми, кто поднимался до вершин подвига. Помню, какое огромное, поистине огромное впечатление произвел на него подвиг Зои Космодемьянской. Он несколько раз перечитывал очерк П. Лидова «Таня», рассказывал о героине нашему шоферу, потом повторил рассказ девушкам-телеграфисткам. А вот совсем недавно я встретил в его бумагах такую запись: «Из всего газетного материала этого времени меня трогает до слез, до глубины души «Таня» — Зоя Космодемьянская. Вот девушка — идеал жизни, предмет моих мечтаний... Я люблю ее всем своим сердцем».

Да, все у Леона Вилкомира дышало единой верой: мечты и дела, чувства и подвиги, фронтовые корреспонденции и лирические стихи.

О том, что Леон пишет стихи, я не знал, — ведь он их не публиковал. В те фронтовые времена он упрямо охранял свою тайну. Но однажды секрет был открыт. И вот как.

Было мутное январское утро. Сквозь сон услышал я какой-то шепот. Как ни странно, грохот пушек не в состоянии был нас разбудить, а вот этот непривычный шепот сразу прервал сон. Я прислушался. Два человека, лежа на полу, читали друг другу свои стихи. Видимо, подумал я, они пришли ночью. Кто же это? Я не решился нарушить таинства поэзии. Два голоса наперебой читали строфу за строфой, мне казалось, что оба поэта купаются в волнах поэзии, обрадованные, что нашли друг друга.

Когда рассвело, я увидел две фигуры — полную и худо-

щавую. Это были Леон Вилкомир и Всеволод Багрицкий. Выяснилось, что Всеволод — его Леон по отечески называл Севкой — только что приехал на наш фронт и следует к месту назначения — в редакцию армейской газеты «Отвага». За коротким завтраком наш гость — он видится мне и сейчас: черноволосый, с чуть грустными умными глазами — поведал, как добирался к нам из Чистополя, потом попросил подробно рассказать, каковы, собственно, обязанности писателя в армейской газете. Вилкомир сказал: вот поедem на передовые позиции, и сразу тебе станут ясными все обязанности.

Это было в середине января. А в начале марта Леон писал своим родственникам:

«Я здесь пережил смерть Всеволода Багрицкого — сына Эдуарда. Он работал в качестве поэта в армейской газете. Я с ним очень подружился. Как-то повез его на передовые. Сам уехал из деревни, а его оставил — Сева хотел побеседовать с одним офицером. Через 15 минут после моего отъезда произошел страшнейший налет на маленькую деревню, и Всеволод погиб...»

Будучи отчаянно храбрым («на собственном опыте я убедился, что чем смелее себя держишь, тем больше шансов на жизнь в этом горящем потоке бомб, снарядов, мин и пуль», — писал он), Леон очень глубоко переживал гибель товарищей, близких. После смерти Багрицкого он буквально не находил себе места, уединялся, все горевал, что не увез с собой Всеволода из деревни, а потом еще раз поехал туда, где оборвалась жизнь молодого поэта. Вскоре мы узнали, что Багрицкого в «Отваге» сменил другой поэт. Это был Муса Джалиль.

Я вспоминаю все это, листая сборник «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне». Под одним переплетом стихи и Мусы Джалиля, и Всеволода Багрицкого, и Леона Вилкомира.

Расскажу еще об одной смерти, которую тяжело пережил Леон. Поздним апрельским вечером 1942 года к нам прилетела из блокированного Ленинграда молодая журналистка. Долго мы, волховские корреспонденты, слушали ее рассказ о муках и стойкости ленинградцев. Вилкомир, хорошо знакомый с жизнью города в начальный период осады, забросал Аню Васильеву вопросами. Разошлись мы во втором часу ночи. А с рассветом гитлеровская авиация предприняла очередной налет на и без того истерзанную бомбами Малую

Вишеру. Вокруг что-то рушилось, трещало, падало, горело. Бомбардировка еще не окончилась, когда ко мне ворвался Леон, взъерошенный, возбужденный и, не говоря ни слова, потащил на улицу, окутанную дымом и пылью. Нашу гостью мы устроили в доме, где жил корреспондент «Правды» Д. Руднев. Но теперь этого дома не было. Бомба подняла его на воздух и с какой-то сатанинской силой обрушила вниз грудой обломков. Леон показал рукой на вершину бесформенной горы из карнизов, остатков стен, оконных рам, дверей, мебели. Там, наверху, зацепившись за бревно, висела женщина. Вилкомир взобрался и снял ее: Аня была мертва. «А где Руднев?» Его, чудом уцелевшего, мы извлекли из фантастического лабиринта.

Поздно вечером, при луне, мы хоронили Аню. Вилкомир своим глуховатым голосом произнес короткую речь.

— Война есть война, товарищи... У Ани хотя бы есть могла, а будет ли она у нас — еще неизвестно...

Я вспомнил эти слова, когда к нам на Волхов пришла с юга весть о гибели Вилкомира. У него действительно могилы нет.

А если бы она была, на ней высекали бы даты: 1912—1942. Тридцать лет, только тридцать!

Мы не знаем, кем бы он стал: публицистом, поэтом... Но мы твердо знаем, что это был настоящий гражданин и воин: верный, чистый, бесстрашный, готовый сделать все — и штыком и пером — во имя победы. Еще в самом начале войны он писал:

Мы победим. Мои — слова,
Моя — над миром синева,
Мои — деревья и кусты,
Мои — сомнения и мечты.
Пусть на дыбы встает земля,
Вопит и злобствует, и гонит —
Меня к своим ногам не склонит,
Как в бурю мачты корабля.
Я буду жить как я хочу:
Свободной птицею взлечу,
Глазам открою высоту,
В ногах травую прорасту,
В пустынях разольюсь водой,
В морях затрепещу звездой,
В горах дорогой пробегу.
Я — человек, я — все могу!

И действительно, он смог все: сражаться, как солдат, и умереть, как герой.

1967 г.

Борис Новицкий
СТРЕЛКИ ЗАМЕРЛИ В ЧАС



Петр Зорев шел на фронт в трудное время и по трудной дороге. В Орел он попал утром 3 октября 1941 года, когда город только что отбомбили «юнкерсы», и покинул его вечером, когда вражеские снаряды начали рваться у штаба Орловского военного округа. Его, как и всю группу московских журналистов, усадили в голубой автобус и по приказу комиссара штаба повезли куда-то в тыл. Ночью в Мценске машина чуть не свалилась под откос. Чудо спасло и автобус и запертых в нем пассажиров. Где-то за Мценском «новобранцы» выбрались из «плена» и попутным грузовиком добрались до Тулы.

Генерал, командовавший Тульским участком обороны, к которому старший группы обратился с просьбой дать машину для поездки в штаб Брянского фронта, поинтересовался:

— А как ты думаешь туда добраться?

— На Одоев...

— Дальше?

— Белев...

— Потом?

— Хвостовичи...

— Ну и попал в плен к немцам...

Подумав, генерал принял решение:

— Ну вот что: посидишь денек-другой со своим народом в Туле. Обстановка прояснится, тогда доставим...

Этот разговор я записал слово в слово, как только мы с адъютантом члена Военного совета Брянского фронта лейтенантом Рыскиным вышли из кабинета секретаря Тульского обкома партии В. Г. Жаворонкова, где помещался командный пункт.

Такой была тогда обстановка... Штаб Брянского фронта и его газета «На разгром врага» выходили из окружения по лесным расползшимся от дождей дорогам. Об этом мы узнали случайно.

В приемную обкома вошел молодой капитан-артиллерист. Измученный и измотанный, он явился на прием к генералу. Мы разговорились, и капитан сказал, что направляется в район Хвостовичей, к генералу Рейтеру.

— Рейтеру? К заместителю командующего Брянским фронтом? — удивился я.

— Да.

— А вы не можете нас прихватить с собой?

— А кого это вас? — спросил артиллерист.

Мы предъявили документы. Он придирчиво сверил наши лица с фотографиями на удостоверениях и неуверенно сказал:

— Пожалуй, прихватить можно было бы...

— Когда вы трогаетесь в путь?

— На рассвете. Давайте адрес, я заеду за вами.

— Честное пионерское? — пошутил я.

— Честное комсомольское! — ответил капитан, и улыбка впервые озарила его лицо.

С этой новостью — едем! — я и вернулся домой, где меня ждала вся группа московских, пока еще сугубо штатских журналистов, стенографисток, машинисток. Все они вступали во фронтовую жизнь в тяжелое время.

Выслушав рассказ о встрече с капитаном, новобранцы очень обрадовались.

— Нам везет. Завтра будем у себя, — сказал Петр Зорев.

Спать улеглись рано. Первым проснулся Зорев и, растолкав меня, сказал:

— Уже пять. Пора подниматься. Сейчас подъедет капитан...

Но тот не приехал ни в пять, ни в шесть, ни в семь... Машина вообще не пришла. Видимо, что-то изменило планы артиллериста. Я был удручен и размышлял, что делать... Подошел Зорев и, как всегда, чуть заикаясь, сказал:

— Не переживайте! Все устроится... Неужели семь добрых молодцев не добудут в Туле одного подержанного грузовика?

В холодный, слякотный, серый день мы уселись в полуторку областного военкомата и сравнительно быстро прибыли в Одоев. Но после обеда шофер, наслушавшись в столовке всяческих баек, решил немедленно вернуться в родную Тулу. Он вывез нас за город и где-то на полдороге в Белев остановил машину.

— А, черт! — ругнулся водитель и полез в мотор.

Все его попытки «починить» мотор ровно ни к чему не привели...

Так начался наш пеший путь в неизвестность. Первой остановкой на нем была деревня Солнцево, куда мы добрались к вечеру и где никого, кроме отступавших из-под Кирова* солдат, мы не увидели. Зато наслушались всякого.

— Куда ты идешь, зачем идешь? — раздраженно корил нас какой-то лейтенант-узбек. — Отступай назад. Впереди наших нет. Немцы прорвали фронт...

Солнцевская телефонистка подтвердила, что ходу на запад нет — фашисты уже заняли все соседние деревни.

— Давайте попробуем позвонить туда... — хладнокровно попросил ее Зорев.

— Чего звонить? — буркнула девушка и, в полном соответствии с женской логикой, тут же соединилась с соседним селом. Там ей сказали, что никаких немцев в деревне нет, но что они есть в другой деревне. Позвонили туда, там фашистов тоже не оказалось. «Телефонная разведка», проведенная Зоровым довольно широко, показала, что гитлеровцев нигде в округе нет. Мы решили заночевать в местной школе, а утром пробираться дальше.

Счастье все же сопутствовало нам. На следующий день в школе раздался страшно знакомый могучий бас. Он рокотал в гулких коридорах и перекатывался из класса в класс. Вскоре распахнулась дверь, и в проеме показался высокий военный.

— Ну что ж, здесь редакции будет удобно... — деловито заметил он.

— Толя, ты? — воскликнул я.

— А кому же еще быть здесь? — спокойно отозвался гость.

* Калужской области.

Это был фотокорреспондент газеты «На разгром врага» и по совместительству квартирмейстер редакции Анатолий Морозов. Благодаря ему мы к вечеру соединились с редакцией.

Перебазирование продолжалось. Схематично оно выглядело так: деревня Болото — станция Манаенки — Грязи — Воронеж — Мичуринск — Липецк — Тамбов.

Пополнение прибыло вовремя. Где-то в Брянских лесах пропали без вести журналисты — старший политрук Ярошенко, бывший редактор многотиражки Военно-ветеринарной академии, и младший политрук Иван Стариков. В конце сентября они выехали на передовую. Позже мы узнали, что оба они погибли.

Новички без промедления отправились в части, которые только-только выходили из вражеского окружения и занимали указанные им рубежи. Разыскать штабы было не так просто, но корреспонденты находили их, записывали рассказы воинов о боях в тылу у врага, о строительстве линий обороны, о подготовке к новым боям, о мужестве солдат и офицеров и по военному телеграфу передавали в газету.

К концу ноября линия Брянского фронта стабилизировалась. В газете и в сводках Совинформбюро замелькали фамилии Городнянского, Крейзера, Петрова. Мы-то знали, что части Городнянского — это 13-я армия, части Крейзера — 3-я армия, части Петрова, а потом Болдина — это 50-я армия.

Гитлеровцы вновь почувствовали крепкие контрудары наших войск, которые переросли затем в общее наступление. Закаленные в боях дивизии, корпуса и армии смяли гитлеровцев и рванулись вперед. С ними двинулись на запад и фронтовые газетчики.

Уже успевший побывать под огнем Петр Зорев первый сообщил о взятии Ельца частями полковника Ф. Черокманова. Свою заметку он озаглавил «Мы вошли в город...». В самом ее названии, в каждой строке чувствовалось, что этот немногословный и очень сдержанный человек ликует. После двух месяцев отступления он окунулся в животворный родник наступления и старался передать победоносное настроение, охватившее воинов.

Статья начиналась так:

«Первыми бойцов встретили ребяташки.

— Дяденька, айда за мной! — говорит мальчуган. — Из нашего двора немцы стреляют. Пошли, я покажу.

— Иди домой,— отвечает красноармеец,— убьют еще, чего доброго.

— Ничего, дяденька, не убьют. Я пролезу. Я дорогу во как покажу!»

Столь же лаконично и чуть-чуть буднично она кончалась:

«В штаб командира Черокманова женщина принесла чемодан.

— У меня ихний генерал стоял. Он так быстро бежал, что чемодан взять не успел.

В чемодане оказались секретные документы и карты. Жители Ельца собрали много таких оставленных гитлеровцами вещей.

Войска в свою очередь подсчитывают захваченные у врага трофеи».

Зорев все время был впереди. В газете появился его очерк «Наступательный порыв» — об офицере Алексее Косойкине, который за полгода войны прошел путь от красноармейца до командира взвода гвардейского полка. Каждую атаку Косойкин вел иначе, чем предыдущие, применяясь к местности, к расстановке сил противника, к обстановке, складывавшейся на поле боя. Именно искусство маневра живо и образно раскрыл Зорев в своем очерке.

Перечитывая его заметки, корреспонденции, зарисовки, статьи о боевом опыте, написанные в разное время и подписанные разными фамилиями (П. Зорев, П. Марков, П. Старов), теперь, десятилетия спустя, диву даешься, как быстро их сугубо «штатский» автор проникся военным духом и военными знаниями. Во всех его материалах был наступательный дух, ощущался боевой задор воинов, их стремление громить врага, гнать его с нашей земли. Впрочем, чему я удивляюсь? В этом сказывался темперамент и характер Петра Зорева.

Мы работали с ним до войны в «Гудке». Это был весьма начитанный и эрудированный человек, не гнушавшийся никакой работой: трехстрочная хроника — пожалуйста, стострочная корреспонденция — тем лучше, очерк на подвал — с удовольствием. Замечания он выслушивал внимательно, и если соглашался, то брался за перо и переделывал. В чем был уверен — не давал тронуть; доказывал, обосновывал. При этом краснел, волновался, а волнуясь, немного заикался. Не мог убедить, отстоять — прикусывал нижнюю губу и молча уходил из комнаты. Если редактор переделывал за-

метку по-своему, не считаясь с ним, автором, Зорев, не говоря ни слова, вычеркивал свою фамилию из оригинала и ставил какой-нибудь псевдоним.

В одном его газетное начальство всегда было уверено — в материалы Зорева не могла проникнуть ошибка. Он был точен до педантизма, не терпел поверхностности, презирал ворежлядов.

— Не поняли — не пишите, — сердито отчитывал он однажды молодого сотрудника отдела информации «Гудка». — Учитесь дотошности у Сергея Смирнова.

Речь шла о Сергее Сергеевиче Смирнове — молодом инженере и начинающем репортере «Гудка», учившемся одновременно в Литературном институте имени А. М. Горького. О том самом Сергее Смирнове, который ныне стал известным писателем, лауреатом Ленинской премии.

Дотошность и любознательность составляли важнейшие черты характера самого Зорева. И когда он стал военным журналистом, эти качества проявились с новой силой.

Как-то я приехал в Ливны, где располагался штаб 13-й армии и штаб-квартира нашего собственного корреспондента Петра Марковича Зорева. Дома его не оказалось — он понес на пункт сбора донесений очередные материалы для газеты.

Вскоре мне надоело шагать по комнате. От нечего делать я приподнял штору и увидел на подоконнике кипу книг. Чего там только не было: Боевой устав пехоты, вся еские «Наставления», сборники работ о войне Фридриха Энгельса и В. И. Ленина, труды Клаузевица.

Петр Зорев не только писал много — не полагаясь на журналистскую хватку, на умение интервьюировать людей, он в сложных фронтовых условиях много читал, учился военному делу. И ведь все книги он привез с собой, взял из домашней библиотеки! Не удивительно, что его публицистические статьи о славных традициях русских воинов были весьма содержательными, свидетельствовали о широте кругозора, о знании основ тактики.

Одним из первых наш собственный корреспондент высказался на страницах газеты по такому острому вопросу, как «Причины неудач одного боя». Вместе со старшим политруком Виктором Портновым он разобрал действия подразделения, которым командовал старший лейтенант Иванов, и показал, что его медлительность и неосмотрительность привели роту к поражению, хотя бойцы и командиры отделений

и взводов проявили в бою чудеса храбрости, рвались вперед, настигали гитлеровцев и били их насмерть.

«Закон Красной Армии — быстрое, внезапное окружение и уничтожение врага — был нарушен командиром подразделения». Этими словами заканчивалась статья. Она учила воинов искусству окружения и разгрома врага. Учила в то время, когда о подобной тактике в подразделениях еще не часто вспоминали.

Призывом к активным действиям пронизана каждая строчка статей и очерков Зорева. Он читает в штабе зенитного полка боевые донесения и прежде всего фиксирует внимание на сбитых в первый же день войны немецких самолетах. Корреспондент открывает в жизни полка любопытную закономерность. «Раньше фашистские самолеты охотились за зенитчиками. Теперь роли переменялись: наши зенитчики охотятся за немецкими самолетами, не подпускают их к наземным войскам, уничтожают воздушных корректировщиков, разведчиков». Проанализировав боевые донесения, он делает вывод: «Счет открыт 22 июня. Он будет расти. Папка будет пухнуть от новых и новых актов. В актах будут появляться все новые названия местностей, и местности эти будут все дальше на запад от тех, где сейчас зенитчики метко бьют фашистов».

У Зорева, как и у любого из фронтовых журналистов, были в частях свои любимые герои. Он охотно и часто бывал в батальоне Козловского. Какие люди в нем служили! Впоследствии редакция посвятила им целый номер газеты, предоставив возможность поделиться опытом наступательных действий. Но первооткрывателем этих мастеров военного дела был наш собственный корреспондент Петр Зорев.

О Козловском и его бойцах наш собкор писал не раз. Это он приучил их писать в газету. По его представлению капитану А. Козловскому Военный совет объявил благодарность за активную военкоровскую работу, что нисколько не мешало Зореву при случае отчитать своих любимцев за то, что они не научили новичков совершать перебежки под огнем врага.

Да, Петр Зорев помнил этих людей, следил за тем, как они воюют, чему научились, чему обучали других. До самых последних дней своей жизни он не упускал случая повидать своих подопечных, потолковать с ними, выудить новый интересный факт, засадить героя за чистые и узкие-узкие

полоски бумаги, которыми была наполнена его полевая сумка.

Как бы ни складывалась военная обстановка, в какие бы переделки ни попадал Зорев, он всегда оставался оптимистом. В июле 1942 года, когда гитлеровцам в последний раз удалось прорвать наш фронт и двинуться к Дону, на Волгу, в Закавказье, я получил от Петра письмо:

«Каждый из нас понимает, что может погибнуть, и каждый из нас знает, что все равно это жизни не остановит. Она победно пройдет по полям сражений, закалится в огне битв, очистится от всех ужасов человеконенавистничества. Да, мы будем жить! Мы не можем не жить. Настанет день — это будет года через два-три — и мы встретимся с вами после войны и разопьем солдатский котелок вина, как сказал мне на днях один пожилой солдат.

Девять месяцев фронтовой жизни многому научили меня. Но, однако, я знаю твердо: без веры в лучшее будущее не может быть веры в победу. Без веры в победу нельзя жить и бороться. А мы живем, боремся, воюем! Значит, мы идем к победе, значит, близится день нашей встречи с родными и любимыми. Будем же жить и бороться!»

Это была последняя весточка от него. Когда после излечения в госпитале я вернулся в редакцию, меня встретил художник Д. Дубинский и оглушил трагической новостью:

— У нас горе. Погиб Петя Зорев...

— Как погиб? Когда погиб? — вырвалось у меня.

— Никто ничего толком не знает... Майор Сретенский выехал в часть.

Через несколько дней Сретенский привез именные часы Зорева, искореженные стрелки которых замерли в час дня, и пробитое осколком редакционное удостоверение.

Вскоре в газете «На разгром врага» появился приказ Военного совета о награждении воинов фронта орденами и медалями. Среди них был и интендант третьего ранга Петр Маркович Зорев.

Он погиб 25 июля 1942 года. Бригада редакции во главе с Зоровым выехала в передовые части, на которые с огромной силой давил враг. Позади осталась деревня Каменка, и редакционный грузовик вскоре выскочил по большаку на безлюдное поле, окруженное лесом. Посредине поля одиноко высился курган. Несколько проселочных дорог сбегались к нему, и по ним с разных сторон, к центру, двигались еще один грузовик и «виллис».

Где-то неподалеку — в лесу или за лесом — рвались бомбы, клубился дым, пламенело небо.

— Там горят танки, — объяснил проходивший мимо солдат.

Увидев «виллис», руководитель фронтовой бригады газетчиков выскочил из кабины и побежал к штабной машине.

— Вы лучше смотрите в небо, чем на дорогу... — советовали Петру командиры, сидевшие в машине.

Зорев поднял голову. Над лесом шла группа фашистских самолетов. Заметив курган и три машины вокруг него, вражеские летчики, по-видимому, решили, что обнаружили командный пункт. Увидев, что первый самолет входит в пике, спутники Зорева бросились в щель, которую отрыл для себя какой-то расчет противотанкового ружья. Там уже было немало людей... Все упали ничком, друг на друга. Один из членов бригады, приподняв голову, успел разглядеть неподалеку от редакционной машины Зорева.

— Гони в лес! — крикнул он шоферу Барсукову.

Водитель бросился к полуторке. В это мгновение спикировал первый «мессер» и сбросил несколько мелких бомб. Одна из них угодила в машину. Взорвалась бочка с бензином, и Барсуков вспыхнул, как факел. Другие фашистские летчики по очереди заходили на цель. Отстрелявшись, взмывали вверх, опять выстраивались и все повторяли сначала. Когда фрицы улетели, журналисты выбрались из щели. «Виллиса» нигде не было. Редакционный грузовик догорал, рядом лежал обугленный труп шофера.

Три журналиста долго искали Зорева. На том месте, где он стоял в последний раз, его не было.

Лишь позже, когда бои утихли, враг был остановлен и отброшен на старые рубежи, солдаты дивизии, в которую ехала наша бригада, нашли в одной из воронок тело Зорева и похоронили его в большой воронке, ставшей братской могилой для тех, кто пал в тот день у кургана.

Юлий Зельвенский
ЦЕМЕССКАЯ БУХТА



Весной 1942 года, возвратившись с Балтики, из блокадного Ленинграда, в Москву, я застал в редакции пополнение. В изрядно поредевший в первые месяцы войны коллектив «Красного Флота» влились боевые флотские журналисты. Среди них — двое моих старых друзей из «Красного черноморца». С Александром Баковиковым, тогда помощником командира крейсера «Коминтерн», еще в 1936 году я участвовал в большом шлюпочном походе по Черному морю. С Вадимом Новиковым мы почти одновременно начинали матросскую службу: я на крейсере «Красный Кавказ», а он в бригаде подводных лодок.

Вместе входили мы в литературную группу флотской газеты. Надо сказать, что многие участники этой группы стали впоследствии профессиональными журналистами, а кое-кто и писателями. Но тогда все мы делали на газетном поприще только первые шаги. А вот Вадим Новиков, хотя и был моложе большинства из нас по возрасту, уже пришел на флот с солидным газетным стажем. Он успел побыть два года ответственным секретарем многотиражки «Домна» завода имени Кирова в Макеевке и два года заведующим металлургическим отделом «Макеевского рабочего».

Естественно, что Вадим выделялся среди других военков богатым журналистским опытом. Наступил день, когда гидроакустик подводной лодки стал заместителем ответственного секретаря флотской газеты. А имел он к тому

времени самое что ни на есть маленькое воинское звание — старший краснофлотец. И начались в связи с этим всякие недоразумения.

В редакционном коллективе быстро оценили опыт Новикова, признали его авторитет. Этот скромный, тихий юноша оказался очень требовательным к качеству материалов, мастерски правил корреспонденции, тактично, но настойчиво критиковал авторов неудачных произведений. И журналисты, облеченные солидными воинскими званиями, прислушивались к дельным замечаниям замсекретаря, не обращая внимания на его матросскую форменку. Даже называли его в редакции не иначе как «старым газетным зубром».

А вот вне стен редакции... То к редактору поступали записки от коменданта города с требованием «наложить взыскание на старшего краснофлотца вверенной вам части Вадима Новикова за хождение по городу в неположенное время» (а время-то было самое положенное для работника газетного секретариата: 2—3 часа ночи). То в самый разгар редакционной работы приходил вызов Новикову в суточный наряд.

Тогдашний ответственный редактор «Красного черноморца» Павел Ильич Мусьяков вспоминает характерный случай:

«Однажды редакционную летучку почтил своим присутствием один флотский начальник, любящий, как он говорил, «порядочек во всем». Дежурным критиком в этот день был краснофлотец Новиков. То ли этот симпатичный тихий паренек был в особом ударе, то ли некоторые реплики большого начальника разозлили его, но он подверг самому строгому разбору творчество двух старших политруков и одного батальонного комиссара, сдавших явно плохие, безграмотные материалы. Новиков спокойно зачитывал места, вычеркнутые при правке, сравнивал с тем, что осталось в номере, и популярно учил батальонного комиссара, как надо писать. При зачитывании «ляпов» все мы дружно хохотали. После летучки, оставшись наедине со мной, начальник сердито заявил:

— Безобразие! Полный раздрай у тебя в редакции! Краснофлотец критикует батальонного комиссара, а редактор вместо того, чтобы одернуть критикана, хохочет вместе с другими...»

Звание политрука Новиков получил только в начале войны. А до того он очень спокойно, немного иронически от-

носился к своему положению и неумолимо делал свое нелегкое дело. Уже тогда он фактически исполнял обязанности ответственного секретаря.

С началом осады Севастополя с особой силой раскрылись удивительная работоспособность и журналистский талант Вадима. Своевременно выпускать газету, ярко отражая события дня, всесторонне показывая героизм и боевые подвиги черноморцев в условиях осажденного города,— задача неимоверной трудности. Боевая обстановка менялась непрерывно, выдвигая такие темы и вопросы, планировать которые заранее невозможно.

Фронтовые корреспонденты — а ими стал почти весь редакционный коллектив — доставляли и передавали в редакцию сообщения с переднего края обороны, с кораблей, из авиационных полков, частей морской пехоты, береговой артиллерии. Фоторепортеры приносили снимки. Все это, сделанное второпях, часто непосредственно в горячке боя, ложилось на секретарский стол. Новиков с усталой улыбкой, на первый взгляд неторопливо, разбирался в этом потоке, правил, макетировал номер, докладывал редактору. Надо было еще обеспечить надежный прием по радио информации ТАСС из Москвы, держать черноморцев в курсе всех важнейших событий.

А на газетной полосе тесно: каждая строчка буквально на вес золота. Чаше возникает вопрос, не что давать в номер, а что можно не давать. Надо печатать статьи, помогающие морякам воевать на берегу: о маскировке, о борьбе с танками, об искусстве снайперской стрельбы. Надо показывать героев обороны, а она рождает их ежечасно, ежеминутно. За материалом ходить недалеко: самая дальняя точка фронта от редакции — 10—12 километров. Много внимания и сил требует отдел сатиры и юмора — «Рында», пользующийся большим успехом у воинов. Лучшие материалы этого отдела не раз передавались по Всесоюзному радио. Каково в таких условиях спланировать номер!

Севастополь был в те дни городом фронтом. Очень часто бомбы, а потом и снаряды рвались совсем рядом с редакцией. Вылетали стекла в окнах, лопались лампы в радиоприемниках, сыпалась с потолков штукатурка, стены покрывались трещинами. Временами прекращалась подача электроэнергии, останавливались лино типы, наборщики вручную продолжали набирать номер. Газета все равно выходила и вовремя попадала к читателям.

Вадим Новиков смотрел на готовые полосы красными, припухшими от бессонницы глазами, все так же устало улыбался. Его мысли были уже о следующем номере «Красного черноморца».

И вот май 1942 года. Вадим Новиков, как один из опытных боевых флотских журналистов, пришел на пополнение редакции центральной военно-морской газеты «Красный Флот». Не сразу обычно новички «притираются» в газетном коллективе. А Вадим благодаря своему удивительному умению сходиться с людьми как будто и не пришел «со стороны», сразу включился в редакционный ритм. У него оказался порядочный запас интересных боевых севастопольских материалов. Но, не исчерпав его и наполовину, Новиков «заскучал» в спокойной московской обстановке. Он стал проситься снова на Действующий флот.

И не успокоился до тех пор, пока в его нагрудном кармане не появилось командировочное предписание, в котором значилось, что политрук Вадим Николаевич Новиков направляется на Черноморский флот для выполнения задания редакции.

Вечером, перед отъездом, мы сидели с Вадимом вдвоем, вспоминали друзей-черноморцев, многих из которых не было в живых. Потом сфотографировались на память, не думая о том, что пленку еще не успеют проявить, а снимок отпечатать, как Вадима уже не станет.

Он приехал в Новороссийск и узнал, что в порту швартуется лидер эсминцев «Ташкент», вернувшийся из продолжающего сражаться Севастополя. Это был воистину «огненный рейс». Весь обратный путь героический корабль непрерывно преследовали фашистские бомбардировщики и торпедоносцы. Гитлеровцы стремились во что бы то ни стало уничтожить лидер, столь дерзко прорвавшийся под их носом в осажденный город.

Атаки следовали одна за другой.

Командир «Ташкента», умело маневрируя, уклонялся от прямых попаданий. Корабельные зенитчики бесстрашно встречали огнем очередную волну самолетов.

Море вокруг кипело от разрывов.

Множество бомб и торпед сбросили фашисты, а израненный корабль через сто смертей дошел в порт назначения.

Новиков поспешил на «Ташкент», стремясь быстрее собрать материал о его героическом экипаже, узнать, как живет и борется Севастополь. Не знаю, с кем беседовал Вадим в

ту минуту, когда прозвучал сигнал воздушной тревоги и загрохотали взрывы. То, что не удалось гитлеровцам в открытом море, они довершили здесь, когда корабль стоял у причальной стенки...

Вскоре я на «морском охотнике» пришел в Новороссийск. Над мутной водой Цемесской бухты виднелись верхушки надстроек «Ташкента», а где-то там, в глубине, покоились останки моего друга, Вадима Новикова, погибшего с блокнотом в руках на боевом посту флотского журналиста.

Карл Непомнящий

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ



В январе 1942 года он писал с фронта домой, в Москву: «Было страшно в первом бою, стало почти привычным теперь». Для тех, кто был на войне, эти несколько слов могут многое раскрыть в характере Александра Слепянова, но прежде всего они показывают его честность перед самим собой и его храбрость.

В армию он вступил добровольцем, окончил курсы политработников и сразу же уехал на фронт. Бросать гранаты, ползать, стрелять, колоть штыком и бить прикладом он научился в армейском лыжном батальоне, потом в дивизии, где служил старшим политруком.

В письмах, которые сохранились, он писал, что на фронте его окружают чудесные люди и что он им многим обязан. А эти люди в письмах к его отцу и матери в годы войны и после победы писали, что они многим обязаны ему, Александру Слепянову, парню из «Комсомолки», как его называли в дивизии.

Наиболее полно его журналистский талант раскрылся в самый трудный, самый тяжелый период Великой Отечественной войны, когда армия наша вынуждена была отступать, когда многие наши контратаки, великолепно задуманные и великолепно проведенные, все же заканчивались отступлением.

В этом же письме, датированном январем 1942 года, читаем: «Сейчас нахожусь в одном из освобожденных сел Смоленщины. Сегодня, направляясь сюда с группой товарищей, шли по снежной целине. Было солнечно и морозно,

и высокое небо не отравлялось противным уу-ууу... Мы шли молча, любуясь и наслаждаясь. Я вспоминал Серебряный бор, а в кармане письмо от тебя. Легко шагало и глухо мечталось. Мне казалось, что ты рядом, и мы вместе с тобой шагаем под январским солнцем».

Это письмо Лиле Карастояновой, его другу и жене. Он знал, что в январе сорок второго в Москве было трудно жить и работать, и этим письмом ободрял Лилю.

Слепянов, каким я его помню, принадлежал к людям, которые умели не поддаваться унынию. И письмо его, полное свежести и бодрости, написанное в те дни, когда дивизия несла потери и жизнь самого Слепянова каждую минуту подвергалась серьезной опасности, подтверждает это. Он понимал, что в те январские дни готовилась победа, и в его письмах к родным и незнакомым людям (комиссар Васягин поручал Александру писать письма родителям солдат, отличившихся в боях) мы ощущаем эту же беззаветную веру в победу, в армию, в ее героев.

В боях под Москвой комиссар полка Владимир Юрин совершил подвиг, к которому был подготовлен всей своей жизнью. Он совершил свой подвиг, когда бой достиг предельного напряжения. Это был совсем молодой комиссар. Сибиряк. Из крестьян. Молодой коммунист. Здесь, на линии фронта, все было устремлено вперед и готово к новому рывку, и «нужен был только толчок,— как писал Слепянов,— короткий, резкий толчок словом, действием,— и вражеская линия будет прорвана». Этот толчок дал ей Владимир Юрин. И Слепянов после боя в блиндаже, в трехстах метрах от передовой, пишет для дивизионной газеты стихи о герое. Он потом сообщит о подвиге комиссара Надежде Никифоровне, матери героя, и приведет в письме слова песни, потому что солдаты положили эти стихи на музыку и пели их:

Впереди отряда шел товарищ Юрин,
Знал героя каждый и его удар.
Он сметал преграды, шел в огонь и бури,
Молодой, отважный, храбрый комиссар.

Александр хотел написать книгу о дивизии, о Владимире Юрине и Иване Ростовцеве — истинных комиссарах, как он их называл, умных и смелых людях, о старом большевике Белове, сормовиче, который совсем не умел сердиться, и юном Агалакове, который был смел и прост и хотел стать журналистом. И, конечно, о Семене Петровиче Васягине, с

которым Слепьянов лежал вместе в медсанбате. Оба были ранены в голову, и оба отказались эвакуироваться в армейский госпиталь. Александр Слепьянов любил этих людей, гордился их дружбой, но книги о дивизии написать не успел.

В последнем письме, датированном июнем, он писал Лиле Карастояновой: «Сегодня всю ночь сидел у Ростовцева, Ивана Никитича: говорили о войне и о после войны. Пили чай с галетами, любовались твоим фото и договорились о великом торжестве после войны».

Это «после войны» встречается во многих его письмах, словно знал, что не доживет до этого времени.

Мне привелось впервые увидеть Александра Слепьянова в «Комсомольской правде» летом 1940 года. Я приехал из ленинградского КИЖ на практику, а он уже был журналистом с опытом. Три года работал в отделе комсомольской жизни, выступал в газете с большими статьями, и его в то время назначили заместителем ответственного редактора журнала «Комсомольская жизнь».

Это был высокий, худой, очень сдержанный в своих словах и чувствах юноша. Вдумчивый, всегда внутренне собранный, он и в юности писал трудно, то есть писал много, но не все печатал. Сердился на себя, когда не выходила статья такой, какой он ее задумал. В «Комсомолке», где всегда ценится свежее слово, хорошая идея, где с давних времен объявлена война газетным штампам, он нашел себя. Жил газетой, любил полосы, пахнущие типографской краской, любил бессонные ночи в редакции, рассказывая о том, какие чудесные люди окружали его на заводе «Метанол» в Сталиногорске, что он должник у этих людей, потому что о них никто еще не написал, а он напишет.

Кто-кто, а они-то уж заслуживают того, чтобы о них узнал комсомол.

Как это было со многими воспитанниками «Комсомолки», он ушел из газеты в журнал, но связей с газетой не порывал. Здесь он встретил Лилу Карастоянову, и здесь родилась их любовь и дружба, и терпеливое ожидание радости, и согласие в больших и малых делах. Родилась хорошая семья, говорили в те дни в «Комсомолке», и радовались их счастью.

В письме из Действующей армии он писал Лиле: «Будь за меня спокойной, родная, уверяю тебя, что в боях буду вести себя достойно, смело, решительно. Я не трус, не паникер, и спокойно иду в бой...»

Семен Петрович Васягин — тот самый, с которым Слепнянов лежал в медсанбате, присмотрелся к молодому политработнику и потом в дивизии не упускал его из виду. Он, видимо, в политотделе армии рассказал, что в дивизии есть парень из «Комсомолки», то есть человек, прошедший газетную школу «Комсомольской правды», и из политотдела пришло предложение Александру Слепнянову перейти на работу в армейскую газету.

Он не без колебаний отказался.

— Я не могу, никак не могу оставить своих, — объяснил он просто. — Солдаты не поймут меня.

— Но ведь ты журналист прежде всего, а потом уже солдат, — пытались его переубедить в политотделе дивизии.

Но Слепнянов стоял на своем.

В воспоминаниях некоторых военных корреспондентов или их статьях о войне часто встречается описание трудностей, с которыми нам приходилось сталкиваться: то это рассказ о плохой связи, то о тяжелой дороге, о том, как пришлось ехать из штаба дивизии в штаб полка на машине, груженной снарядами. Конечно, мог стукнуть «мессер»... Но бывало много труднее, чем нам, военным корреспондентам фронтовых или центральных газет.

Как сказал Николай Грибачев, мы часто могли сами определять степень риска. В этом были свои плюсы и свои минусы.

Такие солдаты, как Слепнянов, были всегда на линии огня не в переносном, а в прямом смысле этого слова, на передовой, где делалась дивизионная газета, в километре, а то и в нескольких сотнях метров от вражеских позиций.

Сохранять силу духа, ту высокую нравственную силу, которая была характерна для Александра Слепнянова, и означало выполнять свой долг, и он его выполнил, как тысячи и тысячи других солдат, потому что он прежде всего и был этим солдатом, а уж потом, когда солдаты засыпали, становился журналистом и редактором.

Он погиб летом 1942 года 23 лет от роду.

Погиб в бою, прикрывая отход товарищей.

Лиля не знала, что он погиб, но, видимо, чувствовала, потому что в своем письме осенью того же года, перед отъездом в тыл врага, она писала:

«Если ты погиб — я знаю, что последние минуты своей жизни ты думал обо мне, о нашем сыне, вспоминал, благо-

дарил, желал, чтобы я знала, что ты погиб как наш советский воин».

Уж не предчувствовала ли она и свою гибель еще до отъезда в партизанский отряд? «Так будет и со мной,— писала она.— Тебе будет принадлежать моя последняя мысль. С тобой на всю жизнь я свяжу все самое красивое, что вижу на земле. Ты единственная благодарная любовь моя».

И болгарская девушка Лиля, ставшая советской партизанкой, была его единственной и благодарной любовью. Они помогли друг другу стать тем, чем они стали,—солдатами, верными своему долгу.

Раиса Орлова
ФРОНТОВАЯ СУДЬБА

Фронтová судьба! Чтo есть выше и чище на свете?
Ты живешь, ощущая всегда, как тебя обдаёт
Бескорыстный, прямой, удивительной ясности ветер
От винта самолета, готового в дальний полет...

Л. Шершер.
«Ветер от винта»

В

одной из корреспонденций Леонид Шершер приводит разговор с летчиком Гречишкиным после возвращения с боевого вылета:

— Ну, как полет?

— Полет как полет, но только стреляют...

Если бы самого Леонида спросить о его работе во время войны, он вполне мог ответить: газета как газета, но только стреляют.

Он мог бы так ответить и потому, что за один год (больше ему воевать не пришлось — он погиб 30 августа 1942 года) война стала работой, бытом, повседневностью. Он мог бы так ответить и потому, что ему, как и многим из нас тогда, хотелось быть строгим, сдержанным, даже сухим, мы пуще всего боялись сентиментальности, «розовых слюней», стеснялись говорить о себе.

Леня рано сознательно начал готовиться к тому, чтобы стать газетчиком: он был деткором «Пионерской правды», редактировал школьную, а потом студенческую стенгазету. «Комсомолия» — так называли стенную газету филологического факультета Института истории, философии, литературы, где мы учились. Так эта газета называется и сейчас — ее издают студенты филологического факультета МГУ. Начала выходить она в 1935 году, и многие известные сегодня литераторы начинали свой творческий путь здесь — первыми опубликованными стихами, рассказами, рецензиями.

Гораздо позже я узнала репортерские заповеди газеты, которая стала первой литературной школой Эрнеста Хемингуэя («Канзас-стар»), и вспомнила, как мы сочиняли такие же, «изобретали самовар» в яростных ночных спорах в Ростокинском проезде, где помещался институт.

Спорили мы ночами с тех пор, как открыли, что газету лучше всего делать ночью: никто не мешает.

Тогда и рождались наши заповеди: «первая фраза должна быть блестящей», «когда идет перечисление, надо обязательно три слагаемых; два — звучит оборванно, четыре — слишком много, цветисто», «без жвачки» и многое другое. Споры обычно прекращал наш редактор Коля Дорошевич, которого мы ласково-уважительно именовали «батей». Он тоже погиб на фронте, под Старой Руссой.

Для Лени журналистика была не только любимой профессией, но и страстью. Он не мог спокойно пройти мимо газетного киоска. Первое, что он делал в новом городе, — покупал газеты. Его легче было оторвать от чтения книги, чем от газеты.

Еще школьником, когда почти никто из нас не читал «взрослых» газет и журналов, он читал все. У него в руках я впервые увидела «30 дней» (с Ильфом и Петровым), «Прожектор», «Чудак», «За рубежом». Если он уезжал куда-нибудь из Москвы, даже и совсем недалеко, он нервничал: а вдруг без него случится что-то самое важное. Друзья, родные посмеивались над ним, озабоченно сообщали ему, когда он возвращался: вот ты уехал, а мы недоглядели, и в Латинской Америке опять государственный переворот.

И надо же так случиться, что весть о большой войне застала нас на даче, куда мы накануне переехали. Леня получил увольнительную на сутки — он в это время служил в армии.

Газетчиком Леня был даже по темпераменту: взрывы бешеной, прямо-таки неукротимой энергии сменялись у него периодами полного бездействия, когда он часами, а то и днями мог просто так лежать на диване.

Жизнь газеты — жизнь длиною в один день. Но в этот день газета впитывает то главное, что у всех на устах, в сердцах. Высказанное, напечатанное, оно приобретает непреложность.

Нам бесконечно не хватало биографии: поздно родились — Леонид родился в 1916 г.; гражданская война прошла без нас, первая пятилетка — без нас (хотя цифры 518 и

1040 — пятьсот восемнадцать новых предприятий и тысяча сорок машинно-тракторных станций — это уже тогда были наши собственные цифры!). Школа, институт — вот, пожалуй, и все. Пересаживались с парты на парту. Нас нередко укоряли за отсутствие опыта, и Леню самого всегда мучило острое сознание неувиденного, несделанного, несостоявшегося. После института, в 1940 году, он ушел в армию, в гаубичный артиллерийский полк, стоявший в Тульской области, потом его перевели в Центральный театр Красной Армии. Он начал работать в литературной части театра, которой заведовал Г. Бояджиев. С августа сорок первого года — газета авиации дальнего действия «За правое дело». Судьба щедро «довыдала» многое из того, чего ему так недоставало. Опыта последних двух лет хватило бы на целую жизнь. Война дала опыт и отняла жизнь.

Журналист чем-то сродни актеру — важно то, что происходит сегодня, сегодняшний спектакль, сегодняшний номер газеты. И это трудно передать тем, кого в том «сегодня» не было.

Леонид был настоящим газетчиком: ему всегда хотелось, чтобы самые свежие новости, самые звонкие писательские имена, самые талантливые статьи были в его газете. Ему важно было самому участвовать в главном деле, а потом написать о главном. Он записывает в дневнике: «...событие, о котором столько думали до него, столько говорили, считали таким неизбежным, вдруг свершилось. И нужно скорее найти свое место в нем, скорее войти в самую гущу...»

То и дело возникали желания «вставить перо» соперникам, другим газетам. Война, вместе со всяческой шелухой, уносила и юношеское тщеславие.

Кто-нибудь услышит,
Снимет и напишет,
Кто-нибудь помянет нас с тобой...

В этих грустно-иронических строках корреспондентской песни верно схвачено настроение тех лет.

Как и все фронтовые газетчики, Леонид сохранял на хрупкой поверхности газетного листа имена и подвиги тех, кто сражался и погибал. Успеть написать о них, успеть поставить самые первые памятники славы — вот что им двигало прежде всего, заставляло работать днем и ночью, рваться туда, где шли бои. Он стал не только сотрудником газеты, но и стрелком-радистом боевого самолета.

Передо мной старые блокноты. Карандашные строки полустерты: имена, фамилии, даты, цифры, сколько вылетов, сколько сброшено бомб. Рассказы о прошлой жизни бойцов, заметки, заголовки. За каждой цифрой — событие, за каждым именем — судьба. Сейчас их уже и не расшифровать, не связать, не найти тех внутренних сцеплений, которые должны были ему напомнить беглые записи. Кое-что из них превратилось в статьи, рассказы. Много так и осталось ненаписанным, нерассказанным. Об этом и так, как мог бы он, уже не напишет никто.

То, что было сделано, сверстано, напечатано в газете, — тоже сегодня пожелтевшие листы, к которым редко кто при-трагивается. А жаль. Если бы из разных фронтовых газет собрать и издать лучшие статьи, это стало бы достойной главой истории войны, истории нашей журналистики.

Вот, например, корреспонденция «Рассказы о летчиках». 20 июня 1942 года. Три судьбы. «Есть люди, которым легче свершить подвиг, чем рассказать о нем хотя бы очень коротко.

— Да что особенного? Бомбили, как положено. Ничего выдающегося, — так говорил всегда летчик Баландин, когда его спрашивали об очередном рейде».

Баландин отводил разговор от себя, предлагал написать лучше о своем друге — Мише Евстигнееве.

Леонид Шершер пишет о них обоих. И о писаре Каверине — его дело аккуратно записывать, кто сколько раз летал, куда летал, сколько сшиб истребителей и когда вернулся. А он сам стремится летать. И добивается своего. Леонид рассказывает о лейтенанте Полозове, которому позарез надо выпустить стенгазету, а художника нет. Он вынужден немело выводить заголовок: «Боевой полет». Заголовок, часто прерываемый боевыми вылетами, получился неважный. Полозов очень огорчен, его успокаивает комиссар: «Ничего, Полозов, не так страшно. Получилось что-то вроде журнала боевых действий. Записаны подряд все шесть вылетов. Мы это после войны отдадим в Третьяковку. И напишем внизу: «В процессе работы над этим полотном художник В. Полозов шесть раз вылетал по боевой тревоге и сбил два «мессершмитта». Успех обеспечен!»

Остались ли живы Баландин, Евстигнеев, Каверин, Полозов? Где они сейчас? Как прожили эти годы?

Тогда, в пору их молодости, об их делах рассказал военный газетчик...

Год военной жизни Леонида был тяжелым годом. У него в дневнике записаны эренбургские строки:

Уходят улицы, узлы, базары,
Танцоры, костыли и сталевары,
Уходят канарейки и матрацы,
Дома кричат: «Мы не хотим остаться»...

Было стихами, было Парижем, стало горькой действительностью, стало нашими городами, занятыми фашистами.

8 октября Леня вернулся из-под Орла — эвакуировали аэродром. Он узнал горечь поражения. Но тогда же писал: «Мне опять повезло — я в наступающих частях, да еще в каких...» Одна из его корреспонденций называется: «Авиация наступает». Авиация дальнего действия наступала с первых дней войны.

Константин Симонов справедливо заметил, что работа фронтового корреспондента — не самая трудная и не самая опасная. Леонид очень хорошо это понимал. Первые два месяца войны ушли на то, чтобы перевестись из «мирного» театра Красной Армии (театр эвакуировался) в Действующую армию, в газету. Это оказалось гораздо труднее, чем просто с «гражданки» попасть в газету. Когда это осуществилось, Леонид понял, что ему недостаточно разговаривать с летчиками после полетов, расспрашивать их, а потом писать. С первых дней работы в военной газете он стремился действовать не только оружием слова, но и овладеть настоящим оружием. Он настойчиво просил, требовал посылать его в боевые вылеты. Вот одна из телеграмм: «Политотдел, старшему политруку Павлову. Есть договоренность о вылете с экипажем капитана Галинского. Говорил с комиссаром Кошелевым. Требуется разрешение командования. Очень прошу поговорить. Экипаж не стесню. Жду телеграммы для меня. Шершер».

«Экипаж не стесню». С октября сорок первого года он уже летал на боевых машинах как стрелок-радист.

Он любил странствовать, любил дальние поездки, мечтал о новых необычайных маршрутах. Незадолго до гибели он писал:

Ты поверь мне, что это не просто красивая фраза,
Ты поверь, что я жить бы, пожалуй, на свете не смог,
Если б знал, что сумею забыть до последнего часа
Ветер юности нашей, тревожных и дальних дорог...

Но кто думал раньше, что на долю ему выпадут такие дальние, такие тревожные воздушные дороги! На Полтаву. На Кенигсберг. На Берлин. Кто думал, что на землю ему придется смотреть из люка турельного пулемета?

В статье «Два рейса Героя Советского Союза А. Молодчего» он пишет: «Я не спросил у штурмана, когда начнется территория, освобожденная от врага... Я сделал это сознательно. И оказалось, что все это можно легко определить с воздуха».

Только что мы видели раскинувшуюся по просторам снежной равнины деревню... И вдруг совсем другая картина. Мы видим странное зрелище, сначала непонятное и поражающее. На снегу торчит только часток. Он размежевывает один снежный квадратик от другого. Это все, что осталось от деревни. Даже труб не видно, даже пепелище занесло снегом.

Так мы определили полосу, на которой побывал враг».

В статьях Леонида часто упоминается как цель боевых вылетов город Б. Это вовсе не всегда был Берлин, но как же нам всем хотелось думать о Берлине! Когда враг был под Москвой, когда наша армия отступала, когда вся Европа была залита коричневой тушью,— в это время наши летчики бомбили Берлин! От одной этой мысли становилось радостнее.

Прочитает эти слова иной скептически настроенный читатель и подумает: ну вот, муж летал на верную смерть и действительно погиб, а она радовалась. Да разве нормальный человек может так?

Может. Конечно же я боялась за Леню. Очень испугалась, когда узнала (задним числом) о его первом полете. Страх ощущался сильнее всего в длинной очереди к окошечку «до востребования» на почте в Куйбышеве. Стою, жду, невольно слушаю бесчисленные горькие и страшные рассказы. Подхожу наконец, а мне десять дней подряд отвечают: «Ничего нет». Или дают письма, но не от него. А газеты с его корреспонденциями я открывала с радостью и гордостью. Было здесь и сознательное: раз уже напечатано, значит, все позади. Настоящее время: «летим, бомбим» — таков журналистский прием, а на самом деле это уже в прошлом: «летали, бомбили».

Но, конечно, дело не только в таких сознательных рассуждениях. Как объяснить, что и мне, так же как и ему, в те самые первые мучительные недели войны, мне хотелось, чтобы его скорее перевели в газету, в Действующую армию? Он записывает в дневнике: «Единственное, что пугает меня

при отъезде, — это разлука с Райкой... И вместе с тем сейчас быть с ней тоже тягостно. Потому что я понимаю — несмотря на то, что она меня любит не меньше, ей хочется, чтобы я уехал. То же самое и мне».

Он был прав. Знала об опасности, но и ему, и всем близким, и себе хотела общей судьбы. И это было сильнее, чем страх.

Много лет спустя я впервые приехала в Берлин. Там еще были следы разрушений, скорее всего не тех, полученных в первые месяцы войны, а последующих. Трудно теперь представить себе самолеты в небе над Берлином, самолеты с красными звездами на крыльях, несущие смерть и разрушение. И в одном из этих самолетов — мой муж, мой друг, такой молодой, так страстно влюбленный в жизнь...

Авиация дальнего действия наступала, но общее положение было очень тяжелым. А мы рано начали жить общим, прежде всего, раньше всего — общим.

Война, и мы громим врага не на его территории — как обещала популярная песня, которую мы пели на всех демонстрациях, на всех вечерах, — а нам приходится тугу на нашей земле. От поражений было очень горько, — как же иначе? — бывало и страшно, но ни на минуту не исчезала вера в победу, вера безоговорочная, абсолютная, будто бы упрямо противостоящая сегодняшним фактам, а в конце концов подтвержденная Красной Армией, которая пришла в Берлин.

«Москва наша повзрослела, да и мы, пробираясь по ее улицам, чувствуем себя уже не такими, уже совсем взрослыми людьми, на чьи плечи легла большая забота, большое дело...» — это в одном из первых писем.

Хорошая журналистика непременно требует дельности, насыщенности фактами. В то время еще не было в ходу сегодняшнее слово «информативная», но заботился Леня всегда именно об этом.

По его корреспонденциям можно воссоздать целые куски истории наших воздушных налетов на гитлеровскую Германию, нашей борьбы в воздухе.

Конечно, на сегодняшний взгляд и в его статьях есть пустые слова и фразы (как он ни старался от них отделаться). Есть и неизбежные в ту пору пробелы, умолчания. Это правда, но не вся правда.

Первое знакомство с А. Молодчим, с которым потом Леонид летал, описано в дневнике так: «Молодой парень, озорной, своенравный. Когда я пришел к нему в эскадрилью, он

лежал на койке, вежливо привстал, но отказался (по смыслу) говорить.

— Чего говорить? Наволочек нет, читать нечего, кино не бывает, докладов тоже.

Потом говорил откровеннее. Пружинный характер — не оставит, вернется к своему, как бы ни мешали».

Леня летал с Молодчим, много писал о нем. О быте, об отсутствии наволочек в те годы, в те месяцы еще не писали, это считалось «малой правдой». Это пришло позднее. «Мне не виден летчик, — говорится в статье, — я вижу только его руки, держащие штурвал. Но они так спокойны, так тверды, так слиты с машиной, что я представляю себе его лицо — молодое, открытое, уверенное».

Он стремился к тому, чтобы изображать человека на войне правдиво, диалектично, и, следовательно, к тому, чтобы представить подлинный героизм.

Во всех письмах, на каждой странице дневника он пишет о газете, гордится ею, заботится о ней. Вот строки из писем:

«...«Известия» все время просят, прислали мне удостоверение, но писать просто некогда, буквально не можем сесть за стол. Сейчас газета выходит у нас на четырех страницах, скоро хотим переходить на выход каждый день. Материал, какой у меня есть сейчас, исключительно интересен. Но сесть за него не могу. Если приеду к тебе, хоть чуть отдохну (посплю подряд больше чем 4½ часа, — а это моя норма, которую я сейчас себе установил), — тогда, может, напишу».

«...Цену печатному слову можно узнать, только «прокрутив» газетный тираж собственными руками».

«...В газете работы много, и так как у нас сейчас очень много боевых дел, то газета выходит часто и, по-моему, хорошая. Ко дню Красной Армии мы выпустим приложение — юмористический журнал».

«...От работы я получаю огромное удовлетворение. Люди, с которыми мне приходится встречаться, потрясающе по своей простоте, отваге, человечности. Газету нашу за последнее время начали очень хвалить, да и, объективно говоря, есть за что — много лучше она стала за это время.

У меня к тебе просьба — оказией пришли переводы статей английских летчиков о полетах на Берлин и по другим фашистским объектам. Это нам очень хотелось бы поместить у себя».

Еще в студенческие годы Лёня не просто жадно читал статьи, книги лучших журналистов,—он их изучал, ему всегда хотелось понять—как сделано, почему так, а не эдак, чем именно действует.

В советской периодике Леониду больше всего нравилось то, что писал Кольцов. В дни боев в Испании мы столько раз повторяли, как наш собственный символ веры, слова Кольцова из «Испанского дневника», что ему скучно и тягостно в башнях из слоновой кости...

Он выкапывал статьи Ларисы Рейснер, которые в те годы были преданы забвению, смаковал репортажи Эгона Эрвина Киша, любил пересказывать изустные легенды о Михаиле Розенфельде (в первом сборнике «В редакцию не вернулся...» в хорошей статье Юрия Королькова я впервые прочитала некоторые из этих легенд). Он познакомился со старым газетчиком Василием Регининым и возвращался от него напичканный газетными сагами минувших лет.

Он родился в Одессе и очень любил собственно одесскую «литературную родословную» — читал часто «Юго-Запад» и другие стихи Багрицкого, читал Олешу, Бабея.

Лёня с детства писал стихи, печатался. Писал он, конечно, стихи и во время войны. Тогда же начал писать и прозу; его рассказы были напечатаны в «Новом мире», в сдвоенном номере — за октябрь — ноябрь 1941 года.

Для Леонида никогда не было разделения на журналистику и литературу, на низменное, каждодневное — землю и высокое, избранное — небо. Нет, проза и стихи тесно соседствовали, вырастали из каждодневной работы журналиста, газетные статьи были исполнены высокой романтики. Хорошую статью он ценил ничуть не меньше, чем хорошее стихотворение, и работал над нею не меньше.

Но выше литературы и выше журналистики была жизнь. Жизнь, отданная за правое дело.

Михаил Юрьев

ГАЗЕТА, ВЫПУЩЕННАЯ ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Кто прожил, не боровшись, покорно,—
В своей жизни тот счастья не знал.

И. Будаев



Передо мною лежит записка Вани Будаева. Она написана незадолго до смерти. Строки спрессованы, лаконичны, начинены невысказанной, затаенной болью. Почерк нервный, торопливый. Мужественные слова. Они обращены к родителям:

«Сегодня, 11 сентября 1942 года, я нахожусь в Виннице. Значит, еще жив. Что будет дальше со мной — неизвестно. Во всяком случае, трудно верить, что буду жив и дальше. Когда будет возможность, эти люди, у которых я жил год и которым бесконечно благодарен, перешлют вам эту записку и расскажут о моей судьбе, если этого я не смогу сделать сам.

Итак, прощайте. Иван».

Сын прощается с родителями. Ему 22 года. Я вижу его большие, задумчивые и горестные глаза. Брови на переносице вот-вот сомкнутся. Светлые волосы закинута наверх. И такое юное лицо...

Он ушел из жизни в самом ее начале. Но давайте пройдем по дорогам, по которым прошел Ваня Будаев.

Иван Васильевич Будаев родился в селе Кораблево на Смоленщине. Правда, при жизни по имени и отчеству его не звали, он был просто Ваня. Из Кораблева Будаев переехал в Краматорск к брату. Здесь Ваня и закончил среднюю школу, здесь впервые попробовал свои силы в журналистике — пошел работать в многотиражную газету Краматорского завода имени Серго Орджоникидзе.

Работа газетчика — беспокойная, горячая, требующая выдумки, поиска, полета фантазии — захватила его. На небольших полосах газеты почти ежедневно стали появляться статьи, заметки, даже стихи юного сотрудника. Но в заводской многотиражке Ваня Будаев проработал меньше года.

— Отслужу — ждите, — сказал он, прощаясь, товарищам по газете.

Эшелон повез его, призывника Красной Армии, на запад. Вряд ли Ваня думал тогда, что через несколько месяцев ему придется с оружием в руках защищать ту жизнь, о которой писал в своих первых стихах и статьях.

Война обрушилась внезапно, как обвал. Тяжелые бои, развороченная бомбами земля, неразбериха первых недель. И вот Ваня — раненый, голодный, обессиленный — в колонне военнопленных. А вдоль дороги, высунув языки, бегут немецкие овчарки, готовые броситься на упавшего в пыль пленника.

Колючая проволока в Гайсине, недалеко от Винницы. По утрам жидкая баланда из очистков картофеля, комок сырого и липкого, как глина, хлеба. А весь день каторжная работа.

Когда пленных вели мимо сел, сбегались крестьянки: они искали мужей, сыновей, братьев.

Однажды Ваня увидел в толпе женщину, которая не сводила с него печальных и тревожных глаз. Может, она вспомнила сына? Или так уж взволновало ее его лицо, заросшее черной щетиной, глубоко запавшие глаза, пятна крови на гимнастерке?

И вдруг женщина выбежала из толпы и бросилась к Ване:

— Сынку мий, сынку!

Ее отбросили солдаты, она упала в пыль, вскочила и снова бросилась к страже:

— Отдайте сына, отдайте!

В ту пору пропаганда оккупантов стремилась внушить населению, что гитлеровцы «гуманно» относятся к украинцам. Взяв у Вани подписку, что он не будет выступать против «нового порядка», его отпустили. А вскоре он появился в Виннице и связался с подпольем.

Иван Будаев оказался в группе подпольщиков, которую возглавлял Игорь Войцеховский. Устроили его на работу в санитарно-эпидемическое управление. Невысокий юноша с железным бачком на плечах появлялся то в Жмеринке, то в Гайсине, то в Немирове. Обязанности у него были неслож-

ные — дезинфицировать бараки, продовольственные склады, общественные места.

Бачок оказался удобной посудиною, где легко было прятать и взрывчатку, и листовки. С этим опасным грузом он путешествовал по Винничине, снабжая им подпольные группы.

Сначала листовки писались от руки или печатались на машинке, тщательно спрятанной в библиотеке. Потом Ваня соорудил гектограф — плоский ящик, заполненный ровным слоем студнеобразной массы.

Листовки, отпечатанные на гектографе, запестрели на стенах домов, на заборах, их разбрасывали во время киносеансов.

Белые листки были вестниками правды в оккупированной области. Ваня Будаев отлично понимал, что ежедневно и ежечасно подвергает себя смертельному риску.

— В бачке вожу собственную смерть, — шутил в кругу товарищей Будаев.

Вот один будничный эпизод из его жизни, рассказанный Евдокией Васильевной Горб — страстным летописцем винницких подпольщиков.

...Он возвращался в Винницу после выполненного задания. В тамбуре недалеко от него стояли две девушки, одетые по-крестьянски, в широкие оборчатые юбки и пестрые платки, с корзиной, прикрытой рядом.

В вагон вошли гитлеровцы. Началась проверка документов. Девушки тревожно зашептались. Ваня спросил:

— Девчата, вы чего?

Девушки помолчали, потом та, которую звали Галей, сказала сердито:

— Перепугаешься, когда всю кладь по вагонам проверяют.

Из вагона донесся истошный крик, потом ругань. Что-то отнимали, кого-то били... Ваня вскочил и вплотную подошел к пассажиркам. Они стояли бледные и растерянно смотрели на него.

— А ну, давайте то, что прячете! — сказал Ваня. — Быстро. Сюда, в бак... У меня, может, проверять не будут...

— Ничего у нас нет, ничего! — крикнула Галя, загораживая свою корзину. — Чего привязался!

— Вот скаженная! Им помочь хочешь, а они...

Вторая девушка обернулась к Ване:

— Тол у нас. Взрывчатка. И капсули.

— Так бы и говорили сразу. Я же вижу... Тоже стреляный воробей.

Пока они прятали в бак взрывчатку и капсюли, Галя стояла, точно окаменев. Губы у нее дрожали.

— Скорее! — торопил Ваня. — Теперь садитесь на свои корзины и спите...

И сам положил голову на бачок. Минут через пять в тамбур вошли два здоровенных гитлеровца в форме полевой жандармерии.

— О-о! Тут тоже есть пассажир. — И, повернувшись к девушкам: — Документ!

Те торопливо подали какие-то справки. Немец, прочитав, вернул. Другой штыком в трех местах проткнул мешок с солью.

— Нихт! — сказал он и обратился к Будаеву.

Ваня с веселым лицом подал ему свой «аусвайс». В нем говорилось, что ответственный за дезинфекцию пользуется правом беспрепятственной езды по железным дорогам без взимания платы за проезд. Немец прочитал, вернул, потянул воздух и покрутил носом:

— Ошень плохой запах, — сказал немец. — Ничефо...

Не заглянув в бак, гитлеровцы перешли в следующий вагон...

Осенью 1942 года фашисты схватили Ваню Будаева. Профессиональные палачи потирали руки: этот невысокий парень с большими синими глазами еще цыпленок. Уж он-то не выдержит пыток, выдаст товарищей.

Но они ошиблись. Он выплевывал зубы с запекшейся кровью, терял сознание от пыток и побоев и молчал.

Истерзанный, сознавая, что расправа близка, Ваня не пал духом.

Кому-то из заключенных принесли передачу — белье было завернуто в лист серой бумаги. Нацелся и огрызок карандаша. Будаев решил выпустить газету.

На листе он нарисовал луну. Ее золотой серпик был единственным вестником из большого мира, раскинувшегося за стенами тюрьмы. В зарешеченное оконце этот серпик каждый вечер видели заключенные.

Эпиграфом к газете стали слова Александра Корнейчука: «Кто победит — ты или я?»

Передовицу Ваня написал мелкими-мелкими буквами. Дорог был каждый клочок бумаги. В словах была страстная убежденность.

«Кто победит: мы — смерть или она — нас? Рано или поздно все умрем, но обидно умирать в гестаповском застенке, не дождавшись нашей победы. А она будет. Нас тут каких-нибудь сто — сто двадцать человек, мы безоружны и беззащитны, но и с нами они не могут справиться. Как же они одолеют наш народ, миллионы таких, как мы?»

Выше голову, товарищи! Мы — сильнее! Они уже пасуют перед нами. Они бьют и мучают нас от бессилия, от того, что не могут нас победить.

Сейчас они применили новую тактику. Кое-кого освободили, чтобы поманить нас свободой, кое-кого оставили пока в покое, дали отдышаться, дали срок на размышление. Это тоже обман. Не поддавайтесь, товарищи! Не покупайте свободу ценой капитуляции, не сдавайтесь! Помните: мы сильнее этих зверей!»

Я смотрю на серый смятый лист тюремной газеты, на едва различимые карандашные буквы, и меня поражает сила духа молодого, измученного пытками, обреченного на гибель Будаева...

В стенгазете помимо передовицы были и карикатуры на тюремщиков, и стихи, и заметка под названием «НАР». Заголовки расшифровывали просто — Надежда Александровна Рудь, заметка была посвящена дню рождения одной из заключенных, которой исполнилось 50 лет.

Эта тюремная газета обошла многие камеры. Ее воздействие на заключенных трудно переоценить. Ее вынесли на волю. Сейчас она — в Киевском историческом музее...

Журналисты по праву могут гордиться своим собратом по перу. Он погиб 22-летним. Когда враги выбили из его рук оружие солдата, он продолжал сражаться оружием слова. И сегодня на вопрос, который Иван Будаев задал в тюрьме: «Кто победит: мы — смерть или она — нас?», можно ответить:

— Он победил смерть!

Михаил Верниковский

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ПОБЕДЕ



Наконец, после долгих поисков, на моем письменном столе выросла целая горка самых различных материалов: его статьи, очерки и рассказы, опубликованные в армейских газетах, фронтовые блокноты, исписанные беглым и трудночитаемым почерком, документы — справки и удостоверения, выданные редакциями и политотделами армий; его книги, вышедшие в свет уже без него.

И вот, в который раз, я перелистываю блокноты и книги, вглядываюсь в документы и фотографии, и мне кажется, что чего-то очень важного, может быть даже самого главного, еще нет у меня и, видимо, поэтому не знаю, как приступить, как написать о нем. От того, что без конца перелистываю и перекладываю материалы, конечно же ничего нового не прибавляется, а вот волнение, грусть все больше одолевают меня, и я опять откладываю перо...

Через час из груды бумаг беру первый попавшийся под руку лист и читаю. Читаю, и мурашки бегут по спине. «Секретно» — напечатано на машинке в правом верхнем углу листа и подчеркнуто. Читаю и перечитываю заголовок: «Выписка из приказа войскам 64-й армии. 19 марта 1943 года. № 169/н. Действующая армия». Далее машинописный текст: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю:

Орденом Красной Звезды

Старшего политрука Лузгина Михаила Васильевича — писателя газеты «За Родину» 64-й армии (убит)».

Два маленьких «п» означают, что «подлинник подписали» командующий войсками 64-й армии генерал-лейтенант М. Шумилов и член Военного Совета этой армии полковник З. Сердюк. Далее слово «верно», круглая печать и подпись начальника общей части политотдела армии.

Долго гляжу на эти машинописные строки и чувствую, как сталкиваются в моем сознании только что прочитанные слова: секретно... Красная Звезда... убит... верно...

Через некоторое время вновь протягиваю руку к этой, не дающей мне покоя, стопе бумаг. На этот раз извлекаю оттуда другой небольшой листок. Опять речь идет о смерти, о том, что его «личные вещи» тогда-то посланы из редакции газеты «За Родину» по такому-то адресу. Прилагается и крохотный перечень этих вещей: часы, блокноты, полевая сумка... И опять печать и подпись...

И опять щемящая горечь, острая обида одолевают меня. Уходил на войну человек, труженик, журналист, писатель, всегда носивший в себе столько мыслей, планов, расточавший вокруг себя столько энергии, даривший людям радость впечатлений, добрые советы и бодрость, а вот теперь все это ушло навсегда. Вещи пережили человека... Какая, в сущности, нелепость...

И я снова откладываю перо. И опять думаю все о том же: трудно писать об этом человеке. И не потому, что голос его прозвучал для тебя в последний раз уже очень давно, а потому, что образ его стоит перед тобой, но с ним нельзя уже поделиться ни горем, ни радостью, ни книгой, ни махоркой; можно лишь носить его в сердце, с грустной благодарностью вспоминая о нем, о его жизни, целиком отданной Родине. Человека ведь нет — лишь образ, одно воспоминание. Пусть хорошее, доброе, светлое, но воспоминание...

Помню Михаила во время формирования нашей армии, а затем — под Сталинградом, где в бесконечные жаркие дни и короткие душные ночи она вела тяжкие бои.

Когда армия наша называлась еще резервной, он ходил в ближайшие части, уезжал на несколько дней в дальние и всегда возвращался с исписанными блокнотами. Он носил солдатскую шинель. Очень широкая, она собиралась в складки, и он то и дело расправлял их. На петлицах было по одной «шпале» — они-то и свидетельствовали, что эту ши-

нель носит не рядовой солдат, а офицер, который в те дни имел звание старшего политрука.

Придя в подразделение, Лузгин направлялся туда, где шел спор или играл баян, звучала песня. Он подходил к группе солдат, прислушивался к беседе, незаметно включался в разговор. А если солдаты пели песню, то и он подпевал. Случалось, брал в руки гитару и пел сам. Пел хорошо, с душой, любил затянуть или поддержать народную песню. Но делал это как-то сдержанно, скромно, даже застенчиво: он никогда и нигде не стремился показать свое «я».

Потом начиналась беседа, непринужденная, многоголосая, и старший политрук расспрашивал воинов, как они учатся, как готовятся к боям, что пишут им жены, матери, братья и сестры. С солдатами он разговаривал как равный с равными. Так же он вел себя со всеми, кто был выше его по званию: обыкновенно, просто, независимо, чуть-чуть сухо-вато даже, но всегда откровенно, правдиво, честно.

Беседуя с воинами, он обязательно интересовался, какие у них мысли о предстоящих битвах с врагом. Сам-то он был уже обстрелян, собственными глазами видел бои и мог рассказать о них солдатам много поучительного.

В первые же часы войны Михаил Васильевич Лузгин, хотя и снятый из-за тяжелой болезни с воинского учета, считал себя мобилизованным на защиту Родины. Он, коммунист, участник гражданской войны, писатель и журналист, владевший острейшим оружием — словом, не мог оставаться сторонним свидетелем всенародной борьбы советских людей против гитлеровских захватчиков. Он должен был стать участником этой борьбы и при первой возможности записался добровольцем в народное ополчение. Там был рядовым бойцом, и не только преодолевал сам, но и помогал товарищам преодолевать трудности ратного дела. Потом он получил назначение в газету 43-й армии «Защитник Отечества». Здесь и появились его первые фронтовые статьи, очерки, рассказы, звавшие воинов на разгром врага. В «боевой характеристике на старшего политрука М. В. Лузгина» отмечалось в ту пору, что он «вместе с частями армии не раз бывал в боях, участвуя в них и как работник газеты, и как рядовой боец».

Эта фраза дает ключ к пониманию сложного характера Лузгина, его своеобразной натуры. Писатель Осип Черный, отлично знавший Лузгина, бывший с ним в народном ополчении, затем в газете «Защитник Отечества», а позднее и в

газете «За Родину», уже после войны написал о своем друге такие очень верные и меткие строки: «Покашливавший, молчаливый, в иные часы угрюмый, Лузгин умел оцетиниваться. Но он же проявлял и редкую чуткость. Бывало, если он обидит кого-либо, он не находит себе места, пока не объяснится с обиженным начистоту. Подозрительный, он был необыкновенно доверчив, и жило в нем что-то почти детски светлое, что легко было замутить, но что требовало полной чистоты. За его суховатостью скрывалась сердечность и неподкупная прямота. Наверно, поэтому с первых же дней его пребывания в редакции все отнеслись к нему так хорошо: Лузгина полюбили и его уважали...»

На Дону и на Волге, уже будучи в газете 64-й армии, Лузгин участвовал в жестоких и тяжелых боях. Впрочем, еще в сорок первом на Западном фронте он узнал горечь отступления.

Он видел сожженную землю, танковые колонны врага, армады вражеских бомбардировщиков, с противным стоном идущих на Сталинград, и не раз попадал в пекло боя — нигде вера в нашу победу не оставляла его. Лузгин становился лишь собраннее и злее, острее ненавидел врага, чаще бывал в гуще фронтовиков, больше писал, покрывая странички своих блокнотов только ему понятными записями. Потом, в минуты затишья, переписывал их, и вскоре на страницах армейской газеты появлялись его горячие строки.

О многом приходилось писать журналисту и писателю Михаилу Лузгину. Но, конечно, главным героем его фронтовых рассказов и очерков был советский человек, любящий Отечество, свою, советскую жизнь, идущий на смертный бой с врагом. Герои Лузгина — это прежде всего наши доблестные воины. Он говорил о них тепло и сердечно и писал не только об их ратных подвигах и количестве истребленных гитлеровцев. Он писал о людях — творцах жизни, борцах за жизнь, их мирных профессиях, устремлениях, привычках, привязанностях и талантах, об их делах на «гражданке».

Вот он рисует идущего по степи с автоматом на груди разведчика Наговицына, и читателю представляется небольшого роста, кряжистый, быстрый в движениях, но мягко шагающий по земле человек, умеющий слиться с нею так, что станет для врага невидимкой. И тут же мы узнаем, что этот искусный разведчик еще совсем недавно работал трактористом, комбайнером, что разведчик — совсем новая для него

профессия, постигнутая благодаря трудолюбию, благодаря чувству долга перед Родиной, с которым всегда жил и трудился этот скромный человек.

Подметить черты, привычки, свойственные тому, о ком он пишет, показать его внутренний мир — вот что всегда занимало автора. Но его внимание привлекали не только черты характера. Он старался понять и оценить особенности боевого мастерства солдат и офицеров, о которых писал.

Когда однажды часть командира Фетисова получила приказ отрезать пути отхода противника, Лузгин радовался, ибо это должно было «привести к окружению и уничтожению значительных вражеских подразделений». В самой задаче, как отмечал Лузгин в своей статье «Зрелость», уже заключалась новизна: «отрезать пути», «окружить», «уничтожить». Не могло быть в мире музыки, которая звучала бы для советского человека радостнее вот таких слов, справедливо утверждалось в статье. Затем он рассказывал, как была выполнена эта задача, и приходил к выводу: «Это — зрелость, это — новое. Это все ускоряющая свой бег лавина, грозная сила наступления, уничтожения коричневой чумы».

Но грозная сила наступления, о которой мечтал Лузгин, развернулась значительно позднее. Ему так и не удалось пережить самому и рассказать читателю о той поистине грозной и могучей лавине, которая смела фашистов с берегов Волги, а затем со всей советской земли.

Понять и показать советского человека, его характер, его неистребимую любовь к жизни, свободе, его мастерство в бою, его подвиг, показать истоки этого подвига, неослабную и все возрастающую в своем накале борьбу советских людей за Родину — вот что было, пожалуй, главное во фронтовой газетной работе Михаила Лузгина. Ведь он не был новичком в этом деле!

Еще в 1918 году, едва окончив гимназию, Лузгин, восемнадцатилетний юноша, поступил на работу в «Известия Витебского губсовета». Он был здесь и корректором, и репортером. Здесь же вступил в группу сочувствующих РКП(б), а вскоре отправился на Восточный фронт, где, сражаясь в рядах 5-й армии, стал членом партии. Красноармеец, организатор ротных партизеек, редактор дивизионной газеты «Красноармейская правда», редактор журнала политотдела 5-й армии «Армейский работник», Лузгин после гражданской войны работал в Смоленске, в Москве в органах печати Красной Армии.

Демобилизовавшись в 1926 году, Михаил Васильевич целиком посвятил себя литературной деятельности.

В 1923 году в журнале «Прожектор» был опубликован его рассказ «Атава». В последующие годы вышли из печати сборники его рассказов и повестей «Будни товарища Елизарова», «Расщелина», «Рассказы о простом», «В лесах», «Грамофон», «Вор», «Голуби» и другие. Ему посчастливилось под руководством А. Серафимовича работать в редакциях журналов «Октябрь» и «Пролетарская литература», а под руководством М. Горького — трудиться над книгой о Болшевской коммуне.

Лузгин писал рассказы, повести, статьи, он шел на завод, фабрику, чтобы встретиться с читателями, послушать их слово о своем творчестве. Его интересовали жизнь и труд рабочих и работниц, их отношение к текущим событиям, и он вел кружок на фабрике «Красный Октябрь», был агитатором во время выборов в Верховный Совет СССР. Член правления РАПП, уполномоченный по колхозным делам,— и здесь он целиком отдавался общественной деятельности, видя в этом существо своей жизни.

Творчество Михаила Лузгина периода Отечественной войны довольно своеобразно. Его рассказы полны внутренней силы, в них нет громкой фразы, декларативных заявлений о ненависти к врагу и любви к Родине, нет надуманных ситуаций и героев. В одном из писем к жене Михаил Васильевич отмечал, что выдумывать героев теперь, в дни войны,— кощунство. Герои окружают писателя, стоит лишь прийти в подразделение, действующее на переднем крае. Офицеры и солдаты всегда могли многое поведать о своих боевых друзьях.

Встретиться с героем, когда он вел бой, было нелегко, но наступала пауза, стихала артиллерийская дуэль или пулеметная перестрелка, и тогда можно было подползти к огневой позиции, своими глазами увидеть того, кто тут сражался, побыть с ним рядом и узнать о нем немало. Лузгин умел видеть людей, понимать их душу, схватывать черточки, только им присущие, потом обо всем написать в коротком газетном рассказе или очерке.

Герои его произведений — это те, кого он видел и узнал сам. Он не выдумывал их, а изображал такими, какими они были в жизни, в бою. Его герои так страстно любят родную землю, лес, цветы, как и сам он любил природу. Они умеют

и любят трудиться, скромны, немногословны, стойки перед опасностью, не склоняют головы перед врагом, а бьют его до последнего вздоха, до последней возможности. Такими, нестигаемыми перед врагом, перед трудностями боя, бесконечно верными своему долгу, мы видим героев Лузгина в рассказах «Связь», «В лесу» и других.

Михаил Васильевич признавал, что в условиях переднего края журналистская спешка неизбежна, даже оправданна, ибо о героях боев нужно писать не откладывая, чтобы их подвиг стал известен всем боевым друзьям, всей армии. Но ко многим своим очеркам и рассказам он намеревался вернуться после войны, «отшлифовать» их, расширить, обогатить новыми подробностями.

До войны Лузгин работал над своими произведениями лишь глубокой ночью, когда засыпал весь дом и совсем затихала шумная улица 25-го Октября. А на войне ему пришлось писать в самой различной, порою неожиданной, обстановке — под аккомпанемент артиллерийской канонады, под грохот бомб, на поваленном дереве или старом пне, но перо его не притупилось, оно стало острее. Он писал горячо и в то же время экономнее. Часть фронтовых рассказов Михаила Васильевича вошла в сборник «Возвращение», который был издан в Москве уже в первой половине 1942 года. Его рассказы печатались в журналах «Красноармеец», «Крокодил», часто передавались по радио. Но многие его фронтовые рассказы, опубликованные в армейских газетах, к сожалению, так и остались в подшивках...

Лузгин выступал в газете не только с рассказами, очерками, статьями и корреспонденциями. Он писал памфлеты, сочинял острые эпиграммы, которые подписывал так: Михаил Кузьмич Прутков. Наш редакционный художник Наум Лисогорский мастерски рисовал карикатуры, а Лузгин придумывал текстовки — меткие и злые.

Работая над рассказом, очерком или корреспонденцией, Лузгин нередко задумывался и о завтрашнем дне своих героев, и о своих творческих делах после войны.

С непередаваемым чувством горечи и гнева он прочитал как-то в «Правде» подвал О. Курганова «Мать». Речь там шла о зверствах гитлеровцев над Александрой Дрейман, отважной партизанкой, которая была замучена фашистами. Так на газетной полосе встретился Лузгин со своей довоенной героиней — председателем одного из колхозов Уваровского района Московской области: о сметливой и озорной

Шуре Дрейман он рассказал в повести «Авторитет», где она названа вымышленным именем — Катюк.

«Мне надо было писать о ней и теперь — не пришлось», — с болью сообщал он в одном из писем жене. И в других письмах он вновь и вновь возвращался к образу своей светлой и гордой героини-патриотки: «...Насчет Дрейман у меня совершенно (в основном, конечно) в голове готово произведение с большим прямым использованием целых кусков из старой моей повестухи. И как только кончится война, если буду жив-здоров, совершенно не откладывая, сяду за эту работу, съезжу в Уваровку, доберу материал. Должно получиться — как теперь кажется — хорошо и нужно читателю». И в следующем письме опять о ней: «...А очень хочется написать о ней повесть, даже умирать не хочу, хочу выжить до победы, написать, а тогда уж ладно...»

Иногда он приходил в землянку, в которой шел прием по радио информации ТАСС, приходил не один, а вместе с неизменным другом и спутником, собратом по перу писателем Осипом Черным. Они усаживались на «скамью» — на выступавший срез земли, слушали очередную сводку Совинформбюро.

Когда наступал перерыв, кто-либо из них произносил:

— А нельзя ли немного музыки?

Нить настройки приемника медленно передвигалась по шкале.

— Стоп! — вскрикивал Черный и затем спрашивал Лузгина:

— Кто это и что?

Михаил Васильевич должен был сказать, кто писал это произведение и как оно называется.

Случалось, Лузгин попадал в затруднительное положение и просил Черного ответить самого: ведь он консерватории не кончал, подобно своему другу, и вообще не считал себя знатоком музыки. Впрочем, такие музыкальные викторины ему нравились.

Нить настройки снова перемещалась по шкале, землянка снова наполнялась волшебными звуками, а Осип Черный, к неизменному удивлению Лузгина и других присутствовавших, часто даже по первой музыкальной фразе, вылетавшей из приемника, безошибочно определял композитора: Чайковский, Шуман, Моцарт или Равель.

— Остановитесь, не вертите больше, послушаем — ведь это Бетховен!

И опять лилась музыка, гремела и неистовствовала, ласкала и настойчиво звала.

А через несколько часов, на рассвете, редакционная полуторка увозила журналистов на передний край, туда, где звучала, гремела грозная, не утихавшая ни днем, ни ночью страшная музыка боя, где шла великая Сталинградская битва.

Осип Черный и Михаил Лузгин были неразлучны. Вместе они отправлялись на передний край, вместе возвращались оттуда, хотя писали: всегда порознь. Но однажды взрыв вражеского снаряда разлучил друзей навеки. Михаил Лузгин и заместитель редактора батальонный комиссар Николай Бочаров были убиты, Осип Черный тяжело ранен. Это случилось 28 сентября 1942 года в шестнадцать часов у стен горевшего Сталинграда.

Товарищи по оружию и перу — работники армейской газеты «За Родину» похоронили Лузгина и Бочарова на крутом берегу Волги, у высокого дерева. Старший политрук Лузгин посмертно был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда». В Москве в Центральном доме литераторов на мраморной доске среди имен писателей, отдавших жизнь за Родину, высечено и имя Михаила Лузгина.

...Проходят годы и десятилетия. Время не унесло в Лету творчество писателя и военного журналиста Михаила Васильевича Лузгина. Его произведения и поныне служат воспитанию советских людей, особенно детей и юношества, для которых писал он более всего. Через несколько лет после войны в Деттизе вышла его книжка «Здесьный ветер», а в издательстве «Советский писатель» — сборник «Рассказы». Книги писателя изданы в Польше, Болгарии и других странах. Думается, что тщательная работа над творческим наследием Михаила Лузгина позволила бы дать читателю новую книгу писателя, книгу о войне, за победу в которой он отдал свой талант, весь жар души коммуниста, патриота, отдал свою честную и благородную жизнь.

Зигмунд Хирен
МЕНЕЕ ОПАСНАЯ РАБОТА'



се началось с портрета. Впервые я видел его в Риге, за Двиной, в маленьком домике на тихой улице Бездилигу, что значит Ласточка. В комнате было много картин, они занимали все стены от потолка до пола. Все пропахло маслом, красками, свежим тесом.

Портрет висел напротив окна и был хорошо освещен.

Подмосковный тусклый зимний день, вернее, под вечер. Потемневший от разрывов снарядов и мин снег, оборванные телеграфные провода, печи, оставшиеся от сгоревших домов. Вдали чернеет лес. По разбитой военной дороге шагает невысокого роста девушка в полушубке с большой санитарной сумкой через плечо. Большие светлые глаза, озабоченное лицо.

Сюда, на квартиру, попал я не один, а с Милдой Кандате. Она вызвалась в субботу поехать со мной после работы к родителям Зенты Озолс, сказала, что давно собиралась к ним, и достала из ящика письменного стола сверток с новеньким женским платком:

— Это, знаете, я для матери Зенты все берегу, а вот до сих пор не отвезла. Они ведь не в Риге живут, а в Кегумсе, это за городом Огре, там, где ГЭС. Если не возражаете, давайте сперва заедем к Велте, старшей сестре Зенты.

Там и увидел я этот портрет.

— Это Зента,— сказала Милда,— разве я вам не говорила, что сестра у нее художница?

Нет, об этом я не слышал, знал, что Зента Озолс была на фронте, а о сестре ничего не слышал.

С Милдой Кандате познакомились мы в Институте истории партии при ЦК КП Латвии. В те дни я искал одного латышского комсомольца — потомственного революционера, о котором позднее написал в «Огоньке». Одна из сотрудниц института предложила стенограмму военных лет, добавив, что, возможно, там я найду кое-что для себя. И действительно, из речи корреспондентки дивизионной газеты «Латышский стрелок» комсомолки Зенты Озолс выяснилось, что она знала нужного мне человека и тот даже оказал ей на фронте важную услугу. Там же много говорилось о санинструкторе Милде Кандате. Я спросил, нельзя ли повидаться с Озолс.

— Погибла на войне, — ответили мне.

— А с Кандате? — спросил я.

— С Милдой Кандате? Пожалуйста, она работает у нас. Поднимитесь на второй этаж.

...Позднее, когда мы уже были знакомы и Милда Кандате успела многое рассказать о Зенте, я вспомнил о платке, который та везла матери Зенты. Ведь прошло без малого четверть века, неужели связь с семьей фронтовой подруги до сих пор не прерывается? Я произнес эти слова вслух, и Милда ответила:

— Вы правильно сказали, связь не прерывается. А знаете, ведь знакомству помог дневник. Зента вела на войне дневник, и после ее гибели, когда Ригу освободили от фашистов, товарищи привезли дневник матери. Та прочитала его от корки до корки и сказала, что в нем осталась душа дочери, все движения ее сердца. Там упоминались многие подруги и товарищи Зенты, и мать все эти годы старалась их разыскать и познакомиться с ними, чтобы получить представление о тех, кто окружал на войне дочь. Так мы и познакомились.

— Я вас знаю, — сказала Милде, мать Зенты, — о вас моя дочка много пишет в дневнике.

И тогда Милда впервые увидела общую клетчатую тетрадку, скорее всего, это была школьная тетрадь, потому что в самом начале были какие-то формулы.

Мне сразу же захотелось почитать дневник. К слову сказать, я надеялся в нем найти что-то и о знакомом пареньке.

Некоторое время мы с Милдой постояли у портрета.

— Знаете, — вздохнула Милда, — конечно, художника ни в чем не упрекнешь, он стремился передать решительность девушки, сосредоточенность, но, по-честному говоря, Зента

даже в самые тяжелые моменты оставалась озорной, веселой девочкой и не любила на себя напускать такую вот серьезность. У меня до сих пор в ушах звенит ее веселый, восторженный голосок: «Знаете, девочки, куда мы прибыли? Мы в Наро-Фоминске! Будем защищать Москву».

Я уже знал со слов Милды, сколько препятствий преодолела Зента, стремясь попасть на фронт. Ведь еще в Риге, на третий день войны, она записалась добровольцем. Ее фотографию тогда же опубликовали в газете «Циня». Но в военкомате в последнюю минуту сказали: «Поедут на фронт только парни, девушек не возьмем». Потом ее усадили в эшелон, и она чуть ли не месяц странствовала. Все думали, что едут на фронт, а привезли в чувашскую деревушку. Там она не успокоилась. Несколько раз добиралась до воинской части, добиваясь зачисления в армию. Бывали дни, когда проходила она по пятьдесят километров. Шла в грозу, в ливень — и всюду отказывали. И вот однажды после такого похода остановилась она возле часового, умоляя пропустить ее, но тот не пустил. Тут-то и появились двое латышских солдат, подходят, спрашивают, чего она плачет. Рассказала. И тогда один из них, это и был мой знакомый комсомолец, шепнул, чтоб спряталась в лесу и подождала его. Вскоре он вернулся с шинелью и пилоткой. Накинул на Зенту шинель, нахлобучил ей на голову пилотку и, ласково похлопав, сказал: «Беги!» Не то часовой был предупрежден этими ребятами, не то в самом деле принял за фронтовичку, но Зента прошмыгнула на территорию полка. На сей раз ей повезло. Так началась ее боевая жизнь. Там и познакомилась с ней Милда.

* * *

К родителям Зенты, в Кегумс, мы приехали вечером. Мать, Берта Карловна, увидев фронтовую подругу дочери, обрадовалась. Отец, Юлий Карлович, старый человек, ему за 75, стал торопливо рассказывать о том, как сельские школьники помогают им на зиму заготавливать дрова, ухаживать за огородом, а то просто забегают справиться о здоровье, да и 5-я средняя рижская школа, где училась Зента, помнит о стариках. Он стал доставать из ящика письма, бережно разглаживая каждое, и предложил нам прочитать:

— Это все пишут наши теперешние дети, их у нас сотни.

Мать с укоризной посмотрела на старика и куда-то вышла. Вскоре она вернулась с небольшой стопкой мелко испи-

санных листочков. Это были письма, которые Зента писала на фронте своему однокласснику, воевавшему где-то неподалеку от нее.

На телевизоре, на письменном столе, на диване — куклы, детские игрушки. На этажерке — ученические тетради.

— Это все принадлежало Зенте, — успела мне шепнуть Милда. — Между прочим, и дом этот Зента строила, вернее, принимала участие; это было перед самой войной. Родители ее жалели, говорили, чтобы она шла гулять, а Зента кричала: «Смотрите, какие у меня руки большие, а мне не дают строить».

Это все на войне рассказывала она Милде, вспоминая родных, друзей.

Рассказала, как стала ходить в первый класс вместе со старшей сестрой. Зенте тогда и четырех лет не исполнилось, она пряталась под партой, а вернувшись домой, готовила уроки наравне с Велтой. В конце концов, нарушая правила, ее зачислили в школу. В пять лет написала стихотворение и хотела отнести в редакцию.

Кто мог тогда подумать, что журналистика — ее призвание и что впервые переступит она порог редакции в разгар Отечественной войны и первой ее должностью будет — военный корреспондент.

Милда читала ее письма по-латышски и переводила фразу за фразой.

«Я вошла в дом, но там не было ни папы, ни мамы, ни Велты. Сразу же поступила учиться на тракториста. Вскоре к нам стали приезжать латышские бойцы, все они уже успели побывать на фронте, и говорили, что там происходит. Их называли командами выздоравливающих. Они возвращались из госпиталей в свои полки. Я подумала: как бы хорошо и мне вместе с ними поехать на фронт! Так начались мои мытарства. Никак не хотели пускать, все будто сговорились, повторяли одно и то же — слишком маленькая. И все-таки я своего добилась. С тех пор хожу в ватных красноармейских штанах и гимнастерке. Тебе, наверное, было бы смешно увидеть меня в таком наряде, а я привыкла и не могу представить себя в платье и блузке. Дивизия — мой дом, но иногда, когда выберется свободная минутка, сяду на снег, вспоминаю школу, наших девчонок, вот бы, думаю, они удивились...»

«4-го декабря наша дивизия совершила большой переход. Сотни километров прошагали мы в эти дни. Конечно, и меня

никто не возил на автомобиле, шла своими ногами, веселая, довольная, потому что знала: теперь я такой же красноармеец, как и все. Сама не пойму, как начала работу, но здесь моментально привыкаешь ко всему. Вокруг царит смерть, а мое дело — оказывать помощь раненым...

Тут Милда прервала чтение письма и вспомнила, как обычно Зента получала в аптеке медикаменты, бинты, индивидуальные пакеты. Начальник аптеки Кушак уже знал, что как только появится Зента, надо бросать все дела, она не терпела медлительности. Бывало, врач скажет ей: «Зента, посиди, отдохни, бинты никуда не убегут от тебя». Она и слышать не хотела, сожмет руку в кулак: «Да, это верно, — ответит, — мне больше ничего не остается делать, как сидеть тут у вас и ждать; конечно же, раненым тоже ничего другого не остается, как ждать там, на поле боя, меня... Но вот беда — немцы почему-то ждать не хотят...» — «Да успокойся же, — говорил ей военврач, — у нас в аптеке все имеется, ничего для тебя не пожалею, полную сумку набьем...» — «Да, у вас все в аптеке имеется, — передразнивала она, — лишь один «медикамент» в дефиците: расторопность!»

Однажды позвонили военврачу Гаринколю и сказали: «Отдайте Зенту». — «Что-что?» — не понял он. Ему повторили: «Зента назначена военным корреспондентом редакции дивизионной газеты «Латышский стрелок»».

Позднее врач сознался: хотелось кричать, спорить, протестовать... Как же такого санинструктора отпустить? Но мелькнула и другая мысль. Зента ведь очень молоденькая, лезет в огонь, уже несколько раз находили осколки в ее ушанке, весь ватник изодран осколками, просто чудом девушка уцелела, а так ведь не вечно будет. В редакции все-таки менее опасная работа. А то ведь случай был, Зента кинулась раненых спасать, а в окопе еще немцы...

Взвесив все, врач отрапортовал, что приказ о Зенте будет исполнен, ее откомандируют в газету «Латышский стрелок».

«...Есть еще новость, — продолжала переводить Милда. — Из санинструкторов меня перевели в корреспонденты. Ты слышал когда-нибудь такое слово? Ты знаешь, в чем заключается эта работа? Скажу тебе прямо: дело очень и очень интересное. Надо ходить по ротам и знакомить всех с тем, что произошло. Я-то знаю многое. Через мои руки прошло столько раненых, а каждый что-нибудь да и сообщит. Вот я и рассказываю о положении на фронте, а попутно собираю мате-

риал для газеты. Это еще интересней: спрашиваешь, а тебе отвечают, и ты все записываешь.

Сейчас сильный ветер и метель. Сегодня я прошла пешком немного, километров двадцать пять, не больше. Теперь я уже вернулась в редакцию, сидим вместе с редактором возле печурки и составляем макет газеты...

Зента работала военным корреспондентом, но не расставалась с санитарной сумкой. Просто к индивидуальным пакетам, бинтам, вате, йоду, резиновому жгуту прибавились записная книжка и карандаш.

Да, многогранной была журналистская работа на войне. Зента собирала материал для газеты, но готова была в любую минуту сделать перевязку, вынести с поля боя раненого.

...Судя по письмам, Зента, несмотря на свой небольшой корреспондентский стаж, понимала свои обязанности на фронте не хуже бывалых военных журналистов. Мы всегда считали, что корреспондент должен не только собирать материал, не только писать, а и рассказывать солдатам, с которыми встречается, известные ему новости. Уж коли пробрался на передний край, поделись с бойцами всем, что может согреть их душу. Так действовала и Зента.

Забегая немного вперед, скажу: позднее разыскал я и комплект дивизионной газеты, и сотрудников редакции, и подолгу, склонившись над пожелтевшими страницами газеты «Латышский стрелок», товарищи переводили для меня абзац за абзацем. Печаталась Зента часто.

И хоть хвалила она в письме школьному товарищу корреспондентскую работу, а на самом деле долго сопротивлялась, не хотела переходить в редакцию, считая это «предательством» по отношению к своим стрелкам и минометчикам. Ее точка зрения ничем не отличалась от точки зрения врача. Ей тоже казалось, что работа в редакции менее опасна, а она всегда стремилась туда, где горячее всего. После долгих препирательств дала согласие лишь при условии, что санитарная сумка останется при ней. Просто прибавилась еще одна обязанность и, увы, нелегкая — каждый день шагала из полка в редакцию с материалом для газеты.

В дивизионной редакции трудилось тогда немало известных латышских писателей, но солдатскую жизнь Зента знала лучше многих. Она каждый день, что называется, своими ногами проверяла обстановку на фронте.

Ведь ей обо всем этом придется писать. Сперва писатели относились к Зенте чуть-чуть иронически, а потом поняли,

что заблуждаются, стали с ней советоваться, помогали ей и охотно пользовались ее помощью. Надо же, совсем крохотная девчушка, ребенок, а прослыла первым «стратегом» редакции. И это без шуток.

Я переписал заголовки некоторых заметок Зенты, опубликованных в «Латышском стрелке», заметил даты их опубликования: октябрь, ноябрь, декабрь 1942 года. Месяцы, нелегкие на фронте, это каждый военный человек подтвердит. Нет, это были не совсем обычные заметки. Зента, к слову сказать, писала о том, что меньше всего в глаза бросалось. Вот один такой рассказ, в нем речь идет о казаке, попавшем в латышскую дивизию. Было ему вдвойне трудно. Не знал он ни по-русски, ни по-латышски. А представьте, стрелкам латышским пришлось он сильно по душе. Да и они ему понравились. Дрался казах храбро, а когда тяжело ранили, ушел в госпиталь с большой неохотой. Когда же поправился, добился, чтоб вновь послали к однополчанам — к латышам. Написала Зента и о татарских песнях, которые распевал в землянке другой ее герой, Буйзаиров. Днем, писала она, строгий требовательный командир, а наступит вечер, и Буйзаиров, присев на краешек нар, тихо напевает свои татарские песни. Латыши слушают незатейливый мотив и думают о своем...

...Милда продолжает переводить. Давно за окном пошлело. Тусклый свет настольной лампочки освещает листок школьной тетрадки, густо исписанный фиолетовым карандашом. Напротив Милды крупное печальное лицо матери Зенты. Рядом — нервное, со впалыми щеками лицо отца. Со стены на нас глядит Зента. Это один из вариантов портрета. Зента продолжает шагать и шагать по фронтовой дороге. Вспоминаю о снимке в газете «Циня», опубликованном на третий день войны. Вот когда она «записалась» на фронт. Позднее встретил я того самого корреспондента, который о ней написал в те дни и сфотографировал ее. И должно же произойти такое совпадение! Встретился он с Зентой уже на войне, причем поменялись ролями. На фронте этот журналист стал комсоргом, а Зента в то время уже была корреспондентом дивизионки и пришла его интервьюировать.

— Мир тесен, — рассмеялась она при этой встрече.

Я не спрашиваю о дневнике. Конечно же втайне надеюсь, что вот-вот он появится в руках Милды. Слышу, как Милда о чем-то шепчется с Бертой Карловной, и та опять уходит в соседнюю комнату, и вот дневник лежит на столе. Со стены

пристально глядит на нас автор этих записок, и я почему-то вспоминаю давным-давно прочитанные у Брюсова слова, что значение писателя определяется количеством его произведений, оставшихся в рукописи. Я слушаю. Зента все время писала с натуры. Спасала раненых, переносила их в безопасное место, брала интервью у героев, сдавала материал в газету и тут же спешила занести в тетрадь, что ее удивило, что потрясло. А удивляло многое. Понимаю, Зента не писатель, не поэт, а всего лишь юная школьница, оказавшаяся по собственному настоянию на войне. Но чем больше я слушаю перевод этих строк, оставшихся в рукописи, тем больше убеждаюсь, что был в этой девушке скрыт и талант литератора. Иногда кажется, что она торопилась передать все свои чувства, опасалась, что не придется увидеть тех близких ей людей, кому бы хотелось рассказать обо всем пережитом.

Милда читает и читает. Для нее это не просто чтение, не просто перевод, ведь там описывается и ее жизнь, причем самая значительная часть, самая важная.

«...Днем наших минометчиков перебросили поближе к переднему краю. Я пошла вместе с ними. Не могла спокойно усидеть в землянке. Впереди глубокий овраг, пробираемся через кустарник, и вдруг вижу Милдыню, обрадовалась, да и она тоже. Гусаров со своими бойцами расположился рядом с заминированным полем. Это на случай, если немцы станут наступать с правого фланга. До начала атаки остались минуты. Уже слышна артподготовка. Я, Милда и Шура, хорошая девочка, сидим в овраге и показываем друг другу домашние фотокарточки. Смотрю на мамочку. Так, милая, хотелось бы увидеть тебя... Все давно подготовлено. Теперь все ждут условного знака для начала атаки. Вот в вечерней тьме среди зарниц вспыхнула белая ракета. Время около семи часов вечера. Еще одна ракета — это значит: «готовиться». Необычная напряженность господствует во всей долине. Вот и третья ракета. Она еще не успела погаснуть в синем нашем небе, а по оврагу уже раздалось «ура». Красноармейцы поднимаются из окопов, несутся вперед. Им надо пробежать голое поле, которое немцы сильно простреливают. Край оврага начинает осыпаться от взрывов. Девочки и я быстро прячем домашние свои фотокарточки и бежим подбирать первых раненых. Сильный огонь бежать не дает, надо ползти по-пластунски. Неудобно, и все-таки продолжаем пробираться к раненым. Вот один из них, хочу ему помочь, и он понимает, как это тяжело сделать, его надо пере-

вернуть, а сильная боль не позволяет, и к тому же он очень тяжелый. Раненый поглядывает на меня и старается сам приподняться, но в это время над головой начинают свистеть пули, и я прижимаю его рукой к земле, а сама ложусь рядом, потом чуть привсталла, но работать неудобно.

...Из траншеи, соединяющей овраг с дзотом, наши парни вытаскивают вполне здорового немца. Он весь в грязи. Я подбежала и смотрю на него, а он смотрит на меня. Наверное, думает: «Девочка на фронте». И что же, что девочка, думаю я.

...Присела немного вздремнуть. Холодно. Усталость одолевала, и к утру заснула, прижавшись щекой к песчаной стенке окопа. Проснувшись от сильного шума. Открыла глаза, вижу: противоположный берег реки весь в огне. Один взрыв следует за другим. Все кругом кипит, как в ведьмино котле. Гусаров все это наблюдает в перископ. Прибегает Милдыня. «В чем дело?» — спрашиваю у нее. Нас выбили, некогда расспрашивать, надо занимать оборону, долины не отдадим. Но тут новая беда, надо вести все время огонь, а в автоматы набился песок, и они не стреляют. «Держитесь, мальчишки!» — кричим мы, три девочки, и отправляемся подбирать винтовки убитых. Собрали, принесли, а заодно нашли мешки, затоптанные в грязь: в них оказались патроны и хлеб. У нас не осталось командиров, командование взял на себя старшина 6-й роты, и я радуюсь его энергии. Пока наши парни стреляют из винтовок, мы, девушки, чистим автоматы. Рядом с нами раненые, их некуда эвакуировать. Немцы ведут сильный огонь. Раненые, несмотря на боль, стараются нам помочь. Пока мы возимся с автоматами, они держат в руках уже вычищенные нами диски.

...Меня приняли кандидатом в члены партии. Получила кандидатскую карточку, но мне и комсомольский билет достался, ведь я его впервые увидела в школе, в Риге, на Агенсакалне, мне разрешили билет оставить у себя.

* * *

Так было до 9 декабря 1942 года. Возвращаясь в редакцию, Зента упала, пораженная осколком мины. Перебило сонную артерию. Смерть наступила мгновенно. В газете рядом с последней корреспонденцией Зенты был напечатан некролог о ней. Добрый военный доктор, который предполагал, что в редакции Зенту ждет тихая беззаботная жизнь, менее опасная работа, горько ошибся.

В той же газете я увидел под рубрикой «Счет Зенты» фамилии латышских снайперов, а рядом цифры. Бывшие сотрудники редакции мне сказали, что это снайперы, а среди них были и такие, которых Зента спасла после ранений, а позднее, став корреспонденткой, писала о них в газете. Так воины решили ответить на смерть Зенты.

Потом Милда прочитала письмо, написанное соратниками Зенты по редакции. Они писали тому самому школьному ее товарищу, которому еще недавно писала Зента...

«Зенты нет. Она погибла, выполняя свои обязанности военного корреспондента, 9 декабря 1942 года. Наша Зента — так ее называют седые офицеры и молоденькие новобранцы. И это, имейте в виду, большая честь. 10 декабря пришел приказ о награждении ее орденом Красной Звезды, но ее уже не было в живых. А за неделю до этого, 2 декабря, мы праздновали ее день рождения, посвятили ей стихи. Вот они: «Сегодня кони везут по земле большие бури. В небе много звезд. Придет час, утихнут бури и в воздухе птицы запоют. Мы пойдем в зеленые сады ломать сирень, люди будут свободно переплывать океаны. Зента, сегодня твой день, дай волю мечтам. Дважды молодым не бывать. Давай вместе немного повеселимся...»

После этого дня она прожила всего одну неделю. Мы перенесли ее тело с передовой на возвышенность, где шумят седые русские сосны, такие же стройные и красивые, как в Латвии.

Вражеский огонь не сровняет ее могилы. Мы, ее товарищи, хотим, чтобы о Зенте всегда помнили, чтобы она жила в наших воспоминаниях. Мы приложим все усилия, чтобы все так и было. И просим это сделать всех, кто ее знал. Самоотверженным борцом была наша маленькая Зента».

Когда же кончилась война, фронтовики пришли в школу и рассказали, как ученица вела себя на войне. Тогда же возникла мысль о присвоении школе имени Зенты Озолс.

* *
*

И вот стою перед высоким кирпичным зданием школы. Знаю, что по ступенькам этим в последний раз сбежала после выпускного вечера девушка, о которой так много услышал я за эти дни, и по этим же ступенькам весной 1945 года поднимались солдаты и офицеры, ее однополчане.

Изо дня в день встречался я с подругами и товарищами

Зенты. Ее бывшая классная руководительница Марта Яновна Зейде сказала мне:

— Зенте нравилась жизнь. Да, да, так и запишите, ей всегда нравилась жизнь, вот это — главное, что надо о ней сказать. И потом: за что бы ни бралась она, отдавала весь жар своей молодости. Я не могу представить ее себе равнодушной, неподвижной, всегда она куда-то стремилась, спешила, всегда была окружена подругами и товарищами. Она была у нас первым математиком.

* *
*

К сожалению, лишь с Велтой, написавшей портрет сестры, встреча была короткой. Она в это время тяжело болела, лежала в больнице, и мы обменялись лишь несколькими фразами. Она сообщила, что сразу же после выпускного вечера они с Зентой собрались домой в Кегумс, но в последнюю минуту Зента сказала, что останется на несколько дней в Риге. «Пришли на вокзал перед самым отходом поезда. Зента крикнула: «Скажи маме, скоро буду дома!» А там началась война. До 8 марта 1943 года мы ничего не знали о судьбе нашей девочки. В городе были фашисты. И вот однажды с риском для жизни тетя Анна, сестра нашей матери, услышала по радио передачу на латышском языке из Москвы, и там сказали, что погибла отважная дочь латышского народа Зента Озолс. Тетя была не в силах сообщить об этом матери и сказала, что это должна сделать я. Я отправилась в Кегумс... А мать встречает меня в очень хорошем настроении, говорит, что видела сон и Зента была веселая, все время гладила ее по щеке, повторяя: «Не волнуйся, мамочка, мне очень хорошо».

Услышав это, Велта убежала.

— Вы спрашиваете, как писался портрет? — произнесла тихо Велта, маленькая худенькая женщина в больничном халате. — Мне помогли ее фронтовые товарищи — военные корреспонденты и герои ее очерков, врачи и санитары, все они пришли к нам после войны домой и рассказали о сестре. И когда я писала портрет сестры, то вспоминала эти рассказы...»

1967 г.

Константин Бельхин
ВОЕННЫМ ЖУРНАЛИСТАМ



о тропам лесным,
по глыбам скалистым
Идем по фронту
во все концы

Мы,
военные журналисты,
Обыкновенные бойцы.
Привычен огонь
и мороз привычен,
В грохоте — пишем,
спим — в снегу.

А если атака —
штык привинчен,
Граната выхвачена
на бегу.

Рвемся,
бурю чувств побеждая,
К ясному слову
вновь и вновь.
Жгучую ненависть
словом рожаем,

Словом рожаем
большую любовь.

Когда из пепла,
руин, пожарищ

Опять города
взметнутся ввысь,

Не раз услышим:
«А помнишь, товарищ,
На Севере
вместе с тобою дрались?»
И мы пойдем,
ощутим вдвойне
В голосе времени,
в голосе дружбы,
Что нам
в Отечественной войне
Острейшее было дано
оружье.

На Севере

И мы пойдём,

В голосе времени,

Что нам

Острейшее было дано

оружье.

✱ ✱ ✱

Автор этого стихотворения погиб в августе 1943 года на Орловской земле.



Он мертв. Его никто не
знает.

Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил идти.

Константин Симонов
«Слава»

**Василий Скоробогатов,
Асгадулла Хамидуллин**

СЫН КОММУНЫ

Забыв о смерти, в жизнь поверьте,
Любите Родину свою!
За верность Родине — бессмертье —
Награда храброму в бою.

Фатых Карим,
татарский поэт, павший на войне



Втро 22 июня 1941 года Нияз Абдрашитов встретил в типографии. Газета печаталась поздно, уже после пяти. Нияз Усманович, заведующий отделом партийной жизни петрспавловской областной газеты «Ленинское знамя», выполнял обязанности «свежего глаза».

Номер нравился ему, но все же казалось, что для воскресенья его можно бы сделать и повеселее... С первой полосы смотрел в сторону большой в полупрофиль портрет И. В. Сталина, ниже стояла передовица «К новым успехам в промышленности», а четыре колонки справа занимало с переносом на другую страницу постановление пленума обкома партии об итогах весеннего сева и задачах подготовки к уборке урожая. Со второй и третьей страниц тоже веяло озабоченностью хозяйственными делами. Нияз прочел всю газету, не оставив без внимания и объявления: в кинотеатрах города шли фильмы «Фронтовые подруги» и «Линия Маннергейма»...

«Надо сегодня вечером сходить посмотреть эту «Линию», — подумал Абдрашитов, выйдя на улицу.

Радуюсь утренней свежести, он постоял у зеленых ворот типографии. Мимо него шумной гурьбой прошли вчерашние школьники — видно, только что закончился выпускной вечер. Нияз не спеша зашагал домой. Сворачивая на свою улицу, остановился у старинной водонапорной башни. Кирпичная кладка до сих пор хранила следы гражданской войны: на высоте второго этажа зияли две пробоины. Колчак-ковцы, стреляя из пушек по башне, видимо, рассчитывали

оставить Петропавловск без воды. Эти следы войны навели на мысль о тревожной обстановке в мире. Абдрашитов был твердо уверен, что назревают кровопролитные битвы, но он не знал, что грозную, невероятную весть он услышит именно сегодня. Придя домой, он лег отдыхать...

— Нияз, проснись!.. Война! Проснись, Нияз!

Над ним стояла жена и рукой указывала на гремящий черный репродуктор...

В редакции первым встретился Абдрашитову встревоженный заместитель редактора Андрей Петрович Кияница. Давние товарищи, они понимали друг друга с полуслова. Когда-то Кияница был редактором комсомольской газеты, а Нияз заведовал отделом в обкоме комсомола. С тех пор и сдружились. И вот уже пятый год они вместе работали в областной партийной газете. Во время событий на Хасане друзья обратились в военкомат с просьбой направить их на Дальний Восток. «Пока нет в этом необходимости», — ответили им.

Андрей молча и пристально смотрел голубовато-серыми глазами на Нияза. Абдрашитов понял этот долгий взгляд.

— Ну, что будем делать, Андрей? — спросил он.

— В руках у нас пока не винтовка и не пулемет, а перо, — тихо ответил Кияница. — И надо действовать им. И конечно же будем стучаться в военкомат. Только ведь у тебя больной позвоночник...

— Я давно уже забыл о нем, — отмахнулся Нияз.

Да, болезнь была его давней бедой. Мальчишкой, показывая свою удаль перед сверстниками, он спрыгнул с сугроб с крыши двухэтажного дома, единственного в его родной станции Имантавской. Живой и подвижный, любитель различных выдумок и игр, Нияз и раньше совершал такие рискованные полеты в снег. Но последний кончился печально: мальчик повредил позвоночник и долго лежал в больнице. Врачи предупреждали: надо беречься и беречься, иначе не миновать туберкулеза позвоночника. Поэтому Нияза не взяли и на действительную службу в Красную Армию, доставив ему немало огорчений.

— Давно здоров, — повторил Абдрашитов. — Ты же знаешь, Андрей, что я не жалуясь. Бываю в командировках, ночью порой где попало, могу не спать подряд несколько суток — и не чувствую от того себя хуже. Да и с военного учета не снят... Значит, могу еще!

Нияз говорил правду: не любил он засиживаться в редакционном кабинете. Взмолвленный и взбудораженный, возвращался из поездок и, сдав в секретариат статьи, корреспонденции и заметки, вновь исчезал на несколько дней. Он не считал редакцию лишь местом «службы». В газету он всегда нес только то, что было связано с борьбой за новую жизнь, с решением самых важных и животрепещущих задач.

Газетные строки Абдрашитова отличались ясностью мысли, краткостью, страстной целеустремленностью, хорошим знанием жизни.

— Когда Абдрашитов пришел из комсомола в газету, — рассказывает А. П. Кияница, ныне заведующий кафедрой журналистики Алма-Атинской Высшей партийной школы, — мы не думали, что он так быстро освоит журналистскую профессию. Вскоре Нияз стал всеобщим любимцем в семье газетчиков. Кроме поразительного трудолюбия, он обладал большой энергией, незаурядными способностями, умением оригинально, глубоко подойти к теме.

Силу печати Нияз познал еще в детстве, прочитав в одной из московских газет статью о коммуне, которую организовал в станице Имантавской (ныне Кокчетавской области) его отец Усман Умарович. Статья открыла новую страницу в истории коммуны. После ее появления коммунары получили первый во всей округе трактор. Пригнал «фордзон» в станицу комсомолец Сережа Щелкунов. Нияз, как, впрочем, и другие юные жители станицы, стал посылать в газеты свои первые заметки. Его двоюродный брат Идрис Зайтов превзошел всех: даже стихи напечатал в детском журнале «Кечкенз иптешлэр» («Юные товарищи»), который выходил в Москве. Сначала Нияз получал из редакций лишь ответы с наставлениями, как писать. Но даже это радовало: казалось, что отныне он связан с чем-то очень важным и серьезным. И продолжал писать о буднях деревенской жизни.

А жизнь в коммуне была бурной, интересной. Возникла коммуна в 1921 году и была названа «Прогресс». Впоследствии она выросла в большой колхоз. Отец Нияза, участник первой русской революции, член партии с 1920 года, У. У. Абдрашитов, и по сей день хранит некоторые документы, касающиеся организации первой коммуны в Северном Казахстане, в частности ее имущественный список. В нем числятся три рабочие лошади, десять быков, пятнадцать дойных коров, две свиноматки, два двухлемешных и три однолемеш-

ных плуга, одна сеялка, семь лопат, семь топоров, четверо вил...

Только одним — энтузиазмом — были тогда богаты бедняки станицы Имантавской. Коллективно пахали землю, коллективно убирали урожай. Коммунисты — а их было шесть — позаботились об открытии школы. Вскоре в ней появилась детская коммунистическая организация, членство в которой подтверждалось изготовленными самими школьниками удостоверениями. Чуть позже в конфискованном помещении деревенского лавочника оборудовали клуб. В дни революционных праздников молодежь ставила здесь спектакли. А затем наиболее способных подростков стали снаряжать на учебу. Имея немного денег, выданных коммундой, с запасом сухарей в мешке за плечами, они отправлялись в Кокчетав, Петропавловск, Казань и даже в Москву. Пройдя курс рабфака, многие поступали в институты, становились впоследствии крупными специалистами. Имантавцы и сейчас гордятся тем, что Галим Абдрашитов, например, стал авиатором, доктором технических наук, Жамали Губайдуллин — полковником Советской Армии, Рахман Яхин — видным историком, заведующим кафедрой Казанского университета.

Гордились они и неожиданным взлетом простоватого и, на строгий крестьянский взгляд, чересчур веселого Нияза Абдрашитова. Окончив в Петропавловске совпартшколу, он вернулся в родную станицу секретарем комсомольской ячейки. А через год его избрали секретарем Арык-Балыкского райкома комсомола. Время было сложное — начиналась коллективизация. Комсомол принимал самое активное участие в колхозном строительстве и ликвидации кулачества. Район был обширным, но Нияз успевал побывать всюду. Его энергии, организаторским способностям поражались даже ближайшие друзья. Совместно со вторым секретарем райкома комсомола Ваней Колывановым Абдрашитов затевал интереснейшие дела, которые захватывали молодежь всех сел и аулов. Один из членов бюро райкома спросил Нияза:

— Удивляюсь твоей способности выдумывать новое. Откуда это у тебя?

— Читаю «Комсомольскую правду», — ответил он. — Там все есть. Много можно почерпнуть и из других газет. Надо уметь читать их.

В 1931 году в жизни Н. Абдрашитова произошли два знаменательных события: его приняли в члены Коммунистической партии и избрали делегатом на IX съезд ВЛКСМ.



«В руках у нас пока перо...» Так с чего же начать? Война с гитлеровцами, как думал Нияз, продлится самое большее полгода — год. И ему казалось, что надо спешить, чтобы быть максимально полезным Родине. На редакционной летучке решили дать в газете слово участникам боев на Хасане и Халхин-Голе и недавней финской кампании. Абдрашитов ухватился за эту мысль, разыскал вчерашних красноармейцев и командиров Красной Армии, награжденных орденами и медалями. 24 июня они уже вели со страниц «Ленинского знамени» разговор с читателями, призывая их отдать все силы борьбе против захватчиков, покончить с настроениями мирного времени.

Фронтовые известия были тяжелыми. Бои развертывались не так, как ожидали многие. Наши войска отступали, оставляя город за городом. Газета должна была ежедневно говорить народу правду — требовались организованность, железная выдержка, мужество... Рядом с первыми фронтовыми корреспонденциями Петра Лидова и Владимира Ставского на страницах «Ленинского знамени» печатались теперь статьи и корреспонденции с фабрик и заводов, с колхозных и совхозных полей, о героях тыла, письма и заметки тех, кто сменил плуг на винтовку, кто, заменив ушедших на фронт, работал за двоих, за троих. В течение последних пяти дней июня Абдрашитов успел побывать в селе Ильинском, что в ста с лишним километрах от областного центра, и съездить по заданию обкома партии в Полуденскую МТС. Из Ильинского он привез дельную корреспонденцию: колхозники и колхозницы заверяли, что получают большой урожай, дадут Красной Армии больше хлеба, мяса и другой продукции. А в Полуденской МТС к журналисту обратились женщины-трактористки: они хотели бы, чтобы в газете появилось и их слово. Писали сообща, обдумывая каждую фразу.

«Пробил грозный и решительный час,— говорилось в письме.— Началась Великая Отечественная война. На поле боя против агрессора мужественно, героически, не щадя своей жизни, сражаются воины нашей доблестной Красной Армии.

В священное дело борьбы с проклятыми захватчиками и мы обязаны внести свой вклад...

...Наша женская тракторная бригада призывает всех девушек и женщин, имеющих специальность трактористов,

комбайнеров, шоферов, но не работающих еще в МТС и совхозах, сесть за руль трактора и автомашины, стать водителями комбайнов. В селах и аулах, не медля ни одного часа, надо организовать краткосрочные курсы трактористок, комбайнеров, штурвальных, шоферов.

Девушки и женщины Северного Казахстана! Мы зовем вас на трактор, комбайн, на автомашины!

Наша ударная работа в поле, на тракторе и комбайне, приблизит нашу победу над зарвавшимся германским фашизмом.

Трактористки Василиса Бондарева, Вера Евтушенко, Валентина Шубина, Мария Горенкова, Феодосия Никифорова, Мария Толмачева, Эмилия Шмидт, Мария Авдеева».

* *

20 июля 1941 года Абдрашитов позвонил жене:

— Дора, завтра я уйду в армию. Подготовь мне все необходимое. Сам я вернусь из редакции поздно: надо кое-что дописать...

Услышав это, Дора Максимовна подумала, что муж шутит: он говорил об уходе на фронт спокойно, словно собирался в очередную командировку. Но Нияз повторил:

— Говорю вполне серьезно: повестка у меня в кармане.

Сборы были недолгими. Труднее всего расставался с детьми. Их трое: Розе едва минуло пять лет, Виве — три, а сыну Вилку не исполнилось еще и двух. Дважды возвращался в дом Нияз, чтобы еще и еще раз обнять их.

Эшелон тронулся в путь 22 июля. Он шел на Дальний Восток. «Когда просился туда, не брали, а теперь вместо фронта — на Дальний Восток, — писал с пути одному из друзей Нияз. — Впрочем, там тоже может возникнуть фронт: зря, вероятно, не повезут... Надо быть готовым ко всему».

Абдрашитов находился в дороге, а корреспонденции с его подписью и под псевдонимом Н. Имантавский все еще появлялись в газете.

В редакционных кабинетах пустовал не один стол. В ряды защитников Родины стали ведущие журналисты газеты «Ленинское знамя» — Александр Доброзраков, Михаил Костырев, Федор Богатырев, Борис Монастырский, Федор Супрунук, Иван Горбунов... Осенью ушел на фронт комиссаром батальона и друг Нияза — Андрей Петрович Кияница.

Первые месяцы службы Абдрашитова проходили в напряженной учебной подготовке. Рядовой красноармеец-стре-

лок, он сначала уставал до изнеможения, ныла больная спина после «штурмов» поросших густым орешником сопки. Но Нияз подавлял недомогание, находил время выпускать ротную стенгазету, посылать заметки в газету Дальневосточного фронта «Тревога». Военная часть, в которой служил Абдрашитов, находилась недалеко от станции, а там, за этой станцией, вдоль всей дальневосточной границы, стояла наготове и ждала сигнала, чтобы обрушиться на нашу страну, миллионная Квантунская армия. И все же Нияз чувствовал себя «тылови́ком». В одном из писем жене сообщал, что тяготится пребыванием «в тылу тогда, когда фашистские головорезы подошли уже к Москве».

В конце 1941 года Абдрашитову присвоили офицерское звание и он стал политруком стрелковой роты. Так прошел год. А в июле 1942 года эшелон умчал Нияза на Запад. В пути посылать письма и телеграммы не разрешалось, чтобы не разгласить факт передислокации, и потому, проезжая через родной город, Нияз не смог даже увидеть семью.

С фронта письма приходили не часто. «Деремся ожесточенно, не только за каждую улицу и за каждый дом, но буквально за каждую ступеньку крыльца,— писал жене Нияз.— Знала бы ты, какие удивительные подвиги совершают наши бойцы! Собираюсь написать о них корреспонденцию в «Ленинское знамя», предупреди Ф. И. Самарина (ответственного редактора.— В. С. и А. Х.). У меня новость: награжден орденом Красной Звезды. Можешь поздравить».

Позже от фронтовиков-петропавловцев, вернувшихся домой после войны, стало известно, что Нияз Абдрашитов служил в 33-й гвардейской стрелковой дивизии, и награду получил за храбрость, проявленную в уличных боях за город Котельниково. Бойцы роты Нияза Абдрашитова в течение трех дней восемь раз ходили в атаку. Нияз с двумя бойцами захватил каменный дом на перекрестке улиц и продержался в нем до темноты, несмотря на то, что рота вынуждена была после жестокой контратаки немцев оставить позиции.

Может быть, в это время Нияз и написал открытку, адресованную старшей дочери Розе: «Милая дочурка! Мы отбили у немцев большой населенный пункт. Скоро разобьем фашистских гадов, и я приеду домой. Не скучай! Привезу тебе учебники, карандаши, портфель—ты пойдешь в школу. Целуй маму, Виву, Вилика и жди меня».

Зима 1943 года для советских людей была радостной, обнадеживающей. Сорвав планы гитлеровских захватчиков,

Красная Армия заложила прочный фундамент победы над сильным врагом.

В Ростове сейчас живет бывший начальник штаба батальона майор запаса В. Г. Маноцков. Он рассказывает о тех днях:

«Я видел Нияза Абдрашитова во время боев на Маныче. Перед решающими боями мы с ним получали пополнение. Конечно, вновь прибывшие бойцы сразу же забросали нас вопросами, их интересовало все: где формировалась часть, какой боевой путь прошла? Развернулась горячая беседа. Нияз сразу увлек бойцов.

— Люди у нас смелые,— говорил он.— Умеют обрушиться на фашиста внезапно, по-суворовски. И это ценится! Да еще как!

Вместе с этими солдатами ему и пришлось вести последний бой...

Я послушал его беседу и, зная, что Нияз журналист, спросил, не думает ли он вернуться на работу в редакцию. Он ответил:

— Да, но только... после войны».

* * *

...Но в редакцию Нияз Абдрашитов не вернулся. Официальное извещение, полученное женой, Д. М. Фесюк, гласило, что ее муж старший лейтенант Н. У. Абдрашитов 2—3 февраля 1943 года во время боев под станцией Самодуровка Ростовской области пропал без вести...

Об этих боях в третьем томе «Истории Великой Отечественной войны» сказано:

«Особенно тяжелые бои развернулись за станицы Манычскую и Самодуровку. Враг превратил их в сильные опорные пункты, оборудовал большое количество дзотов, поставил обширные минные поля и проволочные заграждения. В его распоряжении было достаточное количество артиллерии и пулеметов. Передний край вражеской обороны проходил по каналу Маныч...

Овладеть этими опорными пунктами и открыть путь на Ростов предстояло 33-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора А. И. Утвенко».

А в этой дивизии и сражался Нияз.

Через месяц после боя под Самодуровкой жена Абдрашитова получила новое сообщение — боевой товарищ Нияза

офицер Мошков писал о том, как все произошло. Погибла почти вся рота, в которой Абдрашитов был заместителем командира по политчасти.

«Ваш муж был очень смелым и мужественным человеком,— писал Мошков,— настоящим коммунистом и прекрасным товарищем. Его мы видели всегда на самых опасных участках боя. Так случилось и 2—3 февраля во время жесточайшего сражения под Самодуровкой. Абдрашитова мы заметили бегущим впереди наступающих под шквальным вражеским огнем. Потом его потеряли из виду. Вероятно, он взорвался на mine. Воины дивизии с почестями похоронили погибших, в том числе тела тех, кто не был опознан...»

* * *

Через пять лет после окончания войны отмечалось тридцатилетие газеты «Ленинское знамя». Этому событию посвятили специальный номер. Хотя редакционный коллектив обновился почти полностью, но были в нем и ветераны. О тех, кто не вернулся в журналистскую семью, кто остался на полях войны, они напечатали в юбилейном номере специальную статью. «Абдрашитова мы никогда не видели без дела,— говорилось в ней.— Он вечно был чем-нибудь занят, куда-нибудь торопился, хлопотал. Как сейчас, вижу вихрастую, с непокорными русыми волосами голову, его умные серые глаза с постоянно припрятанной улыбкой, всю его стройную и необычно подвижную, всегда заряженную энергией фигуру».

Под статьей стояла подпись: А. Кияница.

Говорят, очень похож на отца Виль. Он уже вернулся с действительной службы в рядах Советской Армии в звании лейтенанта. От рядового солдата вырос до инструктора политотдела дивизии, избирался секретарем комсомольского комитета полка. Сейчас Виль Ниязович руководит цехом на одном из крупнейших заводов Петропавловска. Нашли свое место в жизни и дочери Абдрашитова: Роза — преподавательница английского языка в Алма-Ате, а Вива — врач, преподавательница анатомии в Петропавловском медицинском училище.

А в родной станице Абдрашитова в годы освоения целины возник крупный совхоз. Он носит имя газеты «Правда».

1967 г.

Владимир Павлов

КОРРЕСПОНДЕНТ «КОМСОМОЛКИ»



на была первым журналистом, которого я увидел в жизни. До этого я не имел ни малейшего представления о нашей беспокойной профессии. Грешен: мне казалось плевым делом написать статью, очерк, даже книжку.

Я наблюдал, как она работает. Ее вечно обуревал страх, как бы не пропустить чего-то очень важного, как бы не проглядеть чего-то, что непременно надо увидеть, о чем непременно надо узнать... Она работала везде, где бы ни была, что бы ни делала.

— У журналиста не может быть перерывов. Его труд — без конца.

— А во сне?

— И во сне... Знаешь, я сегодня не могла уснуть. Ворочалась-ворочалась, наконец, кажется, задремала. Вдруг — будто ударил кто. Вспомнила: а что я знаю о вашей Софье Осиповне? Вскочила. Достала блокнот...

— А что о ней знать? Ну, повариха. Старая уже. Ну, суп варит, лепешки печет. Сердится, если стащим! А что еще?

— Эх, ты! Суп, лепешки!.. А что она бежала из гетто, обманув немцев? Не одна — с Веркой, с дочкой... Что пережила, передумала? Про это ты знаешь? А почему ее вызывают в штаб всякий раз, когда допрашивают пленных мадьяр?

— Кажется, она понимает по-мадьярски...

— А кто ее научил?

Я пожал плечами.

— Ага! А у нее муж — венгр. И жила она в Будапеште. Видишь, какая судьба! Ну, а что ты знаешь про Жору Арто-зеева?

Она рассказывала мне о моих же товарищах, о ближайших моих друзьях, с которыми я уже больше года бок о бок жил, ел из одного котелка, ставил мины на железных дорогах, ходил в разведку, участвовал в боях... Но именно она всякий раз открывала мне десятки мелких, не подмеченных мной подробностей, в которые вникала с необыкновенной тщательностью. И передо мной предстал целый мир чувств...

— Ты знаешь, — как-то сказала она, — для меня до сих пор образцом был... (она назвала знаменитого публициста). Я думала: ну кто еще может сказать вот так о войне? А была у вас и поняла: вся его публицистика лишь малая часть того, что происходит... Об этом еще писать и писать!

— Почему ты не сядешь и не напишешь?

Она улыбнулась:

— Рано... Еще, знаешь, сколько надо понять и осмыслить?!

Помню, как она явилась к нам в землянку перед боевой операцией: мы шли в село Мужиново громить вражеский гарнизон.

— Ты с нами?

— Нет, не пускают... — с горечью передернула она плечами. — Это твой вещмешок? Ну-ка покажи, что там у тебя?

Я развязал «сидор».

— Так, — проговорила Лена, деловито перебирая мои нехитрые пожитки. — Рубаха, портянки... Сало. Понятно. Листовки. А это?

— Это тол. А это бикфордов шнур.

— А для чего тебе метелочка?

— Мину маскировать... Да зачем тебе?

— Надо. Все, что пишешь, должно быть достоверно. Начнешь выдумывать — читатель не поверит.

— Ну уж, не поверит!

— А ты как думал? В малом соврешь — в большом веры не будет.

И я поразился: ну и профессия у журналиста! Не хуже, чем у разведчика — каждое лыко в строку. Но лишь много позже понял: не всякому журналисту дано быть таким. Как, впрочем, не всякому разведчику...

Она вела подробный дневник. Но об этом я узнал уже после войны.

Сколько раз мы сидели в тесном партизанском кругу, что собирався по вечерам у железной печурки, которая постреливала искрами посреди землянки.

— Где ты родилась, Лена?

— В Ломе.

— А где это — Лом?

— В Болгарии, на Дунае...

Снаружи поскрипывал снег под ногами часовых. Сквозь щели в дверях беззвучно пробивались струйки морозного пара и растекались по земляному полу сизым, холодным туманом. Шел сорок второй. И шумел над землянкой глухо и тревожно заснеженный, промороженный насквозь, военный, партизанский Клетнянский лес...

А Лена говорила о Болгарии. О своей матери — знаменитой болгарской революционерке Георгице. О том, как вместе с матерью сидела она в царской тюрьме и как ее, совсем еще девочку, вызволил оттуда МОПР* и привез в далекую северную Москву, в детский дом, что возле зоопарка. И о том, как одно время жила она и воспитывалась в семье Емельяна Ярославского...

Она рассказывала о своем отце Александре Карастоянове — он командовал партизанским отрядом во время антифашистского восстания в двадцать третьем году и был убит. О Георгии Димитрове и Христо Ботеве. О Плевне и Шипке, на которой бок о бок с русскими солдатами дрались против турок болгарские ополченцы. О буковых лесах и о горных кручах...

А нам казалось невероятным, что есть на свете теплая страна Болгария, обласканные солнцем виноградники, овеянные легендами и преданиями горы, широкая, песенная река Дунай и белые праздничные пароходы на ней...

— Кончишь войну, небось, сразу на родину?

— Обязательно! А может, раньше... В наших горах немало партизан.

В тот раз я промолчал. Но размышлял: останусь в живых, и я побываю в Болгарии и в Ломе!

Лена прилетела к нам в сорок втором, в начале ноября. Впрочем, ее настоящее имя было вовсе не Лена, а Лилия.

* МОПР — Международная организация помощи борцам революции.

Но она решила, что для войны Лилия слишком нежно и сентиментально. И в партизанском «аэропорту» — на прихваченном первым морозцем поле у деревни Николаевки — назвалась именем своей сестры — Лены. Так в нашем партизанском соединении это имя и осталось за ней.

Соединение отдыхало. Глухие чащобы Клетнянского леса казались нам сущим раем после обложенных блокадой худосочных, саженных перелесков Черниговщины. Все лето бились мы в них с карателями, пробивались из окружений и вновь попадали в них, пока, наконец, с боями, долгими и трудными ночными переходами не добрались до здешних мест.

Пронизывающий осенний ветер срывал последние листья с осин и берез. Целыми днями шли нудные осенние дожди. По ночам в воздухе кружились снежинки, предвещающая скорый приход зимы. Но нам, в землянках, под высокими густыми елями все было нипочем.

В тот вечер наша диверсионная группа вернулась с задания. После того как был выпит трофейный шнапс и рассказаны перипетии похода, мы, по обыкновению, уселись вокруг печки и затянули песню.

Мы не заметили, как тихо растворилась дверь и вошел командир нашего соединения генерал Федоров. Лишь когда допели куплет, один из нас повернул голову, вскочил, командовал: «Смирно!»

— Вольно! Садись! — сказал генерал. И, обращаясь к кому-то сзади, добавил: — Знакомьтесь. Боги партизанской войны — диверсанты...

Тут-то мы увидели, что позади командира стоит кто-то смуглый, в большом, не по росту, белом армейском полушубке, подпоясанном ремнем, на котором, неуклюже сбившись к самой пряжке, болтался тяжелый пистолет в обшарпанной дерматиновой кобуре. Ушки солдатской шапки гостя были по-штатски связаны на затылке. А из-под шапки... Мы не поверили своим глазам: из-под шапки торчали две смешные и странные здесь, в партизанской землянке, косички!

— Это — Лена Карастоянова, — продолжал генерал. — Корреспондент «Комсомолки». Прошлой ночью прилетела с «Большой земли»...

Шепот пробежал по землянке. Мы оживились, стали одергивать свои замызганные трофейные кители и штатские пиджаки, приглаживать чубы, стирать осевшую на лицах

копоть. Софья Осиповна, понимая, что по такому случаю без торжественного ужина не обойтись, не дожидаясь команды, села чистить картошку. А старшина Сергей Пинчук бросился доставать из своих тайников, в которых хранился «энзе», спирт и сало...

— Стоп, хлопцы! — сказал генерал, заметив наши приготовления. — Отставить банкет. Нам еще надо к разведчикам.

— Если разрешите, к разведчикам завтра, — сказала Лена. — У богов-то сам бог велел побыть подольше!

— Завтра, конечно завтра! — подхватили мы. — Да и что там интересного, у разведчиков!

— Ну что ж, — согласился генерал. — Пусть будет по-вашему.

С этого времени Лена стала бывать у нас почти каждый день.

И хотя это и было почти каждый день, всякий раз ее приход был для всего нашего взвода праздником.

Я и сейчас не могу толком объяснить, что именно привлекало нас в ней. Ведь у нас и до Лены бывали люди с Большой земли, и мы жадно слушали все, что они рассказывали о том, что происходит по ту сторону фронта. Но все они были людьми военными, говорили лаконично, будто сводки читали, и уж во всяком случае никто из них не умел рассказывать так, как это делала Лена.

Быть может, ее рассказов (если б их записать — получилась бы великолепная повесть!) мы и ждали каждый вечер с таким нетерпением. И, стосковавшись по книгам, которых почти не видели во вражеском тылу, мы готовы были без конца слушать и «Фронт» и «Василия Теркина», прихваченных Леной из редакционной библиотеки.

Именно Лена прочитала нам впервые «Василия Теркина», и в моих ушах до сих пор звучит ее голос:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый.
Снег шершавый...

А может, просто появление маленькой, такой женственной Лены в темной и сырой землянке будило в нас что-то давнее, полузабытое, истоптанное и перепаханное войной...

Но были не только разговоры. Были и споры. И в спорах Лена непоколебимо, стойко умела отстоять то, что считала справедливым, никому не прощала бахвальства и зазнайства.

Однажды один из нас расхвастался своими подвигами, а когда Лена насмешливо его остановила, вдруг обиделся, закричал, что там, на той стороне фронта, не понимают, не могут понять, что оно такое — партизанская жизнь и партизанская душа, что там не воюют, а «отсиживаются по Ташкентам», что только партизаны — настоящие люди и им не нужны никакие газеты, никакие книги. И что он лично после войны хочет единственного — стать грузчиком на ликеро-водочном заводе, потому, что, мол, пьян всегда будешь и думать на такой работе не требуется...

Никогда не забуду выражения Лениного лица и твердо сжатых губ, когда она молча, глядя прямо в лицо говорившему, слушала его.

— Стойте! — вдруг перебила она на полуслове. — Неправда... все это!

Она сделала короткую паузу, во время которой в землянке воцарилась мертвая тишина, обвела нас всех строгим взглядом своих темных, как вишни, внимательных, умных глаз.

— Ведь вы-то все совсем не так думаете? Верно?..

И мы, смущаясь за товарища, с неловкими улыбками почти хором ответили:

— Верно! Не так думаем!..

— Ты что, не знаешь, кто там автоматы делает и откуда присылает?..

И тот, кто кричал и спорил, вдруг стих, покраснел, смутился. Ничего не отвечая, подхватил он свой автомат (без оружия у нас землянок не покидали) и вышел.

Словом, и это умение рассказать и поспорить, и тонкое женское обаяние, от которого мы изрядно поотвыкли, и еще что-то влекло всех нас к ней. И более всего из этого «что-то» влекло нас, пожалуй, то, что в Лене мы чувствовали товарища, настоящего друга, готового на все ради друзей, ради нас.

Да, каждому из нас хотелось быть лучше и заслужить ее одобрение. Мы стали покладистей, терпимей друг к другу. И даже самые заядлые ругатели, которые в иное время по всякому поводу и без повода поминали всех святителей до двадцатого колена, в присутствии Лены дальше «черта» не шли...

Всякий раз, когда диверсионные группы возвращались с боевых заданий, командир взвода, оглядев трофейные яства, добытые в походе, откладывал лучшее «на вечер». Но мы-то знали — к приходу Лены.

Лена числилась бойцом отдела пропаганды. Отдел издавал партизанскую газету «Большевик»*, в которой не раз выступала Лена. Приходилось ей делать и разную редакционную работу — вычитывать гранки, править статьи. Выправленные ее пером наши партизанские заметки не стыдно было напечатать и в центральной прессе...

А когда очередной номер бывал сверстан и в землянке отдела пропаганды начинал стучать печатный станок — Лена уходила к нам.

Меня не раз отряжали встречать и провожать ее. И хоть я и не показывал виду, эти поручения радовали меня.

Между землянкой отдела пропаганды и нашей лежал глубокий овраг, на дне которого светлел подернутый тонким ледком лесной ручеек. По правде сказать, мне очень хотелось взять Лену за руку, чтобы помочь ей карабкаться на крутые, заснеженные откосы оврага. Но я стеснялся. Лишь изредка, когда Лена оступалась, я помогал ей удержаться на ногах. Однажды, поддерживая ее, я сам оступился и кубарем полетел вниз.

Чертыхаясь про себя, я вылез из сугроба и принялся отряхиваться. И тут над самым моим ухом зазвенел смех. Рядом со мной медленно поднималась на ноги Лена. Шапка ее упала, волосы были в снегу.

— Ты тоже не удержалась?

— Да нет же! Я следом за тобой прыгнула. Просто — из солидарности!

Однажды мне пришлось поехать с Леной в подлесные села — Болотню, Тельчу, Николаевку. Мы отправились вместе с нашей партизанской агитбригадой. В агитбригаде состояли лектор ЦК КП(б)У Лидия Ивановна Кухаренко, украинский писатель Мыкола Шеремет, Лена, киномеханик с передвижкой, которую доставили с «Большой земли» вместе с единственным фильмом «Разгром немцев под Москвой», и труппа партизанской самодеятельности под руководством нашего главного концертмейстера Василия Коновалова — до войны артиста Черниговского облдрамтеатра. В этой группе я числился чтецом-декламатором.

В каждом из сел прибытие агитбригады — целое событие. Все, кто мог ходить, толпами собирались послушать и по-расспросить «москвичей» (кто ни прилетал из-за линии

* В соединении партизанских отрядов А. Ф. Федорова издавались газеты «Большевик» и «Радянська Україна».

фронта, у нас считался москвичом). Наши нехитрые эстрадные номера все как один шли на бис. А фильм, что называется, засмотрели до дыр. От желающих крутить «солдат-машину» — ручной электрогенератор, хоть это и нелегкий труд, не было отбоя. Хозяйки спорили: чьей простыне выпадет честь послужить экраном. В импровизированных кинозалах — яблоку негде упасть. Беспокоиться не о чем: все подходы к селу, в котором работает агитбригада, перекрыты партизанскими заставами.

— Ты понимаешь, как это здорово? — шепотом спрашивала меня Лена. — Фильм! Здесь, в тылу врага! И какой фильм — «Разгром немцев под Москвой»! Ты понимаешь это или нет?

— Понимаю...

— А как ты думаешь, немцы про это узнают?

— И до них дойдет!

— Уж, наверное, икнется господам гестаповцам!

Но вот закончилась последняя часть, и в зале «вспыхнул свет» — зажглись каганцы и лучины. Оставив меня, Лена протиснулась в самую гущу зрителей, которые и не думали расходиться. Я услышал, как она заговорила с какой-то немолодой крестьянкой.

— Муж есть? В армии? И сын тоже?.. Может, как раз под Москвой воевал? А еще есть дети?

— Двое... Малые еще.

— А корова?

— Да полицаи свели. Одной картоплей и живы...

— Да, тяжело нашей сестре... Ох, и тяжело!

Это сказано просто, без тени игры, без всякого желания подделаться под собеседницу и в то же время убедительно. Да, действительно, тяжела женская доля в военное лихолетье. И там, за линией фронта, и в армии, и в партизанах. И тут, на полоненной земле. Тут, может, тяжелее всего...

И оттого, что это умеют понять и разделить, делается светлей на душе.

И вот уже толпятся вокруг Лены бабы и девчата, о чем-то рассказывают и расспрашивают. Она своя здесь, в русском селе, эта болгарская девчонка, рожденная на далеких гористых берегах Дуная...

Перед Новым годом мы всерьез заговорили о том, чтобы Лену перевели в наш подрывной взвод. Командир и политрук взвода обсуждали доводы, которые они приведут, чтобы командование соединения согласилось на этот перевод. При-

кидывали, как будут уламывать начальника отдела пропаганды и редактора партизанской газеты «Большевик» Павла Васильевича Днепровского, который, по совести говоря, косо поглядывал на Ленины визиты к нам во взвод. Старшина Сергей Пинчук добывал доски, чтобы отгородить для Лени закуток в нашей землянке. Хотела перебраться к нам и Лена.

Но судьба решила иначе.

Ежели в лагере построили землянки и обжились — стало быть, жди незваных гостей. Это уж верная партизанская примета.

В январе сорок третьего командование вермахта, готовившее наступление под Курском, решило очистить от партизан Клетнянский лес. Гитлеровцы перебросили в этот район крупные силы. Кроме карательных отрядов, полиции, подразделений фельджандармерии, всевозможных зондеркоманд против партизан были брошены войсковые соединения, специально снятые для этого с фронта, с самолетами, танками, тяжелой артиллерией.

Каратели обложили лес со всех сторон. Казалось, через плотные, в несколько рядов порядки противника не просунет носа и комар — не то что целая колонна партизан. Но наша разведка все-таки нашла слабину в кольце...

Конечно, это было не бог весть какое безопасное место. Нам предстояло пройти три километра по полю, перебраться по льду через Ипуть, пересечь шлях, по которому то и дело проходили немецкие патрули. И лишь на противоположном берегу войти в спасительный лес.

Словом, путь предстоял рискованный.

На опушке наша колонна остановилась. Пробежал от саней к саням приказ: не ходить, не говорить, не курить. Это означало, что к реке пошла разведка. Лена — она шла с нашим взводом — притаилась рядом со мной у саней со взрывчаткой и минами.

Под ночным небом сгустилась тишина. Мы напряженно ждали.

— Не замерзла, Лена? — спросил я шепотом.

— Т-сс! — чуть слышно донеслось в ответ.

Наконец впереди послышался шорох. Вернулись разведчики. Рядом из темноты вынырнул конный связной.

— Комвзвода! — тихо окликнул он, нагибаясь с седла. — Начштаба приказал послать подрывников в хвост колонны, в отряд Тарасенко. След заминировать надо. Кто пойдет?

— Да вот он и пойдет! — не раздумывая кивнул на меня командир нашего взвода.

— Один? — усомнился связной.

— Ничего, справится! Собирайсь!..

Стараясь не шуметь, я вытряхнул в сани содержимое вещевого мешка, достал из-под брезента пару мин, проверил, есть ли в карманах взрыватели. Лена, как умела, помогала мне затянуть «сидор».

А колонна тем временем пришла в движение. Темнота наполнилась звуками — мягким шуршанием полозьев, глухим шлепаньем копыт, скрипом и скрежетом снега под сапогами.

Хвост колонны уже вышел на опушку леса, когда впереди вдруг выросло багровое дерево взрыва. Часто и резко загремели пулеметные очереди. Захлебываясь, зачастили автоматы. Взмыли ракеты. Стало светло, как днем.

Поле вмиг преобразилось, усеялось точками бегущих, ползущих, недвижимых людей. Громоздились опрокинутые сани. Бились в упряжках раненые кони. И над всем этим скрещивались и переплетались разноцветные ленты пулевых трасс... Потом по полю покатались белые облака снежной пыли, насадный рев моторов перекрыл грохот боя. Танки!

Я понял, что этого мертвого поля мне не пересечь, что наше соединение, товарищи, Лена — все безнадежно отрезано. Быть может, навсегда...

Стиснутый со всех сторон в окруженном Клетнянском лесу, отряд Тарасенко долгие дни отбивался от вражеских частей, прочесывавших лес вдоль и поперек. Пришлось бросить все: и лошадей, и повозки. Полуживые от голода и усталости, вышли мы наконец из кольца. Лишь через месяц, на границе Черниговщины, я догнал родное соединение.

— А Лена? Где же Лена? — спросил я, вырываясь из объятий товарищей, которые давно уже считали меня погибшим.

И по тому, как все потупились и примолкли, я понял, что случилось непоправимое...

Позже мой друг, подрывник Вася Коробко, рассказал мне подробности Лениной гибели.

Почти на стыке трех республик — Украины, Белоруссии и России есть небольшое село Будище. В этом селе, по дороге на родную Черниговщину, остановилось на дневку наше партизанское соединение.

Задымили трубами хаты, загремели ухватами хозяйки у печек, начали расстилать снопы соломы — укладывать партизан спать. Вдруг на околице села раздались выстрелы. На ходу натягивая полушубки и шинели, партизаны бежали к месту, где гремел бой.

Как выяснилось, немецкий обоз заплутал в метели и случайно наткнулся на партизанскую заставу.

Вместе с Васей Коробко на улицу выскочила и Лена.

Навстречу им бежал комиссар первого батальона Иван Горелый.

— Можно и мне туда? — крикнула ему Лена.

Комиссар на бегу покрутил головой и махнул рукой. Но Лена этот жест истолковала по-своему.

А бой в это время подходил к концу.

Неподалеку от крайнего дома стояли сани, брошенные врагом. Из них торчал ствол миномета. Кто знает, что именно руководило Леной, когда она поползла к саням? Быть может, ей собственными руками хотелось доставить трофей? Или свойственная ей отвага?

У самых саней Лена привстала на колени. Так было удобнее снять тяжелый минометный ствол. И в этот момент сухо протрещала автоматная очередь.

— Ой! — вскрикнула Лена.

Пуля попала ей в сердце...

Шел февраль 1943 года. Ее похоронили в Будище с воинскими почестями. А после войны перенесли ее прах в районный центр Чечерск *...

* * *

С тех пор прошло много лет.

Я не забывал того, о чем мечтал в юности, в холодном, заснеженном Клетнянском лесу. Но поездка в Болгарию все не удавалась.

Наконец в 1966 году мне повезло: в сентябре я и украинский писатель Василь Большак по приглашению редакции болгарского журнала «Наша Родина» приехали в Болгарию.

— Что бы ты хотел повидать в нашей стране? — спросили меня болгарские коллеги-журналисты.

— Лом, — не задумываясь ответил я.

* Гомельская область БССР.

И вот розово-серая редакционная «Волга» петляет в ущельях хребта Стара-Планина, того самого, о котором рассказывала Лена в Клетнянском лесу. За рулем — один из редакторов «Нашей Родины» — Иван Йовков. Рядом с ним — журналист Величко Койчев. А позади мы с Большаком.

Иван Йовков великолепно ведет машину. До того как окончить университет и стать журналистом, он долгое время был шофером-профессионалом, возил командира одной из советских частей, освобождавших Болгарию от фашистского ига в сентябре сорок четвертого.

Потом работал шофером в посольстве Народной Республики Болгарии в Москве...

Но, пожалуй, еще лучше, чем машину, Йовков знает историю своей страны, начиная с самых древних времен. И уж, конечно, историю возникновения и действия болгарских партизанских отрядов в годы второй мировой войны. И это не удивительно: сам Иван Йовков с детства принимал участие в революционной борьбе. А его дядя со стороны матери, Атанас Романов, был расстрелян фашистами. Сидя в камере смертников, он продиктовал товарищам свои воспоминания, которые назвал дневником... Он еще не кончил диктовать, когда в камеру постучали. За Атанасом Романовым явились палачи.

«Он хотел сказать что-то еще, — записали в «Дневник» его товарищи, — но только махнул рукой и ушел...»

За минуту до гибели, чтобы показать свое презрение к врагам, Атанас Романов сам расписался на кресте, который должен был быть установлен на его могиле.

«Дневник» болгарского коммуниста Атанаса Романова как самая святая реликвия хранится в семье Йовковых...

Поросшие вековыми буками и елями склоны Стара-Планины, по дорогам которой мы едем, как, впрочем, и все горы Болгарии, — истинно партизанский край.

Тогда, в Клетнянском лесу, Лена не ошиблась, рассказывая, что и на ее родине тоже немало партизан. В Болгарии не было ни единого лесного и горного урочища, где бы таились партизанские четы и бригады, наводя ужас на прогитлеровских правителей страны. Не было ни единого города и ни единого села, в котором не действовала бы подпольная организация Болгарской компартии и РМС — болгарского комсомола.

И здесь, в горах Стара-Планины, совсем неподалеку от набитой гитлеровскими войсками Софии, тоже дрался круп-

ный партизанский отряд под командованием нынешнего министра обороны НРБ Добре Джурова.

Здесь же, в этих горах, пролегали когда-то, во время антифашистского восстания 1923 года, партизанские тропы Лениного отца — Александра Карастоянова. И если б осталась Лена в живых, не сложила б своей светлой головы на советской земле, кто знает — может, еще в годы войны занесла бы ее судьба в партизанские горы Болгарии!

Но вот и Лом — небольшой, чистенький городок, прижавшийся к самому берегу Дуная.

Первым долгом — в редакцию местной газеты «Народна трибуна», к заместителю главного редактора Ечке Ивановой.

Приближался вечер, и Ечки уже не было на работе. Не нашли мы ее и дома.

— Ничего! — улыбаясь, сказал мне Йовков. — Не может быть, чтобы мы ее не разыскали.

И верно: у нас сейчас же нашлись помощники. Один из рабочих типографии, в которой печатается «Народна трибуна», вызвался сопровождать нас по всем возможным адресам. Сын Ечки — Игорь, мальчуган лет двенадцати, вместе со своими друзьями — пионерами тоже отправился на поиски. И не прошло и получаса, как мы увиделись с Ечкой...

С Ечкой Ивановой у меня старая заочная дружба. Мы начали переписываться лет восемь тому назад. Именно от нее я узнал, что в Ломе увековечены имена всех погибших членов семейства Карастояновых. Именем ее матери Георгицы назван интернат для детей. Именем отца — Александр Карастоянов был врачом — городская больница.

А имя нашей Лены — Лилии Карастояновой — носит Дом пионеров.

И вот он, этот дом, в саду, среди цветов, за красивой решетчатой оградой. Здесь все напоминает о Лене. И мемориальная доска у входа, под колоннами. И портрет кисти художника из Лома Петра Панайотова. И собранные пионерами воспоминания, фотографии, документы, которые показала нам директор Дома пионеров Павлина Борисова, и значки с изображением Лены.

Но более всего мне понравился большой, затянутый красным стеном, что стоит у входа на втором этаже. В центре этого стенда — большая фотография нашей Лены. Слева — портреты прославленных советских подпольщиков и парти-

зан. Справа — героев народно-освободительной войны в Болгарии.

Я долго стоял и смотрел на стенд.

Перед мысленным моим взором с небывалой ясностью вновь встала зимняя ночь на опушке сурового Клетнянского леса, заснеженное поле, мертвенный свет ракет, грохот выстрелов и разрывов...

И живые Ленины глаза — взволнованные, но твердые — заглянули в мои. И я увидел ее, как в тот, последний раз, на опушке Клетнянского леса — маленькую девушку с косичками, в белом армейском полушубке.

...Необыкновенный сплав мужества, женственности, журналистского таланта...

Лев Савельев
СВОЙ ГЛАЗ — АЛМАЗ



Москве на Хорошевском шоссе в новом здании «Красной звезды» установлена мемориальная доска. На мраморе золотом сверкают слова:

«СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТОВ-КРАСНОЗВЕЗДОВЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ В БОЯХ ЗА РОДИНУ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 ГГ.

АНОХИН А. М., БЕЛЬХИН К. Я., БЕРНШТЕЙН М. С., ВИЛКОМИР Л. В., ИШ Л. Р., КРЫЛОВ П. Т., ЛАПИН Б. М., ОЛЕНДЕР П. М., ПЕТРОВ Е. П., ПОЛЯКОВ А. Ф., РОЗЕНФЕЛЬД М. К., САПИГО С. Т., СИСЛАВСКИЙ Я. Х., СЛУЦКИЙ А. Я., ФОКЕРМАН (ЛОСЬ) Л. М., ХАЦРЕВИН З. Л., ШУЭР (ОГИН) А. М.»

Скорбный список не вернувшихся с боевого задания...

Александр Михайлович Анохин пришел в журналистику, уже имея богатый жизненный и военный опыт.

Свое боевое крещение он получил еще в 1919-м, когда семнадцатилетним пареньком в рядах Бердянского полка сдерживал деникинцев, рвавшихся к Волновахе.

Тогда и началась та боевая закалка, которую отмечали в Анохине все, кто сталкивался с ним на фронтовых дорогах Великой Отечественной войны.

В Красную Армию он пошел добровольно. В один из майских дней 1919 революционного года на Бердянском чугунолитейном заводе появился председатель городского ревкома Волков. Остановил трансмиссию, взобрался на станок и начал речь. Она была короткой, и смысл сводился к тому, что белоказакки насаждают, Красной Армии нужны добровольцы и записываться следует сейчас же, прямо у него, Волкова.

Среди трехсот молодых рабочих, ставших в тот день красноармейцами, был и Саша Анохин — сын шорника, начавший трудовую жизнь с детских лет. Недолго успел он проучиться в школе. Дома было очень туго, и мать послала мальчугана на заработки. Был он и продавцом газет, и учеником в сапожной мастерской, работал и на водокачке, и в парикмахерской, и на мельнице, и в пекарне... Был и ремонтником на железной дороге, пока не попал на чугунолитейный завод. Тут в ту пору стали выпускать снаряды, и парню поручили наполнять шрапнелью стаканы.

Прямо из цеха молодой рабочий пошел в здание бывшего реального училища, в котором формировался Бердянский полк.

Только месяц с небольшим учили молодежь военному делу — строевая и стрелковая подготовка в ту пору велась весьма упрощенно. И вот уже полк — свежие резервы! — занял позиции у города, на который наступали превосходящие силы врага. Бердянцы пропустили через свои боевые порядки отступающие красные части, а сами остались для арьергардных боев сдерживать натиск беляков. Так и отступал Бердянский полк до самой Белой Церкви. Многое пришлось вынести. И внезапные ночные атаки конницы, и артиллерийские налеты...

В боях прошел весь 1919 год, а когда Красная Армия погнала белогвардейцев на юг, боец Анохин, проделавший с полком весь его нелегкий путь, был уже обстрелянным. Еще через год — он коммунист. Потом сотрудник Закавказской ЧК, а затем снова в Красной Армии — на политработе.

И только после демобилизации, после двух лет комсомольской и партийной работы на железнодорожном узле Пологи Запорожской области, он приходит наконец в журналистику.

Пришлось, конечно, учиться. И хоть опыта было вроде и немало, а все же книжная премудрость давалась нелегко.

После окончания Коммунистического института журналистики начинается настоящая газетная работа.

Кочевая журналистская судьба вела Анохина из города в город: заведующий отделом «Харьковского пролетария», ответственный секретарь знаменитой в те годы артемовской «Кочегарки», потом — Москва, потом корреспондент «Правды» — сначала по Курской области, а затем по Дальневосточному краю. И, наконец, центральный аппарат «Правды», где его и застала война.

Воевать он пошел осенью 1941 года прямо из своего кабинета заведующего отделом писем «Правды», где Анохин провел два с половиной года.

Само ли так получилось или пришлось применить «военную хитрость» — неизвестно, но Александр Михайлович попал именно на тот участок фронта, куда стремился, — на юг, в те самые, знакомые еще с юношеских лет, места, по которым он дважды прошел с винтовкой в руках.

В конце лета 1941 года газета 12-й армии «Звезда Советов» попала в тяжелое положение. Ее редакционный состав погиб почти весь. Сохранилась типографская техника — автофургоны с наборными кассами, печатной машиной и прочим имуществом, уцелели наборщики и печатник, был и прихрамывающий, опирающийся на палку начальник издательства. Но делать газету некому. А она должна выходить ежедневно. И тогда — это происходило в сентябре, — не дожидаясь, пока кадровики подберут новый редакционный состав, фронтовая газета «Во славу Родины» выделила из своей среды оперативную группу: нового редактора — А. Т. Гнедина и с ним еще трех-четыре человек.

В деревне Софиевке Запорожской области в колхозном саду, где оперативная группа обнаружила то, что осталось от прежней «Звезды Советов», приехавший вместе с новым редактором его временный заместитель Леопольд Железнов обратил внимание на какого-то худощавого сержанта, отстукивающего на пишущей машинке одним пальцем. Машинистка в этой редакции тоже отсутствовала.

Увидев понаехавшее начальство, сержант оторвался от машинки и вытянулся.

- Что вы там пишете? — спросил Железнов.
- Стихи, — не очень уверенно ответил сержант.
- Вы поэт?
- Пробую...

Не возлагая особенных надежд, Железнов взял выну-

тый из машинки листок и к своему удивлению обнаружил, что стихи, так скромно оцененные самим автором, вполне подходят для газеты, хотя подпись «Дм. Бежин» ничего ему не говорила.

— Вот и первый материал для нашего первого номера, — обратился Железнов к стоявшему рядом редактору.

Тот прочитал и тоже одобрил стихи. Сделав пом. «жу «в набор», он вернул листок автору, растерявшемуся от столь стремительного успеха.

Так состоялась встреча новой редакции «Звезды Советов» с Дмитрием Холендро. Именно он был тем сержантом, подписывавшимся тогда «Дм. Бежин».

Прошло еще некоторое время, и в редакцию стали прибывать новые люди. Среди них был и заместитель редактора Анохин, сменивший Железнова, вернувшегося в свою фронттовую газету. Редакция окрепла.

Отступление продолжалось... Сначала переехали в шахтерский город Серго, а потом «Звезда Советов» перебазировалась в поселок Ирмино, известный тем, что здесь начиналось стахановское движение.

Пост заместителя редактора ежедневной газеты, казалось бы, привязывал Анохина к рабочему месту, но он все же умудрялся не засиживаться в редакции. Он постоянно колесил по воинским частям, ездил на передовую и, как вспоминают те, кто работал с ним в ту пору рядом, не давал покоя ни себе, ни другим. Таким и остался он в памяти своих товарищей-журналистов.

«Свой глаз — алмаз», — повторял Анохин, требуя от сотрудников, чтоб они писали свои корреспонденции не по сводкам и донесениям, а по личным наблюдениям и переживаниям. То, что он видел своими глазами, находило отражение не только на страницах газеты. Он рассказывал об этом и в письмах жене и детям.

Вот, например, что писал Анохин домой 19 декабря 1941 года.

«...Только что вернулся с передовых позиций, и мне сразу же вручили долгожданную радостную весточку. Несколько раз я перечитал и мысленно представил себе вас, родных моих...

Клавочка, Неличка, Феликс! Если бы вы могли хоть одним глазком посмотреть, как дерутся наши красные воины, непременно сказали бы:

— Вот это да, вот это богатыри!

На днях я был свидетелем такой картины. Танкист Кобозев вместе с другими экипажами пошел в атаку на гитлеровские танки. Вдруг из-за высокого холма выскочили новые вражеские танки. Кобозев не растерялся, не сдрейфил. В то время, как его товарищи дрались с другими, он вступил в бой с пятью фашистскими танками. Один против пяти! Вы понимаете, что это означает! И вот, представьте себе, Кобозев меткими попаданиями выводит из строя, т. е. превращает в лепешку, 2 немецких танка; остальные, увидев такой оборот, начали драпать. Кобозев стал их преследовать. Но вот зажигательный снаряд угодил в танк Кобозева. Вспыхнул пожар. Что ж, бросать горящий танк? Нет, не из такого материала скроены советские танкисты! Кобозев и его славные боевые друзья, задыхаясь от угара, с обгорелыми волосами, ожогами на лице и на теле, довели танк до безопасного места, а когда врач предложил героям отправиться в лазарет — наотрез отказались.

— Немножко отдохнем, хорошенько закусим — и опять в бой пойдем, — заявили Кобозев и его товарищи.

Таких эпизодов я мог бы привести множество. Я успел увидеть и сам пережить многие трудности войны. И должен честно сказать, что, ей-ей, не так черт страшен, как его малюют. Главное заключается в том, чтобы в любых условиях ты верил в свои силы, в правоту великого дела, и тогда никакие страхи тебя не одолеют, ты выйдешь победителем...»

В работу маленького редакционного коллектива Анохин стремился внедрить, как он выражался, «правдивистские традиции». И в большом и в малом. Когда кто-нибудь из сотрудников бывал обижен — обычно это случалось с тем, чьи материалы «вылетали» из номера, — Анохин утешал:

— Зато твой факт использован в передовой статье. А ты знаешь, как собкоры «Правды» борются за честь, чтоб сообщенный ими факт попал в передовую статью!

И как ни был Анохин загружен выпуском очередного номера, он все же находил время, чтоб выступить в газете и самому. Он пишет юморески для сатирической странички, хлесткие обзоры писем, найденных у убитых гитлеровцев. Обзоры эти печатались под постоянной рубрикой: «Лицо врага».

На Ростовском участке фронта идет наступление. Советские войска освобождают населенные пункты. Конечно же

Анохин там, где наступление, в самом пекле. И вот уже на первой полосе двухколонным набором появляется переданная «по телефону от нашего корреспондента» заметка Анохина: «Красные воины неудержимо рвутся вперед». В ней рассказывается о героических действиях подразделения капитана Браславца.

Отдельный мотострелковый батальон капитана Браславца, впоследствии переформированный в бригаду, прославился по всему фронту. Укомплектованный преимущественно донецкими шахтерами, он проявлял чудеса храбрости. Анохин ездил в эту часть при каждой возможности, следил за ее успехами, хорошо знал людей. Именно этот батальон имел он в виду, когда писал домой:

«Работаю много и с увлечением. Часто бываю на передовых позициях, встречаюсь с замечательными людьми, пишу о них. У меня теперь много боевых друзей. Эх, какие у них высокие душевные качества! Никогда не оставят в беде, поделятся последним сухарем. За боевую работу Военный совет объявил мне благодарность, наградил ценным подарком и повысил в звании: теперь — батальонный комиссар. Думаю, что не подкачаю и в дальнейшем. Вы знаете, как я влюблен в свою работу. Кое-что послал в «Правду»...»

Огорчало, что неважно стрелял из пистолета.

— На «гражданке» все некогда было, — говорил Анохин застенчиво, словно оправдываясь за свое неумение.

Дело, конечно, поправимое, нужно лишь тренироваться. Но армейская редакция с ее постоянной спешкой была для этого мало подходящим местом. Нет ни тира, ни времени.

Пошло на лад, когда расположились в городе Серго. Редакции отвели помещение бывшего дома отдыха. К нему прилегал обширная территория, а на задворках — яр, превосходный естественный тир. Ну, а патроны — их привозили с передовой корреспонденты.

Одним из наиболее сильных стрелков оказался инструктор-организатор отдела армейской жизни Дмитрий Трофимович Лобанов. Кадровый офицер, он пришел во фронтовую печать из окружной военной газеты. Он и стал наставником Анохина. Бывало, только появится Лобанов с передовой и наскоро отпишется, как его «подопечный» уже тут как тут:

— Ну, Трофимыч, есть патрончики? Тогда пошли, пока светло...

В марте 1942 года Анохина отзывают в Москву, в «Красную звезду». Два-три месяца он работает корреспондентом по Крымскому фронту, а затем переводится в центральный аппарат газеты на должность начальника отдела корреспондентской сети.

Шире стал теперь масштаб. Уже не за одним только батальоном, будь он и прославленным, надо следить. Теперь ты в ответе за то, чтоб не проглядеть чего-нибудь на всем огромном протяжении фронта. И беда, если утром увидишь в «чужой» газете «фитиль» — важное сообщение, о котором в редакции накануне не оказалось телеграммы «от собственного корреспондента». За такой «прокол» от редактора не поздоровится! Пожалуй, во сто крат лучше самому отправиться на фронт, быть подальше от грозного начальства, чем здесь выслушивать укоры!

Свой глаз — алмаз! — этот девиз Анохин по-прежнему старался осуществить, доказывая, что требовать от корреспондента можно лишь в том случае, если досконально знаешь обстановку, в какой тот работает. А для этого начальник корсети должен вскоду побывать сам...

И частенько он влетает в комнату отдела корреспондентской сети возбужденный:

— Ну, старик! Опять оставаться тебе на хозяйстве. Я сметаюсь на денек...

И весело подмигнет. Значит, нашему начальнику снова удалось доказать редактору, что совершенно необходимо лично побывать на таком-то фронте.

А те короткие промежутки времени, что Анохин задерживается в редакции, уходят на проталкивание материалов в отделах.

Вот он углубляется в папки собкоров. Нахмурил густые брови. Чертыхнулся. И кричит в соседнюю комнату стенографисткам — они выполняют и обязанности секретарей отдела:

— Нонна Михайловна! Шванкова опять «зарезали»? Что же это они?..

И с папкой в руках побежал ругаться с ответственным секретарем редакции Карповым или с Шифриным, который в ту пору был заместителем редактора.

Он проводит дни в баталиях с начальниками отделов — Гатовским, Коломийцевым, Ризиним, отстаивая застрявшие

в отделах материалы корреспондентов. Кроме того, находится миллион других дел — все они укладываются в одну короткую, но очень емкую фразу: забота о семьях фронтовых корреспондентов.

И все же в редакции его видели не очень часто. «Наш начальник промелькнет, словно метеор, — говорили стенографистки, — и снова его не видно».

«Денек», на который Анохин «смазывался», затягивался на недели. А с узла связи гривозят посланные им пухлые телеграммы, или в телефонной трубке раздается его голос: «Материал обязательно в номер».

В свою последнюю фронтовую поездку Анохин выехал в январе 1943 года. За рулем «эмки» сидел Лева Панин, разбитной рязанский парень, уже немало поборовавшийся с корреспондентами по военным дорогам. Несмотря на молодые годы, к нему, с чьей-то легкой руки, накрепко привязалось уважительное имя — «Кузьмич», иначе краснозвездовцы его и не называли.

На этот раз Кузьмич отвез Анохина на Калининский фронт. Там происходили большие события. Красная Армия вела наступление на Великие Луки, игравшие значительную роль в системе немецкой обороны. В разных направлениях от города отходят десять шоссе и четыре железные дороги. Немцы превратили город в мощный узел сопротивления с развитой сетью дзотов, минных полей, противотанковых препятствий. Многие улицы были забаррикадированы, мосты взорваны, а пригородные деревни сожжены и сровнены с землей. Обороняла Великие Луки 83-я немецкая дивизия генерал-лейтенанта Шерера, а фланги прикрывались пехотными и танковыми частями.

1 января 1943 года, после долгих и упорных боев, наступая на пятидесятикилометровом фронте — южнее, севернее и восточнее Великих Лук, — Красная Армия освободила от оккупантов этот старинный русский город. Великие Луки взяли войска Калининского фронта, но в газете, видимо по соображениям сохранения военной тайны, все сообщения о боях за Великие Луки печатались с пометкой: «Центральный фронт».

Сюда, на этот участок фронта, и поспешила редакционная «эмка». Анохин прибыл в район Великих Лук как раз к тому времени, когда гитлеровцы начали свои контратаки.

Противник спешно подтянул свежие пехотные и танковые части и попытался пробиться к Великим Лукам с юго-запада и северо-запада. Вражеская группировка силой до пехотной дивизии с шестьюдесятью танками намеревалась пробить брешь в боевых порядках наших частей. Но план сорвали наши пехотинцы, умело взаимодействуя с артиллерией и «катюшами»; которыми командовал офицер Кислов.

О губительном действии залпов советских реактивных минометов, огневые позиции которых плотно прикрывали бронбойщики, читатели «Красной звезды» узнали из обстоятельной корреспонденции майора Анохина «Контратаки противника отбиты».

«Расчеты противотанковых ружей,— писал он,— расположившись в шахматном порядке, хорошо подготовились к встрече врага и спокойно ожидали его появления.

Слышен лязг гусениц, по полю разносится гул моторов. Ничем не выдавая себя, бронбойщики ждали благоприятного момента для стрельбы. Когда до немецких танков осталось всего 150—200 метров, со всех сторон полетели в них меткие бронбойные пули. Гвардии сержант Маташев поджег два танка, гвардии красноармеец Сергачев — один танк. Четвертая машина была сожжена гвардии младшим сержантом Гладковым.

Бронбойщики не позволили немецким танкам продвигаться к огневой позиции гвардейских минометов, и атака врага захлебнулась. Тотчас же после этого подразделение тов. Кислова переменило огневую позицию. Невзирая на сильный артиллерийский и минометный обстрел, гвардейцы-минометчики почти без потерь перебрались на новое место. Здесь быстро была организована связь, налажено наблюдение. И вскоре гвардейцы открыли огонь с новых позиций, окончательно остановив продвижение правой группы немецкой пехоты и танков».

Бои с небольшими перерывами продолжались. И «денек», на который Анохин покинул редакцию, снова затягивался на недели.

27 февраля наши войска форсировали реку Ловать. Анохин, узнавший об этом одним из первых, устремился туда. Как всегда, он был верен своей привычке все видеть собственными глазами, быть в гуще событий.

Следом, с интервалами в час или два, шли машины других корреспондентов. Они уже приближались к цели своей поездки, когда начался сильный артиллерийский обстрел и налетели шесть или семь «юнкеров». Пришлось остановиться. Люди успели попрятаться в щели, в воронки от снарядов.

А когда вражеский налет окончился и корреспонденты приблизились к командному пункту, расположившемуся в отбитых у врага землянках, их взору представилась изрешеченная осколками, искореженная, знакомая всем краснозвездовская «эмка»...

Бомба упала рядом с машиной.

Тут же на снегу лежал убитый шофер Панин. В кузове истекал кровью Анохин. Он был без сознания. Тяжелые ранения в грудь, в живот и множество мелких ран...

Товарищи отнесли Анохина в землянку медсанбата. Его даже успели положить на операционный стол.

На похоронах Анохину воздали воинские почести. Корреспондент «Правды» Борис Полевой сказал прощальные слова. В почетном карауле застыли корреспондент Совинформбюро Александр Евнович и корреспондент «Комсомольской правды» Сергей Крушинский. Под залп ружейного салюта гроб опустили в могилу.

Так закончил свою кипучую жизнь Александр Анохин, журналист, коммунист.

Он покоится в солдатской могиле у деревни Самушенки, около реки Ловать, между Великими Луками и Холмом.

Павел Трояновский

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КОСТИ БЕЛЬХИНА



В разгар Сталинградской битвы, то есть в конце 1942 года, читатели газеты «Красная звезда» начали все чаще и чаще встречать на ее страницах фамилию нового фронтового корреспондента К. Бельхина. Старые краснозвездовцы, разбросанные по разным фронтам, тоже обратили внимание на яркое пополнение в наших рядах. Слово «яркое» — не преувеличение. К. Бельхин даже небольшие корреспонденции писал очень хорошо, простым и ясным языком, без набивших оскомину газетных штампов.

Находясь на Северном Кавказе, я как-то по телефону говорил со Сталинградом. На той стороне провода был подполковник Леонид Высокоостровский — старший корреспондент «Красной звезды» по фронту. Спрашиваю его:

— Кто это у тебя К. Бельхин? Откуда он у нас появился?

Леня ответил:

— Это чудесный парень, замечательный молодой поэт. Мы его зовем просто Костей. У нас недавно, приехал с Севера из армейской газеты.

В июле 1943 года, приехав на Курскую дугу, чтобы сместить Петра Олендера, я услышал и от него примерно такую характеристику Бельхина:

— Молодой, растущий товарищ. Все время на передовой. Прямо оттуда передает свои корреспонденции в редакцию. Пишет хорошие стихи. Но об этом в редакции знаю только я и еще, может быть, Андрей Платонович Платонов, наш

писатель. Они сдружились и сейчас, по-моему, вместе сидят у артиллеристов в армии генерала Пухова. На Костю Бельхина можно положиться, ему можно давать любое поручение.

Вскоре я и сам познакомился с капитаном Константином Бельхиным. Это был высокий, красивый молодой мужчина, как-то сразу располагающий к себе. Большие руки, большой лоб, по-мальчишески пухлые губы. На боку — большая командирская кожаная сумка. Еле успели переговорить — явился Андрей Платонович Платонов:

— Идем, Костя, в саперную бригаду...

Они — Платонов и Бельхин — любили ходить по дорогам войны пешком, ездить на попутных машинах. «Потому что так всегда среди людей», — говорил Бельхин.

Биография Константина Яковлевича Бельхина обыкновенна. Родился в 1912 году под Казанью. Десятиклассником по мобилизации комсомола едет в деревню ликвидировать неграмотность. Потом физмат Казанского университета. Материальные трудности помешали учебе. Снова деревня. Литературный факультет пединститута. Армия. И, конечно, стихи. Писать начал рано, учился у Маяковского. В 1937 году Константин Бельхин приехал в Мурманск и тут стал газетчиком. Север надолго приковывает его. Он пишет очерки, корреспонденции и стихи. Хорошие, горячие стихи. Вот строки из вступления к поэме «Мурманск»:

Я знаю,
Мой город —
Совсем не красавец.
Здесь не бывал еще
Выдумщик-зодчий.
Здесь,
Возводимых кварталов касаясь,
Домишки стоят —
Не придумаешь проще.
И тот,
Кто увидит мой город
Впервые,
Пройдет — не заметит
И не поймет,
Что твердью булыжной
Легли мостовые
На зыбкость и топи
Вчерашних болот.
Нет ни аллеи,
Ни сада,
Ни парка.
Голые горы

Когда он писал стихи, мы не знали. Но он их писал.

И вот настал тот роковой день. Во второй половине августа 1943 года штаб Центрального фронта переезжал из поселка Свобода в село Михайловка — ближе к наступающим войскам. В политуправлении корреспондентам дали маршрут движения. У бригады «Красной звезды» было две автомашины «эмки». В одну из них погрузились лейтенант Владимир Кудрявцев, капитан Константин Бельхин и пишущий эти строки. Водителем у нас был Валетов — замечательный, скромный парень, тоже погибший на войне.

Был очень хороший день.

— Это как раз плохо, — заметил Владимир Кудрявцев. — Хороший день — смотри за воздухом.

Сказано было правильно. Всю дорогу до города Дмитриев-Льговский следили за воздухом и два раза выпрыгивали из машины в кювет — враг бомбил дорогу.

У Дмитриева-Льговского — большой затор машин. Бензовоз повредил мост, и на дороге с обеих сторон — пробка. Мы свернули с дороги и по фронтовой привычке спрятали машину в кусты.

Прошел час. Каждый из нас занимался своим делом. Костя Бельхин «чистил» (как он говорил) очерк о саперах первой гвардейской бригады. Володя Кудрявцев с Валетовым монтировали еще один запасной баллон. Я работал над картой, готовя обзорную статью о нашем наступлении на Украине. И вдруг крик Валетова:

— В воздухе — немцы!

Со стороны Курска — из нашего тыла — шла высоко в небе девятка фашистских «юнкерсов». Мы все остались на своих местах. Высокий берег речки отбрасывал на нас тень. По врагу была наша зенитная артиллерия. Строй самолетов разделился — три повернули на юг, шесть продолжали идти курсом на Дмитриев-Льговский. Вот показались наши истребители. И тут мы увидели, как от самолетов отделяются черные сигары бомб. Потом услышали характерный свист. Потом зазвенело в ушах, затряслась земля.

Фашисты сбросили шесть бомб, и все они разорвались возле нашей стоянки. Несколько минут я ничего не слышал и не видел. Затем зрение вернулось, и первое, что я увидел, — был распростертый на земле Кудрявцев. Верхняя часть спины его была оголена и сочилась кровью. Я кинулся к нему, срывая с себя гимнастерку и нижнюю рубашку. Лицо Кудрявцева было бледно, как полотно. Он что-то мне

говорил, но я не слышал. Перевязывая его спину кусками своей разорванной рубашки, я вдруг увидел краешек реки. На воде, ближе к берегу, образовалась красная полоса. Перевел взгляд левее — и обомлел. Головой к воде лежал Костя. Осколки бомбы поразили его в голову и грудь.

Машина была разбита вдребезги.

21 августа мы хоронили Костю Бельхина в селе Михайловка Курской области. Были речи. Девушки из политуправления украсили могилу живыми цветами.

А фронт шел вперед и вперед. Впереди были и полтора с лишним года войны.

И мы помнили и любили нашего Костю всегда. Помним и любим его и сейчас.

Николай Добротворский ОНА БЫЛА КОРРЕКТОРОМ...



В 1937 году Мила Филиппова, только что окончившая десятилетку, поступила на работу в редакцию островской районной газеты «За колхоз» на должность корректора.

Небольшой коллектив газетчиков встретил девушку настороженно: справится ли, должность ответственная, требует большого опыта, знаний. И каждый, начиная от редактора, старался помочь Миле... Она с благодарностью принимала помощь товарищей и вскоре стала так «чисто» вычитывать гранки, что в сверстанной полосе не оставалось ни единой ошибки. Девушке нравился шумный и задорный коллектив редакции, неповторимый запах типографии, стук печатной машины, непрерывные телефонные звонки, немногословный редактор и постоянные гости редакции селькоры — загорелые комбайнеры, степенные льноводы, чумазые трактористы, робкие школьники, приносившие свои заметки, рассказы, стихи.

Как-то Мила разоткровенничалась с друзьями, робко высказала свою мечту стать журналистом.

Но мечте этой не суждено было осуществиться.

...4 июля 1941 года, после долгих и упорных боев, наши войска покинули город Остров. Но в нем осталось много юношей и девушек. Это были вчерашние ученики городских школ, комсомолы, люди, для которых только начиналась самостоятельная жизнь. В эти тяжелые дни каждый из них понимал, что сидеть сложа руки нельзя, надо бороться с

врагом, помогать Родине. К удивлению многих, стало известно, что в городе осталась старшая пионервожатая средней школы имени В. И. Ленина Клава Назарова. При первой же возможности, не сговариваясь, друзья собрались в доме Клавы. Пришла сюда и Мила Филиппова.

Юноши и девушки горячо говорили, что нельзя терять времени, надо начинать борьбу, предлагали связаться с партизанами, собирать оружие, наладить прием московских радиопередач, сообщать населению о положении на фронтах...

— Не горячитесь, друзья! — неожиданно заговорила Клава. — Мы будем бороться, мы создадим организацию, свяжемся с коммунистами, будем действовать под их руководством. Помните: борьба у нас будет трудной. Здесь, в тылу врага, мы остались бойцами Красной Армии...

Не сразу друзья поняли, что Клава осталась в Острове для работы в подпольной партийной организации, что она имеет задание партизанского командования создать молодежную подпольную организацию.

...И Людмила Ивановна Филиппова стала солдатом, бойцом подполья.

По совету Клавы она устроилась прачкой в немецкую воинскую часть, а затем перешла на работу в городскую столовую официанткой. Здесь питались офицеры, и Мила, понимавшая немецкий язык, слушала разговоры подвыпивших гитлеровцев, которые выбалтывали много нужного и ценного для подпольщиков.

Кроме того, она получила в комендатуре пропуск, с которым могла в любое время ходить по городу. И не случайно на многих домах тех улиц, по которым ночью возвращалась домой «любезная» официантка, появлялись листовки с сообщениями Совинформбюро, с призывами уходить в партизанские отряды...

Никто из гитлеровцев не подозревал, что это дело рук вежливой и обходительной «фрейлен Милы», с которой раскланивались даже многие офицеры — частые посетители столовой.

Она была вне всяких подозрений. Однажды, не без труда достав пистолет, Мила ехала в автобусе. Пистолет лежал у нее в сумке, его надо было передать Клаве Назаровой. На одной из остановок в автобус вошли офицер и двое солдат. Это была очередная облава. Солдаты в первую очередь стали обыскивать мужчин. Мила, узнав в офицере частого посе-

тителя столовой, не растерялась и шутливо спросила: «Неужели солдаты будут обыскивать и женщин?» Офицер, увидев Милу, любезно улыбнулся ей и даже предложил помочь. «Мне некогда», — ответила Мила. На следующей остановке она сошла. Пистолет Клаве был доставлен благополучно...

В октябре 1941 года на коротком заседании группы подпольщиков обсуждался вопрос о бесперебойной связи с партизанами, о выполнении поручения командования. На этом совещании выступила Мила Филиппова с сообщением о том, что в школе, где учились многие из подпольщиков, размещалась крупная карательная полицейская часть. С гневом говорила Мила о том, что враги нашли себе уют и тепло в стенах любимой школы.

На заседании разработали план поджога школы, который через несколько дней был осуществлен. И как ни старались гестаповцы — виновных найти не удалось.

В канун Первого мая 1942 года комсомольцы-подпольщики собрались в доме Назаровой, чтобы обсудить, как отметить всенародный праздник. Подпольщикам стало известно, что в этот день в бывшем Доме культуры должен состояться офицерский бал.

Было решено сообщить об этом партизанскому командованию. И в полночь, когда фашисты веселились, над городом послышался рокот советских бомбардировщиков. Цель им указали комсомольцы-подпольщики. Гнездо гитлеровцев было уничтожено.

В 1942 году на окраине Острова гитлеровцы установили мощную радиостанцию. Здесь же был телефонный узел, от которого тянулись провода в штабы частей, расположенных в городе и окрестностях. Мила Филиппова со своими друзьями несколько раз выводила из строя телефонную связь. Подпольщикам удалось установить порядок охраны станции, время смены постов.

Сведения эти они передали партизанам, которые вскоре взорвали станцию.

В октябре 1942 года подпольщики написали письмо воинам Красной Армии. Переправить его через линию фронта поручили члену организации Саше Козловскому с несколькими друзьями.

В пути смельчаки наткнулись на полицейский отряд. Завязалась схватка. Саша Козловский, не желая сдаваться в плен, подорвал себя гранатой...

На другой день в Острове начались аресты. Арестовали Клаву Назарову. Ее долго пытали, желая вырвать сведения о подпольщиках, но отважная патриотка молчала. 15 декабря 1942 года гитлеровцы повесили Клаву Назарову. Впоследствии Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил ей звание Героя Советского Союза.

Казню Клавы фашисты хотели запугать непокоренных, но случилось обратное — борьба подпольщиков стала более активной, дерзкой и в то же время осторожной. Через несколько дней под откос пошел воинский эшелон, на улицах все чаще и чаще стали появляться листовки...

Этой борьбой руководила Мила Филиппова, ставшая во главе организации после гибели своей боевой подруги. Каждые три дня она передавала партизанскому командованию сведения о фашистских войсках, подписываясь условным именем «Катя». Мила сумела достать и переправить партизанам план расположения воинских частей в городе, сотни чистых бланков немецких паспортов, организовала нападение на колонну вражеских автомашин. По заданию Милы был сожжен лесопильный завод, выведено из строя более сотра тракторов, которые гитлеровцы хотели использовать на сельскохозяйственных работах.

Нелепый случай помог фашистам напасть на след подпольщиков. Утром 23 августа 1943 года гитлеровцы схватили Милу Филиппову. В течение месяца ежедневно вызывали на допросы, избивали, но Мила молчала, не выдала друзей. Вместе с ней в тюрьму были брошены активные члены организации Олег Серебрянников, Саша Митрофанов и армейская разведчица Зоя Круглова, известная в городе под фамилией Байгер. Молодых патриотов зверски пытали, но все они проявили высокую стойкость и мужество.

Гестаповцы уже не надеялись получить от них какие-либо сведения. Однако в самый последний момент они еще раз попытались сломить стойкость Милы...

Гестаповцы привезли ее домой. Четырехлетняя Инночка, увидев мать, обрадовалась, протянула к ней худенькие ручонки.

Наблюдавший за этим офицер-гестаповец, улыбаясь, спросил:

— Разве вы, Филиппова, хотите оставить свою дочь сиротой? Неужели вам не жаль навсегда расстаться с нею?

Мила обнимала и целовала любимую Инночку, шептала:

«Нет, я не предам...» Потом она увидела на столе свою фотографию.

Присев к столу, Мила торопливо написала на обороте своей фотографии: «Милой, дорогой моей дочурочке от крепко любящей ее мамульки. Милая моя крошка, храни эту карточку, ибо она тебе напомнит мать. Будешь большая, вспомнишь ее. Дорогой крошке от мамульки. Расти, моя милая, будь счастлива. Мама».

Через несколько минут ее снова увезли в тюрьму.

На рассвете 9 сентября 1943 года подпольщиков расстреляли. Мила Филиппова оставила на стене тюремной камеры, где она сидела, надпись: «Филиппова Мила. Камера № 24. Сижу с 23.VIII.43 г. Сижу одна. Жду приговора. Думаю, что расстреляют. Да, жить еще хочется».

16 лет было неизвестно место расстрела Милы Филипповой, Зои Кругловой и их друзей. В 1959 году комсомолыцы Острова решили во что бы то ни стало разыскать место казни героев. Вскоре в одном из перелесков, в семи километрах от города Острова, были обнаружены останки Милы Филипповой и ее друзей.

Прошли годы. Выросла Инна, дочь героини. Кончила школу, получила специальность и ныне работает в городе Острове на заводе, цехи которого находятся на территории бывшей тюрьмы, где когда-то томилась ее мать, переноса нечеловеческие пытки.

Она, Инна, уже сама ставшая матерью, гордится подвигом матери и сыну своему Александру рассказывает о бабушке, ставшей народной героиней.

Имена павших стали легендой, из уст в уста передаются рассказы об их мужестве...

В ряду бессмертных — имя Милы Филипповой, отважной комсомолки, скромной сотрудницы районной газеты, ратный подвиг которой в канун 20-летия Победы над фашистской Германией посмертно увенчан орденом Отечественной войны I степени.

Евгений Каменецкий НА «МАЛОЙ ЗЕМЛЕ»



Пыльные большаки Дона. Гитлеровская армия рвется в глубь страны, к бакинской нефти. С рассвета и дотемна в безоблачном небе висят самолеты со свастикой. Бомбы летят на города, на колонны людей, уходящих к предгорьям Кавказа.

В одной из станиц, оторвавшись, наконец, от наседающего врага, приводим себя в порядок, просматриваем записи, сделанные невесть где и каким образом, вспоминаем тревожные часы в Ростове-на-Дону.

Тогда мы подошли к городу на катере из Азова, где базировался Верхне-Донской отряд Азовской военной флотилии, чтобы передать по телеграфу репортаж в Москву. Девушка в окошечке приняла от нас телеграммы почти в две тысячи слов, написанные от руки, обещала тотчас дать их на аппарат. Обрадованные успехом, словно корреспонденция уже лежала на редакционном столе, мы тепло распрощались с девушкой. Но отошли от почты не более ста шагов, как вместе с сигналом воздушной тревоги над городом появились вражеские самолеты, раздался стук зениток, свист и взрывы, один за другим. Вокруг почты стояло лишь облако пыли...

И теперь, отдыхая в сравнительно спокойной станице, мы говорили о фронтовых встречах и расставаниях.

— Давай хоть сфотографируемся на память о лете сорок второго, — предлагает Мирошниченко.

Усаживаемся на скамейке под огромными деревьями, он кладет на мое плечо свою большую руку, улыбается, чуть щуря темные добрые глаза.

А сейчас передо мной лежит снимок тех, уже таких далеких, лет...

Ивана Афанасьевича Мирошниченко я знал очень давно. Мы познакомились на Вседонецком слете юнкоров, не то за четырнадцать, не то за тринадцать лет до войны. Потом, много лет спустя, встретились в Таганроге, куда меня привела очередная редакционная командировка. Мирошниченко работал в портовой многотиражке. И, наконец, сорок первый... Затемненная Москва. Оба мы — политруки, идем с Большевицкой улицы на Красной Пресне, где помещалась тогда редакция центральной военно-морской газеты «Красный Флот». Последний вечер в Москве. Завтра в путь-дорогу. Мирошниченко едет собором на Дунайскую флотилию, я — в Выборгский укрепленный район на Балтике. Долго бродим по затемненным улицам столицы, потом сидим у меня на третьем этаже, в маленькой комнатухе на улице Герцена. Где свидимся еще раз?

...Первого июня 1942 года по срочному вызову я прибыл в Москву. Заместитель редактора полковой комиссар А. Дивавин, неизменно веселый, говоривший всегда с шуткой и прибауткой, на сей раз был сдержан, краток: «В Москве в другой раз задержишься подольше. Собирайся на Азовскую флотилию, разыщи Мирошниченко, есть данные, что его царапнуло, а он молчит. Искать начинай, пожалуй, с Ростова...»

Так я оказался на Дону. Мирошниченко, действительно, был ранен, но быстро поправился. Здесь мы встретились и долго не расставались. Весь нелегкий путь от верховьев Дона до Кавказа сквозь огонь и дым прошли вместе.

В один из очень тяжелых дней отступления мы оказались на хуторе, прижатом к морскому побережью. Где-то вдали несмолкаемо гудела артиллерия. Как назло, меня совсем «развезло», температура поднялась до 40 градусов, и Мирошниченко настоял на том, чтобы тут переждать хотя бы до вечера, нашел где-то фельдшера. Я согласился, уснул, а Мирошниченко куда-то исчез. Явился он лишь поздней ночью — возбужденный, в порванном киле, посеревший от пыли, с исцарапанным лицом. На рассвете канонада в тылу подняла нас, и мы снова двинулись в путь. Все никак не выпадал удобный час, чтобы Иван мог рассказать о происшедшем, а на третий день мы оказались возле авиабазы, откуда мне представилась возможность вылететь в Москву для доклада редактору. Мирошниченко уединился и стал

писать, я старался его не отрывать. А когда он окончил, поступила команда «дугласу» срочно вылететь, и я увез с собой пакет. Прибыв в редакцию, немедленно сдал его в отдел, а сам с разрешения главного редактора П. И. Мусьякова ушел отсыпаться. Когда же на следующий день пришел в редакцию, редактор меня встретил укором: «Почему сразу не доложил, что привез?»

Оказывается, я привез корреспонденцию, которая была остро необходима в тот едва ли не самый тяжелый период войны. Но я не знал содержимого пакета, сдал его в отдел, ни о чем не предупредив. Когда же ночью начальник отдела Александр Баковиков прочитал ее, он даже вскрикнул от неожиданности. Это был самый настоящий «гвоздь» номера. Корреспонденцию тотчас показали начальнику Главного политуправления Военно-Морского Флота И. В. Рогову, а на следующий день, 29 августа 1942 года, очерк Ивана Мирошниченко «Бессмертный подвиг двадцати пяти краснофлотцев» появился одновременно в «Правде» и «Красном Флоте».

...К линии фронта шел железнодорожный состав с боеприпасами. В одной из теплушек возвращались из госпиталей на свои корабли и в части двадцать пять моряков. И вдруг — резкое торможение. Поезд остановился. Впереди разобран путь. Автоматные очереди. Немецкая речь. Это действовал в нашем тылу вражеский десант. Бой — другого выхода не было. И двадцать пять моряков, разбившись на четыре группы, начали неравную схватку. До последнего дыхания советские матросы, возглавляемые минером Иваном Никулиным, остались верны своему долгу, отстояв эшелон с боеприпасами.

Вскоре писатель Леонид Соловьев, в то время корреспондент нашей газеты, взяв за основу эту корреспонденцию, написал повесть «Иван Никулин, русский матрос». Вышел и одноименный фильм.

Но случилось так, что в то время не могли найти Никулина. Мирошниченко тяжело переживал это и хотел было сам отправиться на розыски, но его ждало новое боевое задание, с которого он не вернулся...

Не знаю, нашли ли тогда тех героев, о которых писал Мирошниченко. Но я помню, чем была тогда газетная корреспонденция Ивана Мирошниченко. Ее передавали многие радиостанции, перепечатали десятки изданий, ее читали перед боем. Пример русского матроса вел людей на подвиги.

Мирошниченко был журналистом, который считал — с чем не всегда можно было согласиться, — что писать на войне следует лишь о том, что сам испытал, пережил, увидел. Сам он старался бывать в гуще событий.

В Ейске, например, он упросил командира авиачасти взять нас в боевой полет. И мы поднялись на «эмбээрах» (морской ближний разведчик) в ночное небо. Во тьме лежали под нами азовские города — Бердянск, Мариуполь, Таганрог. Нужно было видеть, как блестели глаза Мирошниченко, когда спустя несколько часов он вылезал из самолета.

— Представляешь, каково было мне оказаться над Таганрогом с грузом бомб? Ведь отсюда я ушел на войну. Здесь учился мой сын, — сказал он и достал его тетрадь, которую хранил у себя.

Помню первые военные репортажи Мирошниченко с Дуная, из-под Одессы, Николаева, Херсона. Если он писал о катерниках, знай — его вместе с ними бросала морская волна, если говорил о морских пехотинцах — значит, он в их рядах. Так оказался военный журналист, собственный корреспондент газеты «Красный Флот», на «Малой земле», как называли наш плацдарм у Новороссийска, чтобы читатели газеты узнали имена новых героев.

Погиб Иван Мирошниченко при штурме Новороссийска 10 сентября 1943 года. С первым эшелоном 255-й Краснознаменной бригады морской пехоты Мирошниченко высадился на западном побережье Цемесской бухты. Десант попал в крайне тяжелое положение. Вот как рассказал об этом в боевой характеристике военного корреспондента ныне тоже уже покойный командир бригады полковник Алексей Степанович Потапов:

«Тов. Иван Мирошниченко — участник морского десанта в г. Новороссийск. Находясь на СК-85*, он под сильным артиллерийским и пулеметным огнем в числе первых высадился на занятый противником берег и вместе с бойцами 14-го батальона морской пехоты пошел на освобождение берега от немцев. При этом т. Мирошниченко противотанковой гранатой уничтожил группу фашистов, шедших на них в атаку. Вместе с пятью бойцами, которых он возглавил, Мирошниченко в течение суток оборонял занятый рубеж, ни на шаг не отступая, невзирая на неоднократные атаки немецкой пехоты и танков.

* СК — сторожевой корабль.

В неравной схватке с противником Иван Афанасьевич Мирошниченко погиб смертью храбрых. Тов. Мирошниченко достоин правительственной награды посмертно — ордена Отечественной войны I степени».

Орденом Отечественной войны II степени он был награжден Президиумом Верховного Совета СССР еще раньше — одним из первых среди военных корреспондентов. Приказом командующего Черноморским флотом от 5 ноября 1943 года Мирошниченко был награжден вторым орденом — Отечественной войны I степени.

Я не знаю, вспоминал ли в своем последнем бою старший лейтенант Иван Мирошниченко матроса Ивана Никулина. Но я знаю, что автор повторил подвиг своего героя.

...Это краткое воспоминание о друге я пишу спустя десятилетия после нашей последней встречи. Сейчас ему было бы за шестьдесят. Но в моем сердце он живет даже не таким, каким я его оставил на фронте, а тем молодым шахтером, комсомольцем, с которым мы встретились на Вседонецком слете юнкоров.

Тогда у нас была впереди вся жизнь...

Мартын Мержанов

НЕ ЗНАЛ, ЧТО ПРОЩАЮСЬ НАВСЕГДА



Есть люди скромные, молчаливые, неприметные и на первый взгляд спокойные. Они не сразу открывают перед тобой грани своего характера, не сразу говорят с тобой «по душам» и как-то очень внимательно созерцают окружающий мир. Таким был Ваня Ерохин — военный корреспондент «Правды», мой соратник по Северо-Кавказскому фронту. Он не терял присутствия духа в минуты бомбежек или артиллерийского обстрела, но и мало менялся в минуты корреспондентских «привалов», когда лихая песня сменялась лихими анекдотами.

Но даже короткое фронтовое общение, первые же разговоры о тайных планах проникнуть на опасный участок фронта — в горы или бухту — меняли этого, казалось, невозмутимого человека. Он становился живым, беспокойным, стремительным.

А ситуация тогда была архисложнейшая. В горах Кавказа шла война. Гитлеровцы рвались к Черному морю. Сражения шли на вершинах горных хребтов, на Клухорском и Марухском перевалах, на подступах к Туапсе, на окраинах Новороссийска, который находился в руках врага.

Связь с редакцией была нерегулярной, поэтому мы — правдисты — время от времени собирались и проводили заседания своей «местной редколлегии». Бывало это в тех случаях, когда на важный для нас вопрос долгое время не было из Москвы ответа. Тогда мы сами принимали решение. Так,

мы решили, что Иван Дмитриевич Ерохин будет прикомандирован не только к Черноморскому флоту, о котором упоминалось в его командировочном предписании, но и к морякам на суше, которые сражались на станции Шаумян под Туапсе, в горах, в ущельях, в долинах рек.

Это была горячая и тяжелая пора войны на Северном Кавказе.

Почти все дороги к фронту из станицы Холмской, где располагалась наша корреспондентская штаб-квартира, находились под обстрелом вражеских орудий, установленных в горах близ Новороссийска. Было известно, что «проскочить» к морю можно только два раза в день: от часу до двух, когда существовал негласный «обеденный перерыв», и вечером, в сумерки.

Но однажды мы, желая сократить путь к Фальшивому Геленджику, поехали горными ущельями, мало известной дорогой. Это тоже было рискованно, так как здесь бродили разведывательные вражеские группы.

Где-то на узком повороте у маленькой горной речки мы встретили «эмку». Из машины вышел Ваня Ерохин. Он направлялся на батарею известного тогда Матушенко и очень спешил. Ваня подробно рассказал нам, как нужно выехать на Кабардинку, а оттуда по берегу к Фальшивому Геленджику. По его рассказу можно было понять, что он эти ущелья и горы знает, как улицы родного города.

— Немецкие отряды бродят здесь?— спросили мы.

— Бродят.

— Будь осторожен.

— А у меня все есть,— и он показал сначала на автомат, лежавший на сиденье, а затем, улыбнувшись, на кобуру револьвера.

Мы попрощались и разъехались. Он — в горы, а мы к морю.

Характерная черта Ерохина — неусидчивость. Когда затихали бои под Новороссийском, в полку Героя Советского Союза Каданчика, на цементных заводах, Ваня тут же телеграммой сообщал мне: «Выехал в Ейск, в Приморско-Ахтарскую, на Азовское море». А однажды я получил сообщение: «Ухожу в плавание». Затем я узнал, что в плавание он уходил на подводных лодках к берегам Крыма.

Постоянным же его местом жительства была одна из воинских частей под Новороссийском. Он облазил разбитые корпуса цементных заводов, через которые проходила линия

фронта. Этот участок он знал великолепно. Кто-то сказал, что Ваня здесь знает каждый камешек и каждый кустик. И это было близко к истине.

Он мне однажды рассказал о героях, оборонявших так называемый «сарайчик». Это был обыкновенный сарайчик из камня, которых в этих районах множество, потому что здесь камень дешевле леса и кирпича. В сарайчик когда-то складывали тару из-под цемента, а теперь сарайчик — огневая точка в двадцати метрах от вражеской линии обороны, бельмо в глазу. Ничего гитлеровцы с сарайчиком сделать не могли, так как там жил боевой гарнизон, умеющий не только «огрызаться», но и ночами устраивать налеты на вражеские позиции. Он слышал об этом гарнизоне и направился к их командиру Тулсумбекову. Не помню, написал ли он в «Правду» о «сарайчике», но рассказывал о нем вдохновенно.

Однажды в тихий день, когда почему-то умолкли пушки и зенитки и не слышно было пулеметной дробы и отдельных выстрелов «кукушек», мы направились на передовую позицию под Новороссийском. Конечно, в качестве спутника я избрал Ерохина и не ошибся. Мы шли по лесу, то поднимаясь на пригорки, то спускаясь, пока не дошли до волнистой линии траншей. Они были так замаскированы, что заметить их можно было только в непосредственной близости. Сели мы на холмик.

— Это и есть так называемый передний край наших войск, — сказал Ерохин.

Тропа вела вниз, в заросли кустарника, а за ним текла невидимая речка и подымалась гора, светившаяся под осенним солнцем желто-красной листвой. В тумане виднелись другие горы, которые были частью города. У их подножья выросли цементные заводы, рабочие поселки, парки. Невидимая речушка была ничейной — границей фронта.

Я смотрел на противоположную гору с нескрываемым восторгом. Картина была величественная. На ней лежал отпечаток покоя, и казалось, ни один листик в этот полуденный час не шелохнется на деревьях. Здесь легко хоть на минуту забыть о войне, об огнях и пожарах.

И вдруг я заметил, что в одном месте, как раз против нас, над желто-красной кроной появился голубоватый дымок. Он лениво окутывал верхушки деревьев, расползался по сторонам.

— Что это? — спросил я.

Ваня посмотрел на часы и спокойно сказал:

— Немцы походную кухню зажгли. Сейчас мы увидим, как они с ведрами спустятся к речушке за водой.

— Как? На глазах наших солдат?

— Да,— спокойно ответил Ерохин.— В условиях горной войны, где негде достать воду, появился никем не писанный закон: если солдат идет за водой, не стрелять!

— Есть такой приказ?

— Нет, приказа такого нет, но это обоюдная условность, рожденная у солдат и действующая безотказно.— Немного помолчав, Ваня добавил:— Ведь нашим тоже нужна вода, и немцы в наших солдат с ведрами тоже не стреляют.

Я сидел и внимательно глядел на гору и никак не мог примирить в себе два чувства: ненависть к врагу и миролюбие к человеку. Пока я углубился в философские раздумья, на той стороне действительно появились солдаты, которые как-то демонстративно размахивали ведрами, подчеркивая, что настал час «обеденного миролюбия». Они спустились к речке, набрали воду и теперь уже медленно поднимались в гору, к желтым, дымящимся кронам горного бука.

Вскоре мы увидели и своих солдат, бегущих к речке. Это — быт войны, о котором мог знать лишь человек, часто бывающий в этих лесах. Ерохин знал.

В эти же дни, когда мы бродили в лесах, я ближе познакомился с Ваней. Он ведь пришел к нам в «Правду» уже в годы войны. Мы не встречались с ним в длинных коридорах редакции, не сидели в просторных залах на летучке, не спорили на отдельных планерках. Как-то пришла на нашу фронтową квартиру телеграмма из «Правды» от Ивана Золина: «К вам направляется старший лейтенант Ерохин, прикомандируйте его к Черноморскому флоту». Вот и все. Посидели мы, помнится, в Краснодаре один вечерок — и расстались, договорившись только о том, что он будет ставить меня в известность о всех своих передвижениях. Договорились — и разъехались...

А вот теперь, развалившись на плащ-палатках, мы незаметно начали рассказывать о себе, о журналистской профессии, о воинской службе и долге. Я рассказывал ему о «Правде» и видел, как он внимательно вслушивался в каждое слово. А он мне говорил о своей жизни, которая по существу только начинала складываться. Она была типична для молодого человека нашего времени: крестьянский сын, окончил семилетку, педагогический техникум, заведовал избой-читальней, сотрудничал в районной газете. Затем служба на

флоте — Балтийском и Тихоокеанском — и снова учеба, на сей раз в Ленинградском Коммунистическом институте журналистики, в Высшей партийной школе. И тут война, «Правда», Черноморский флот.

Я лежу на спине и слушаю неторопливый рассказ начинающего журналиста, полного желаний, стремлений, планов. Из его рассказа можно было понять, что он рад своему назначению на этот участок фронта, где идет борьба и на море, и на суше, и в горах.

После мы часто виделись с Ерохиным. Меня тянуло в Фальшивый Геленджик, где располагалась редакция газеты 18-й армии «Знамя Родины». Ее редактировал мой близкий друг — Володя Верховский, там же работали правдист Боря Галантер и будущий правдист Сережа Борзенко. Это была хорошая, дружная и, можно сказать, героическая редакция, которая притягивала к себе всех фронтовых корреспондентов. Там мы встречались и с Ерохиным, ибо именно там мы информировались в политотделе армии, начальником которого был полковник Л. И. Брежнев.

Летом гитлеровцы ежедневно, а иногда и по несколько раз в день совершали массированные налеты на Солнцедар. В эти дни Ваня переехал к зенитчикам, которые хотя и вели огонь по самолетам, но и сами подвергались бомбовым ударам. Над Солнцедаром и над морем разыгрывались сильные воздушные бои. Я ему однажды сказал:

— Вовсе не обязательно для тебя наблюдать каждый воздушный бой, как и не обязательно присутствовать при каждой артиллерийской дуэли батареи Матущенко.

— Я и сам знаю, что не обязательно, — ответил он. — Но очень интересно.

Журналистская любознательность и храбрость привели его на так называемую «Малую землю».

Что это за «Малая земля»?

Из Кабардинки видна продолговатая гора. С трех сторон ее омывает море, а четвертой своей стороной она примыкает к Новороссийску. Гора «по глотку» погружена в море и образует мыс, который всегда находится под морскими ветрами и отвесными своими скалами принимает первые удары шторма. Близ горы — множество больших камней. Они, как сторожевые псы, торчат из воды, словно оберегая подступы к земле.

Трудно представить более неподходящее место для высадки десанта, чем Мысхако. Гитлеровцы и думать не могли,

что возможна операция в районе отвесной горы. Они были спокойны за этот участок фронта.

В феврале 1943 года отряд морской пехоты в 800 человек под командованием майора Цезаря Куникова — журналиста, бывшего редактора газеты «Машиностроение» — совершил исключительную по своей дерзости и редкую по храбрости ночную высадку на полуостров. Перед самым отходом от берегов «Большой земли» Куников прочел морякам воззвание, которое кончалось словами: «Победа должна быть за нами, мы ее добьемся. Черноморские моряки затянут петлю на шее бешеного волка. Через несколько часов горячий бой. Проверь, как ходит затвор твоего автомата. Приготовь верные свои гранаты!»

Катер не мог подойти к берегу, а потому бойцы высаживались в воду. Нагруженные ящиками с боеприпасами, продовольствием, автоматами, гранатами, они шли к пустынному берегу. Затем морская пехота вышла на вершину горы, спустилась в балку, обезоружила гитлеровские патрули и направилась к Цемесской бухте, к домикам винсовхоза, к предместью Новороссийска — рыбацкому поселку Станичка. Тогда-то и начался кровопролитный бой, который долго не утихал. Но уже днем была получена радиограмма Куникова: «Отряд находится в районе улицы Комаровской, занимает часть Станички и железную дорогу, идущую на Суджукскую косу».

Сразу же были вырыты блиндажи вдоль балки, заминированы подходы к Станичке, а гитлеровцы вылезли на господствующую высоту и обрушили огонь на отважных моряков. Так начала жить «Малая земля» — в огне, в дыму, простреливаемая со всех сторон, всегда содрогаясь от ударов снарядов, фугасных бомб. Все старания врага сбросить наших десантников в море не увенчались успехом. Отряд Куникова завоевал небольшую территорию, которой суждено было стать самым левым флангом всего советско-германского фронта.

Завоевание этой территории было особенно важно потому, что регулярные наши войска, находившиеся на «Большой земле», то есть на шоссе Новороссийск — Туапсе, вели борьбу на южной окраине города, у цементных заводов и в горах. Они были отдалены от малоземельских отрядов лишь небольшим проливом, который составлял вход в бухту. Таким образом, благодаря десанту морских пехотинцев город

был взят нашими войсками в полукольцо, и гитлеровцы окончательно потеряли Новороссийск как порт.

С этим, конечно, не хотело мириться германское командование. Довольно крупными силами, в том числе и танками, гитлеровцы начали атаку на этот клочок земли. Вся сила артиллерийского, минометного, автоматного огня была обрушена на «Малую землю», танки делали неоднократные попытки прорвать линию нашей обороны; авиация регулярно совершала массированные налеты бомбардировщиков и штурмовиков. «Малая земля» дрожала и стонала. Все морские подходы к ней были заминированы магнитными, электрическими и простыми минами. Стоило только показаться нашему катеру или даже лодке, как вражеская артиллерия начинала жестокий обстрел. Но связь с «Малой землей» нужно было поддерживать. Войска нуждались в снарядах, патронах, минах, хлебе, мясе, газетах. Нужно было систематически давать подкрепление, нужно было вывозить раненых. И катера шли из Геленджика и Кабардинки на «Малую землю», шли минированными водами, под обстрелом, под огнем вражеских катеров, под слепящими лучами прожекторов, шли, принимая бой с моря, с воздуха, с гор. «Малая земля» была поистине маленьким Севастополем, но с той только разницей, что Севастополь был городом, имеющим большие каменные дома, а «Малая земля» была открытым местом, подверженным обстрелу со всех сторон. Все бойцы и офицеры жили под землей. Каждый выход на поверхность, будь то днем или ночью, когда лучи вражеских прожекторов освещали всю территорию, был рискованным. В такой обстановке герои «Малой земли» — краснофлотцы, красноармейцы, офицеры, врачи, политработники, журналисты, фотокорреспонденты, кинооператоры — жили семь месяцев. Ни один человек на «Малой земле» не дрогнул. Все малоземельцы выстояли, выдержали натиск врага.

Сейчас, когда все это стало историей, хочется с гордостью вспомнить, что на «Малой земле» были и члены нашего журналистского братства — Владимир Верховский, Борис Галантер, Иван Ерохин, Борис Галин. Они были там в самые тяжелые дни. Каждая поездка на «Малую землю» на катере и возвращение на «Большую землю» были сопряжены с большой опасностью. Особенно страшны были магнитные мины.

Когда уходили на «Малую землю», никто не был уверен в благополучном возвращении. Борьба на короткой морской

коммуникации от Кабардинки до «Малой земли», как и борьба на самой «Малой земле», была полна незабываемых подвигов и требовала жертв.

Я помню такой эпизод. В комнату, где сидел генерал, вошел боец и, взяв под козырек, спросил:

— Разрешите обратиться?

— Вы откуда?— спросил генерал.

— С «Малой земли».

Генерал встал из-за стола, пошел навстречу бойцу и двумя руками пожал его руку.

Люди, находившиеся на «Малой земле», заслуженно пользовались большим почетом и уважением во всей армии, на всем фронте.

Не раз побывав на «Малой земле», Ерохин имел ясное представление о том, что там творится. Отныне все внимание его было обращено на этот небольшой, но горячий участок фронта. Ваня последовательно и упорно вникал во все детали борьбы за Новороссийск, за порт, за морские коммуникации. Теперь уже вопрос о городе не мог быть решен без «Малой земли». Ерохин по нескольку дней находился на знаменитой батарее Матушенко, часто бывал на батарее Зубкова, которая прикрывала вход в Новороссийскую бухту. Иван Ерохин был желанным гостем и на базе торпедных катеров и на аэродромах морских летчиков.

Последний раз я виделся с Ваней в августе 1943 года. В светлую лунную ночь мы сидели на берегу Черного моря. Перед нами лежала «Малая земля», мертвый Новороссийск. Мы их узнавали только по взрывам снарядов, по вспышкам зенитных огней, по розовому дыму пожаров. К нам отчетливо доносились разрывы бомб и изредка слышны были шумы самолетов. Ерохин смотрел на эту знакомую и страшную картину войны и вспоминал всех своих друзей, бывших в эту минуту под ударом.

— Что-то Ваня Самохин сейчас делает? Отсчитывает секунды жизни?— После паузы Ерохин добавил: — Тяжело на «Малой земле» под огнем. Некуда спрятаться... А Сергей Клычков сейчас бьет, наверное, из зениток... Вон, видишь, видишь... В минуты опасности нужно решительно действовать, тогда не так страшно и не так опасно...

Мы наблюдали налет на «Малую землю». Он длился минут двадцать. Затем все утихло, и вновь стал слышен прибой морских волн, по которым прыгали лунные блики.

Мы просидели долго и все планировали «конец фашизма». Но настал момент и расставаться. Я должен был ехать в Москву, а он возвращался в Туапсе. Простились, обнялись. «До встречи», — сказал Ваня и махнул рукой.

Спустя три недели, уже в Москве, мне пришлось сдавать в набор горячие строки его корреспонденции о смелом штурме и освобождении от фашистов Новороссийска.

Приказ Верховного главнокомандующего гласил: «Войска Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с частями Черноморского флота, в результате смелой операции, ударом с суши и высадкой десанта с моря, после пятидневных ожесточенных боев... сегодня, 16 сентября, штурмом овладели важным портом Черного моря городом Новороссийск».

Приказ был опубликован в газетах 17 сентября. В этот же день «Правда» поместила корреспонденцию Ерохина под заглавием «Десант». Она начиналась так:

«Над бухтой спускались сумерки. Светлая лунная дорожка уходила в бесконечную даль моря. Легкая зыбь покачивает стоящие возле причала сторожевые катера, тральщики, вспомогательные катера... Люди все совершенно спокойны. Спокойны экипажи маленьких кораблей, спокойны моряки-десантники, спокоен адмирал, деловито проверяющий готовность людей. Дан сигнал начать посадку. Она проходит исключительно быстро и организованно. Кто-то поет: «Прощай, любимый город, уходим завтра в море...»»

Это были первые строки его последней корреспонденции. Спустя десять дней на этот же редакционный стол легла лаконичная, скорбная телеграмма:

«27 сентября в море, под Новороссийском, погиб смертью храбрых военный корреспондент «Правды» Ерохин».

Погиб молодой способный журналист, смелый офицер, хороший человек. Много раз под огнем он ходил на «Малую землю», жил на ней. А теперь, спустя десять дней после того, как гитлеровцы были изгнаны из города, Ерохин, подходя на катере к освобожденному Новороссийску, подорвался на морской mine. Война еще шла...

Петр Гармаш
ЧЕРНОМОРЕЦ



ы те, кто росли
под орудий грохот...

Так говорил о себе и своих сверстниках Владимир Михайлович Апошанский — журналист, поэт, воин.

Его знали многие черноморцы. Знали не только по стихам, очеркам, статьям, печатавшимся во флотской газете. Знали по личным встречам: под Севастополем не было, пожалуй, участка, где бы не побывал он в период обороны, на Черноморском побережье почти не было крупных десантных операций, в которых бы он не участвовал. И еще его хорошо знали потому, что встречи с людьми, подобными Владимиру Апошанскому, не проходят бесследно.

На флот Апошанский пришел вскоре после окончания в 1934 году Крымского педагогического института. Сбылась, наконец, давняя, рожденная еще в детстве, мечта:

Детство милое, розовость щек!
Корабли запуская в проталинах,
Мы задолго
До срока еще
О взволнованном море мечтали.

Эти строки он написал уже будучи офицером. Ко времени, когда «прокричал плакат о призыве девятого года» и Владимир Апошанский навсегда связал свою жизнь с военно-морской службой и Черным морем, в его поэтическом багаже были две книжки: поэма «Хлеб» и сборник стихотворений.

После окончания краткосрочных командирских курсов Апошанский служил минером. Но он по-прежнему не оставлял поэзию. Поэтическое мастерство его росло, совершенствовалось.

Морю и морякам посвящены его лучшие стихи, очерки. Вместе с тем каждое стихотворение, каждая строка пронизаны великой любовью поэта к Советской стране. Он не только гордился своей Родиной. Его любовь — в сыновней заботе о матери-Отчизне, которой он призывал отдавать «и молодость и силы», чтобы приумножать ее богатство, крепить обороноспособность.

Чувствуя приближение войны, он требовал «изучать специальность защиты», всегда быть начеку:

Льет ливень?
Ну что ж —
Ведь на этих морях
Пора нам забыть о простуде...
Займи же, товарищ,
Свой пост у руля!
Быстрей, канониры, к орудиям!

Наряду со стихами в газете все чаще и чаще стали появляться его корреспонденции, очерки. Апошанский стал одним из активных военкоров «Красного черноморца». А незадолго до начала Великой Отечественной войны флагманский минер Батумской военно-морской базы старший лейтенант В. М. Апошанский был переведен для прохождения дальнейшей службы в редакцию газеты «Красный черноморец».

На фронт он попросился в первый же день войны.

Редактор газеты полковой комиссар П. И. Мусьяков уступил его настойчивым просьбам. Апошанский вместе с младшим политруком Николаем Земляченко уехал военным корреспондентом на Дунайскую военную флотилию, одной из первых принявшую на себя удар врага.

Теперь не лирические стихи — военные корреспонденции, лаконичные и взволнованные, насыщенные отзвуками боя, стал присылать он в редакцию.

Здесь, на Дунае, Апошанский получил боевое крещение. Здесь он впервые стал ходить с моряками в контратаки.

Потом — сражающаяся Одесса, Севастополь, до которого вскоре докатился огненный вал фронта. И тут он с теми, кто на переднем крае обороны сдерживал яростные атаки фашистов, кто насмерть стоял, защищая любимую землю.

Появляясь в редакции лишь для того, чтобы сдать очередной материал, Апошанский снова направлялся туда, где, не утихая, гремели бои.

Его хорошо знали бойцы морской пехоты и Приморской армии, моряки кораблей, прорывавшихся сквозь вражескую блокаду в осажденный Севастополь, артиллеристы и летчики. И везде были рады его приходу. В бушлате, опоясанном пулеметными лентами, с пистолетом и гранатами за поясом, он меньше всего был похож на корреспондента. Всегда жизнерадостный, находчивый и остроумный, Владимир Апошанский умел веселой шуткой, интересным рассказом или песней поднять настроение людей, внести в суровую жизнь искры радости.

Начинался бой, и Апошанский вместе с солдатами отбивал атаки гитлеровцев, в числе первых бросался в яростные контратаки, увлекая за собой бойцов. Он писал о замечательных героях-севастопольцах и сам был таким же.

До последних дней обороны Севастополя шли в редакцию написанные здесь же, в окопе, после очередной вражеской атаки, короткие, дышащие боем корреспонденции. Писал Апошанский о людях мужества с любовью, тепло, ярко и правдиво. Его информации, заметки, очерки, часто появлявшиеся во флотской печати, всегда привлекали внимание черноморцев. Да и невозможно было пройти мимо них --- страстных, взволнованных.

Нелегко приходилось добывать материал для газеты. В очерке «Имена героев» Владимир Апошанский рассказывает об одном из обычных эпизодов своей фронтовой жизни.

...Глубокая ночь плыла над севастопольскими холмами, когда вместе с попутчиком-капитаном они быстро шли по разбитому снарядами полотну железной дороги.

Внезапно послышалось злое шуршание немецкого снаряда, и тут же вспышки пламени и взрывы ослепили и оглушили спутников, прижали к земле.

Это был обычный артиллерийский налет. Десять, пятнадцать минут, полчаса... Огневой шквал не стихал. Разрывы то и дело сотрясали воздух. Ждать было некогда, и путники рванулись вперед. Поглощенные одной мыслью — вовремя уловить момент приближения снаряда, они бежали, не разбирая дороги, не обращая внимания на препятствия.

Ежеминутно приходилось бросаться на землю и ждать разрыва снаряда. Покрываясь потом, задыхаясь, они продол-

жали двигаться. Но вот наступили минуты, когда стало не хватать воздуха, начали отказывать ноги. И тут капитан, облегченно вздохнув, произнес:

— Ну, добрались...

И словно сквозь землю провалился, исчез под полотном железной дороги. Там помещался командный пункт части. Внутри было темно. Корреспондент вынул коробок и, встряхнув его, готовился зажечь свет, но в эту же секунду кто-то вырвал спички из рук.

— Вы с ума сошли! — зло произнес приглушенный голос.

Затем тот же голос уже спокойнее объяснил, что гитлеровцы находятся всего в ста метрах. Оттуда они и ведут огонь.

— Выйдем на воздух, — продолжал голос, — я расскажу вам все, что вас интересует о бронбойщиках.

Это был младший политрук Колосов, душа роты бронбойщиков и хороший рассказчик. Под шум пролетающих над головой снарядов он рассказал о жарких боях, о мужестве людей, подпускавших фашистские танки на близкое расстояние и пронизывающих их броню пулями.

Политрук закончил.

— Фамилии? — спросил корреспондент и раскрыл планшетку с тетрадью.

Но как же в этом чернильном мраке записать фамилии?

Такого с ним еще никогда не случалось. Бывало, что он записывал в свою тетрадь при свете костра, при трепетном пламени спички, но сейчас и спички нельзя было зажечь!

Апошанский хотел точно записать фамилии героев-бронбойщиков, чтобы о них знали Севастополь, флот, вся наша страна, с волнением и гордостью следившая за обороной города.

Корреспондент вспомнил, что в детстве любил писать с закрытыми глазами. Получалось косо и криво, но все же написанное можно было разобрать. Он раскрыл посередине тетрадь и, нажимая на карандаш, крупно, через всю страницу вывел продиктованные ему фамилии, переспрашивая у политрука каждую букву.

Дело было сделано. Попрощавшись и поблагодарив Колосова, он направился в обратный путь.

И снова взрывы снарядов на пути, оглушительный грохот боя, вой авиабомб. Близким разрывом его бросило на землю, оглушило.

Наконец корреспондент добрался до редакции. Он бережно вынул из планшета тетрадь, развернул ее и... побледнел. На густо исписанном листе походной тетради, причудливо переплетаясь с уже написанным ранее, кривились какие-то непонятные знаки, в которых совершенно невозможно было разобрать фамилии славных героев-бронбойцов.

Корреспондент молча смотрел на страницу, потом встал, подошел к сидевшему у телефона дежурному краснофлотцу:

— Когда отваливает катер?

— Через десять минут.

— Тогда доложите. Я снова пойду на Северную...

Он опустился на стул возле стола дежурного, уронил голову на руки и сразу же забылся тяжелым сном...

Бывший заместитель начальника разведотдела штаба флота С. Л. Ермаша вспоминает:

— Очень трудными и опасными были рейды наших разведчиков во вражеский тыл. И мы поначалу не соглашались брать Апошанского, хотя и знали, что он хороший и смелый человек. Тогда Владимир принес письмо члена Военного совета флота Н. М. Кулакова, в котором предписывалось мне «оказывать всяческое содействие корреспонденту «Красного черноморца» капитан-лейтенанту Апошанскому В. М.». Пришлось уступить...

Действовал Апошанский, как и положено разведчику, смело, решительно, находчиво.

Один из примеров. В январе 1942 года с группой моряков-разведчиков он высадился в районе Судака. Гитлеровцам удалось обнаружить храбрецов. Произошла короткая, но ожесточенная схватка. Боевое задание разведгруппа выполнила успешно.

Вернулся Апошанский с важными сведениями о противнике, собранными им лично, а через несколько дней в газете появилась и его корреспонденция «Семь героев-черноморцев». В ней рассказывалось об изумительной отваге и находчивости советских разведчиков, о подвиге политрука Гусева, который, израсходовав все патроны и гранаты, бросился в море, предпочитая смерть плену.

Мужество и отвага военного корреспондента были отмечены высокой правительственной наградой — орденом Красного Знамени.

В сражавшемся Севастополе Апошанский находился до конца обороны. Он воевал и писал. О последнем, самом

тяжелым и трагическом месяце обороны им написаны прекрасные очерки, вернее, цикл очерков, который он потом озаглавил «Севастополь в июне».

В один из последних дней июня Владимир Апошанский оказался в штольнях спецкомбината № 1. Гитлеровцы уже захватили Северную сторону и, установив орудия, били прямой наводкой по улицам города. С утра до вечера в воздухе стоял несмолкаемый гул фашистских самолетов. Снаряды и бомбы, не переставая, рвались у входа в штольни спецкомбината. Но севастопольцы все еще продолжали трудиться. Они изготовляли мины и гранаты, так необходимые защитникам города.

В подземном цехе Апошанский увидел несколько новых минометов.

— Да это же целая батарея! — обрадовался он. — А ну, товарищи, кто умеет стрелять из минометов?

К нему тут же подошли Николаенко, Ефименко, Черников и еще несколько рабочих и мастеров.

— Ну вот, батарея и укомплектована...

Ночью, когда стих артобстрел, вытащили четыре тяжелых миномета из штольни и, как могли, оборудовали огневую позицию. С рассветом минометная батарея рабочих под командованием капитан-лейтенанта Апошанского открыла огонь по гитлеровцам. Несколько дней вела она интенсивную стрельбу по врагу.

Из Севастополя Апошанский уходил в числе последних.

А затем — снова бои. Снова там, где наиболее опасно. Был ранен. Тонул...

«Малая земля»... Теперь отсюда, с небольшого, опаленного огнем непрерывных сражений клочка, отвоеванного у врага под Новороссийском, шли корреспонденции капитан-лейтенанта Апошанского. Они рассказывали советским людям о легендарной отваге защитников «Земли героев».

Ему предлагали ехать служить в Москву в редакцию «Красного Флота» — отказался. «Принял решение прогнаться на Тамань», — писал он редактору.

Там готовились десанты. Близился час освобождения Крыма, всей советской земли.

Еще 7 ноября 1941 года, когда у стен Севастополя шли ожесточенные бои, Апошанский писал в праздничном номере «Красного черноморца»: «Пройдет время, и фашистская зараза будет уничтожена. Снова настанет наш Октябрьский

праздник, и снова мы пойдем в торжественном марше по улицам родного города».

Он знал это. Он глубоко верил в это. Но дожить до счастливых дней победы ему не довелось.

В начале октября 1943 года пришло известие о героической гибели Владимира Апошанского.

«Дорогая Евгения Михайловна,— писал жене поэт редактор «Красного черноморца» С. С. Зенушкин,— я знаю, какую боль вызовет у вас это письмо. Соберите все силы и мужественно встретьте и перенесите горе: Владимир Михайлович, наш Володя, погиб на поле боя... Мы еще не знаем всех подробностей. Известно лишь следующее: 27 сентября он пошел с десантной группой под Темрюк (на Таманском полуострове), высадился на берег вместе с отрядом. Утром 28-го был убит.

Может, это и не облегчит Вам тяжести утраты, но смерть Володи — наше общее горе...

А погиб он, первым выскочив с катера на занятый врагом берег, увлекая за собой десантников и огнем из пулемета прокладывая им путь...

Он погиб, как погибают герои, которые и после смерти продолжают жить в памяти и сердцах людей.

Редакция газеты Краснознаменного Черноморского флота «Флаг Родины» (так теперь называется «Красный черноморец») установила переходящий приз имени Владимира Апошанского. Символично, что одним из первых обладателей приза стал молодой журналист Константин Апошанский — сын героя-журналиста.

Как и отец, Костя любит жизнь беспокойную, полную напряжения и тревог. Сейчас он моряк, является первым помощником капитана одного из передовых судов Севастопольского управления океанского рыболовства, но по-прежнему не оставляет и свою журналистскую деятельность.

— Есть у меня давнишняя мечта,— говорит Апошанский-младший,— подготовить и издать сборник, в который вошли бы очерки отца и мои...

Память о Владимире Апошанском — талантливом журналисте и поэте, человеке удивительной смелости и отваги — будет жить.

Герои не умирают.

Константин Лапин

КАПИТАН АНДРЕЕВ И ДРУГИЕ

Рассказ с продолжением



По шоссе в сторону Плавска мчались пятитонки со снарядами, грузовики с прицепами, на которых покачивались плоские металлические корыта понтонов, машины с амуницией, продуктами, медикаментами — всем сложным хозяйством фронта, пришедшего, наконец, в движение. Такого потока машин на дорогах к передовой младший лейтенант Костин еще не видел. И никогда он не ездил на передовую в редакторском «виллисе»!

Из встречной санитарной машины с брезентовым верхом выглянул раненый, бинты на его голове были ослепительно белы.

— Свеженький, — заметил шофер Степан Чесновицкий. Через мгновение он припал к запыленному ветровому стеклу, выглядывая что-то в небе. — Смотрите, смотрите, товарищ полковник!.. Вот газует-то!

Полковник Воловой высунулся с одной стороны машины, Костин — с другой. Они увидели в прогале между светлыми облаками мелькнувшую узкую полосу «мессершмитта», за которым гнался истребитель, казавшийся серебряной каплей.

У опушки покинутые артиллерийские позиции; орудия, видно, снялись недавно, ветки, служившие маскировкой, не успели еще засохнуть. Небольшую березовую рощицу на пригорке прорезали свежие черные просеки: ночью отсюда вышли на исходные позиции тяжелые танки.

— Не понадобилось! — Теперь шофер показывал глазами на минное поле, огражденное указками.

Дорога спускалась к реке Зуше. Облако пыли на том берегу обозначало путь следования мотоколонны. Дымки тянулись над пепелищем, за дальним лесом поднялось пламя большого пожара.

Не доехав до переправы, шофер остановил «виллис»; впереди образовался затор.

Полковник Воловой вылез из машины, младший лейтенант поспешил за ним.

Нетерпеливые сигналы застрявших машин, тревожное ржание коней, людской говор почти заглушали гул пушек на том берегу. Рослую девушку-регулировщицу оттерли к самым перилам, она кричала на солдат, лезших на мост, не то простуженным, не то сорванным голосом и размахивала красным флажком. Начальник переправы с повязкой на рукаве помогал ездовым растащить повозки, сцепившиеся колесами. Худой майор-артиллерист, усиленно жестикулируя, доказывал низенькому краснолицему пехотному капитану, что пушки должны проехать раньше. И все на переправе — шоферы, высунувшиеся из кабин, ездовые, солдаты, которые пробрались для скорости с наружной стороны перил, над самой водой, — беспокойно посматривали на небо: каждую минуту можно было ожидать появления вражеских бомбардировщиков.

Спокойствие подошедшего полковника, его отутюженный китель с ослепительно белой полоской накрахмаленного подворотничка произвели не меньшее впечатление, чем те несколько негромких, но слышных всем фраз, которые он произнес. И сдали назад машины краснолицего капитана, колеса повозок были благополучно расцеплены, на переправу въехали тягачи с пушками. В хвост им немедленно пристроился находчивый Чесновицкий. Регулировщица, занявшая свое место в середине двинувшегося снова потока, погрозила ему флажком.

— Ты еще спасибо должна сказать, дуреха, что пресса вмещалась, — говорил сам с собой повеселевший Степан.

По правому берегу, бывшему вчера передним краем немецкой обороны, словно гигантский плуг прошелся, вывернув из земли бетонные плиты дотов, перепахав пулеметные гнезда. Чья-то рука в серо-зеленом обшлаге торчала из кучи земли. В небо смотрел тонкий ствол пушки, разорванный на ленты, как стебель одуванчика. Деревья поднимали

вверх обугленные, без листьев, сучья. В кювете скалила зубы убитая лошадь с раздувшимся на жаре брюхом.

Машина медленно вползла на подъем. Редактор, высушившись до пояса из дверцы, сделал на ходу снимок.

— Может, остановимся, товарищ полковник? — спросил Чесновицкий.

Но уже приближался издали мерный нарастающий гул. В вышине, тупым углом вперед, шли эскадрильи вражеских бомбардировщиков. Начали бить зенитки на берегу Зуши, небо зарябило черными барашками дымков. Казалось, «виллис» еле ползет в густом облаке пыли, поднятом едущими впереди тягачами с пушками.

«Лучше цель для бомбежки не обозначить», — подумал Костин.

Мощный обвал потряс землю. Второй, третий...

— Вовремя проскочили! — Шофер вытер рукавом потный лоб и впервые за долгий путь закурил. — А тут и не съедешь-то никуда.

По краям дороги на палках были укреплены фанерки: «Не съезжать! Опасно!! Мины!!!» В кювете лежали горки металлических блинов, большая куча их возвышалась среди пашни. И дальше, сколько видел глаз, всюду лежали противопехотные и противотанковые мины, перевернутые светлым брюшком вверх, похожие на огромных ядовитых пауков с выдернутым жалом. Два наших средних танка подорвались на минах; почерневшие, стояли они на пригорке как безмолвные памятники войны.

Костин вынул блокнот, чтобы записать пришедшее в голову сравнение. Он успел-таки переволноваться несколько минут тому назад и хотел скрыть свое состояние от всевидящего редакторского ока.

За развилкой дорог Чесновицкий поехал быстрее. Черные печные трубы, грозящие, словно каменные пальцы, небу, развалины стен и фундаменты из бута, выстроившиеся по обе стороны улицы, показывали, что здесь была деревня. Гитлеровцы, видно, разрушили ее давно: прямоугольники фундаментов заросли высокой лебедой. Потянулись дымящиеся развалины, в золе весело поблескивали языки пламени. Полковник отмечал кружком на карте несуществующие больше селения.

«Setucha» — написано готическим шрифтом на желтой доске у въезда в большое село. На главной улице Сетухи уцелели несколько каменных домов, белая церковь, здание

сельпо; судя по всему, стремительное наступление застало врасплох фашистских факельщиков. За кладбищем, мимо которого они ехали, склон оврага ощерился норами землянок, «бунками», как их называли местные жители. Присев на корточки у костров, женщины готовили обед, по дну оврага бегали и ползали дети, девчата образовали кружок, посреди которого лихой старшина отплясывал под гармошку.

Женщины обступили офицеров, вышедших из «виллиса», удивленно разглядывали их погоны со звездочками и, перебывая друг друга, рассказывали, как им жилось под немцем, как они верили в то, что русские, советские, наши, придут. Их давно не чесанные волосы, гноящиеся глаза детей, лохмотья стариков, вылезающих из «бунок» на четвереньках — иначе оттуда и нельзя было вылезть, — лучше слов говорили о том, как им жилось.

Полковник присел с фотоаппаратом на корточки перед малышом в матросском костюмчике, некогда бывшем синего цвета. Грязные пальцы мальчика теребили светлую заплату на рукаве курточки.

— Батюшки, я и забыла, а он вспомнил! — воскликнула мать. Она помогла отодрать тряпицу с рукава: под ней оказалась вышитая шелком, необычайно яркая на грязной, заношенной материи алая звездочка.

— Все от иродов прятали, все, — со злыми слезами на глазах говорила женщина. — Они б не посмотрели, что малое — тут же и порешили б...

Чесновицкий, обрывавший с дерева на краю оврага печеные яблоки — недозревшие плоды испеклись в пламени пожара, когда рядом загорелся сарай с сеном, — подозвал младшего лейтенанта. По окраине села двигалась необычная группа. Молоденький кудрявый автоматчик быстро ехал на коне, а впереди бежали десятка полтора гитлеровцев. Старший из них в расстегнутой куртке и высоких шнурованных ботинках, оборачиваясь назад, кричал своим: «Шнеллер, шнеллер!»

— Что это он их подгоняет? — удивился Костин.

Все стало понятно, когда из-за бугра показались бегущие женщины, старик, который хватался рукой за грудь и все же бежал, хромоногий парень, размахивавший костылем. Люди нагибались на бегу, поднимали с земли камни, комья засохшей грязи и швыряли вслед гитлеровцам. Хромоногий, выбившись из сил, остановился и со слезами в голосе крикнул автоматчику:

— Эх, парень... хоть одного б дал... костылем съездить.

Полковник успел сфотографировать мальчика (тот вытянул вперед руку, чтобы виднее была звездочка), стариков у лаза «бунки», группу женщин («Таких нас лучше и не снимайте!») — протестовали они, однако торопливо подобрали волосы под платки и приосанились перед объективом). Записав фамилии, Воловой просигналил, подзывая шофера.

За селом в поле чернели коровьи туши, целое стадо. Офицеры вышли из машины, чтобы выяснить причину такого массового падежа. Черные пулевые отверстия зияли на коровьих лбах, у многих животных были разворочены животы. Не успевая угнать стадо, гитлеровцы попросту расстреляли его...

Была середина дня, когда полковник разыскал нужную дивизию — ту, что первой форсировала Зушу. Штаб разместился в просторных блиндажах немецкого узла связи. К командирскому блиндажу вел глубокий ход, дно его было выстлано белым камнем из разобранных строений, а стенки аккуратно оплетены красноватыми ветками ивы. Такой же ход вел в уборную за блиндажом.

Потолок блиндажа из шести накатов толстых бревен. Окованная железом дверь. Бумажка на двери: «Хоз-во полковника Скирда».

Майор с повязкой на шее принимал по телефону донесение, писарь указательным пальцем стучал на машинке, на узких нарах в обнимку спали два лейтенанта, не снявшие даже сапог, — так сморила их усталость. На стенах уцелели расписания на немецком языке, фотографии кинозвезд, вырезанные из иллюстрированного журнала. Распяленные крылья сойки — очевидно, охотничий трофей бывшего хозяина блиндажа. В углу беспорядочной грудой свалены папки с бумагами, немецкие журналы и газеты.

Пока полковник беседовал с начальником политотдела, расположившимся в дальнем отсеке блиндажа, Костин изучал свежие номера «Сигнала» — немецкой солдатской газеты. На первой странице сообщалось о недавних успехах, одержанных непобедимой армией фюрера в районе Курска — Белгорода. В юмористическом приложении описывались похождения некоего ефрейтора Шульца на Восточном фронте: вот курносый крепыш «организует» корову, вот он с двумя раздувшимися чемоданами садится в самолет, летящий домой...

Костин отложил журнал, увидя полковника, вышедшего от комиссара.

— Немедленно отправляйтесь в ближайший медсанбат, побеседуйте с героями наступления. Хорошо бы найти двух-трех участников форсирования Зуши. В 16.00 с материалом быть здесь. Я задержусь до этого часа, хочу кое-что передать в редакцию с узла связи... Только не опаздывайте, лейтенант, чтобы нас не обскакали другие корреспонденты!

— Капитан Андреев? — спросил журналист, вспомнив напутствие ответственного секретаря газеты.

Редактор подозрительно скосил глаза на молодого офицера, но, увидя его безмятежное лицо, ничего не сказал. Откозыряв, Костин вышел из блиндажа.

Не только младший лейтенант, недавно пришедший во фронтовую газету, но даже ветераны редакции не могли похвастать тем, что знают в лицо капитана Андреева. Активный военкор, он выступал на страницах газеты редко, но, как говорится, метко. Даст, скажем, полковник Воловой на редакционной летучке задание: срочно в номер подготовить статью о взаимовыручке в бою. Сотрудник, которому поручили это дело, поленился, а то и просто не справился с темой. Капитан Андреев тут как тут со своей статьей. Сам он ни разу не появлялся в редакции, но его статья, отпечатанная на машинке, вовремя оказывалась на столе майора Хмелева.

Ответственный секретарь, разумеется, знал всех авторов газеты, но из Владимира Александровича и полслова не вытянешь, если не захочет говорить. Худой, изможденный, в чем, как говорится, душа держится, он обладал сильной волей, железной выдержкой. Именно эти качества привели его, нестроевика, белобилетника, на фронт.

Попробовал Костин подойти с интересующим его вопросом к жене Хмелева. Милая, добрая Зоя, оставившая в тылу двух дочек, чтобы стать добровольной сиделкой при больном муже после его бессонных бдений над полосами, а днем занимавшаяся обработкой солдатских писем, устало улыбнулась молодому человеку.

— А чего же вы самого Володю не спросите? Боитесь?! Придет час — капитан Андреев сам объявится!

Пожилой писатель Исаев, который, несмотря на два года службы в армии и военную форму, так и не изменил своего сутобо гражданского обличья, как-то высказал новичку свои соображения. Никакой Андреев не капитан, это — старший

офицер, приятель редактора, его, так сказать,— «палочка-выручалочка». Военный по должности и журналист в душе — Андреев не желает раскрывать свое «инкогнито»...

Костину не хотелось идти в медсанбат, тем более, что он не разузнал в политотделе его местонахождение. По дороге непрерывным потоком шли машины, к передовой,— он возьмет свой материал там, где труднее всего, на линии огня.

Попутный грузовик со снарядами доставил Костина к артиллерийской батарее на опушке леса. Перед бугром, поросшим кустарником, пушкари готовили запасные огневые позиции. Близко гремела канонада, громко застучал пулемет на правом фланге.

Значит, передовая близко.

Командир батареи, пожилой загорелый капитан в расстегнутой гимнастерке, объяснил журналисту, как найти КП командира полка, ведущего бой за село Марфино. По нитке провода, змеившегося среди травы, провисавшего на шапках пышного репейника, Костин быстрым шагом дошел до холма. Несколько раз в воздухе точно щелкнул исполинский бич. Корреспондент инстинктивно вжимал голову в плечи, хотя понимал, что начали стрелять орудия батареи, на которой он только что побывал.

— Стой! Кто идет? — громко окликнул его усач с автоматом, выглядывая из-за куста.

— Мне нужно командира полка или замполита.

Из-под земли, как показалось журналисту, высунулась круглая, блестящая под солнцем, как бильярдный шар, голова. Серые немигающие глаза неприязненно уставились на лейтенанта.

— Кто же это ходит перед НП в полный рост?.. И так я тут весь как на ладошке... Да прыгайте, прыгайте сюда, черт побери!

Костин спрыгнул в узкий ступенчатый окопчик. От глинистых стен приятно тянуло холодком, маленькая антенна раскачивалась над окопом, как стебель ковыля. Лысый командир полка с орденом Красного Знамени и гвардейским значком на широкой груди, старший лейтенант с артиллерийскими погонами, смотревший в стереотрубу, и связист, сидевший на корточках перед аппаратом, еле умещались в окопчике. Вчетвером им стало совсем тесно.

Узнав, что половина села за бугром в наших руках и что там находится замполит майор Караганов, корреспондент

решил идти в село. Командир полка как раз собирался посылать в батальон связного, вот и провожатый будет.

Невысокого роста флегматичный паренек с автоматом зашагал впереди Костина, сбивая шомполом красные головки репейника. Неподалеку, одна за другой, разорвались две мины, повесив в воздухе пыльные столбы. Связной побежал, что есть духу, под гору.

В зеленом овражке журналист увидел брошенную немецкую батарею; длинные стволы в ядовито-желтых разводах были задраны вверх. У штабеля снарядов разметались трупы в серо-зеленых куртках.

— Наша работка! — сказал связной удовлетворенно.

Автоматная трескотня впереди то затихала, то начиналась снова. Рикошетищая пуля пропела над головами.

Улица села поднималась в гору. Перед крайней избой на лужайке сидели и лежали разведчики в пятнистых куртках. Санитарка перевязывала раненного в плечо старшину, майор в очках что-то писал, высокий худой капитан-военврач с узкими погонями, заглядывал через его плечо.

— Вот вам майор Караганов! — связной показал на пишущего. — Силантьев, а где моя братва?

— Там же, на колокольне, — ответил один из разведчиков. — Ты только серединой улицы не ходи, Вася, пчелки летают. Старшину нашего, вот, ужалило...

Замполит шумно обрадовался приходу корреспондента.

— Видали, кто к нам пришел! — говорил он разведчикам, разглядывавшим пришельца. — Из фронтовой газеты, не откуда-нибудь. Подвиги ваши будет описывать! — Он повернулся к Костину. — Вот эти самые орлы два часа назад помешали гитлеровцам совершить страшное злодеяние: сжечь больных вместе с персоналом. Мы с врачом как раз акт составляем. Факельщики уже и окна заколотили, и соломой в сени натаскали...

— С одного боку гады успели поджечь, товарищ майор! — поправил разведчик в шароварах из трофейной плащ-палатки. — Мы горящую солому руками раскидывали.

Корреспондент записал рассказ разведчиков, а потом пробрался к сельской больнице, пропахшей карболкой и несвежим бельем. На койках и на полу лежали больные, истощенные люди, чудом ушедшие от неминуемой смерти. Пожилая санитарка — ее немецкие факельщики тоже заперли в доме — назвала фамилии больных, свезенных сюда из окрестных деревень.

Костин пожалел, что у него нет с собой фотоаппарата. Но и без снимков материал потрясающий. Из-за одного этого стоило мчаться сюда, лезть под пули... Сколько человек узнало бы о трагедии, едва не свершившейся в русском селе Марфино? Рота... Батальон... Полк... А через газету узнают тысячи и тысячи читателей.

Огородами журналист пробирался к КП батальона, куда ушел замполит. Надо было снять копию акта, если не удастся забрать оригинал. Но майор Караганов за это время успел уйти в роту старшего лейтенанта Шарафутдинова; ротный вел бой за железнодорожную станцию. Костин видел, что к 16.00 ему уже никак не вернуться, но не бросать же на полдороге важнейшую тему!

Замполита он разыскал, когда солнце уже садилось. По дороге Костину пришлось дважды лежать под артобстрелом, у обочины шоссе над его головой прошла пулеметная очередь. За бетонной стенкой трансформаторной будки возле путей командир роты вместе с майором Карагановым руководили действиями стрелков, выбивавших гитлеровцев из здания железнодорожной станции. Драгоценный документ перекочевал в планшет журналиста; замполит без единого слова расстался с ним: он-то отлично понимал силу печатного слова.

В темноте, освещаемой отблеском пожаров и дальними взрывами, Костин мчался в редакцию на машине, ехавшей в тыл за снарядами. Он не стал разыскивать хозяйство полковника Скирда; ясно, что штаб дивизии давно перекочевал на новое место. И узел связи журналисту теперь ни к чему, оригинал акта ведь не передашь по телефону. Костин был уверен, что любое опоздание простится ему, когда редактор узнает, с чем он вернулся.

Пересаживаясь с машины на машину, а последние пять километров отшагав быстрым шагом, журналист добрался к рассвету до своей деревни. Улица казалась вымершей, не было видно привычных проводов, машин за домами. Лишь в большом сарае знакомо стучала и ухала печатная машина; пока допечатывалась сегодняшняя газета, на новом месте, в городе Плавске, уже верстался завтрашний номер.

Младший лейтенант взял свежий оттиск с барабана. На первой полосе он увидел большую статью корреспондента по армии капитана Шумова: «Так была форсирована Зуша». В газете были фотографии героев переправы, вид взорван-

ного немецкого дзота на берегу, литературная зарисовка писателя Исаева «Вот он, «новый порядок»!». Никогда бы не подумал Костин, что даже немолодой майор Исаев со своей странной походкой «шахматного коня» — два шага вперед, один — вбок — обскочит его. Однако в настоящее изумление поверг его очерк капитана Андреева «На освобожденной земле».

Быстро пробежал он первые абзацы очерка. Что за чертовщина? Можно подумать, что этот вездесущий военкор ехал с ним, с Костиным, в одной машине, смотрел на все его, Костина, глазами. Материал был иллюстрирован фотографиями. На снимке, изображавшем мальчика со звездочкой на рукаве, Костин вдруг разглядел... себя. Хотя он стоял спиной к аппарату, это была несомненно его спина, из-за нее выглядывал кусочек лица шофера Степана Чесновицкого, евшего печеное яблоко.

Так вот кто этот загадочный «В. Андреев»! И как он не догадался до сих пор, что фамилия военкора — псевдоним самого редактора.

И хоть младший лейтенант, не выполнив приказа редактора, возвращался навстречу верному выговору, хотя часть материала, который он добыл с таким трудом и даже риском для жизни, уже успела устареть, — в сердце его была радость и гордость за газету. Так вот как работают настоящие газетчики в наступлении! Ну, что же, и он со временем научится работать так... Непременно научится!

* * *

Этими словами я закончил рассказ «В наступлении...», которым открывалась моя книжка «Военный корреспондент», выпущенная в 1954 году Воениздатом. Товарищи по фронтовой газете, прочитав книгу, недоумевали: почему я изменил фамилии героев рассказа? Они сразу узнали в редакторе Воловом полковника Александра Михайловича Воловца, ответственный секретарь газеты майор Хмелев на самом деле был известным московским газетчиком Владимиром Александровичем Хмелевским, его жена Зоя — вольнонаемной сотрудницей отдела солдатских писем.

Я и сам не знал, почему это сделал. Быть может, боялся, что рассказ не получится, что малейшая авторская вольность или «домысел» будут колоть глаза боевым коллегам героев, очевидцам и участникам описываемых событий. Сей-

час, в сборнике, посвященном памяти павших товарищей, хочется исправить положение и чуть подробнее рассказать о товарищах по редакции.

Кадровый офицер, военный журналист Александр Михайлович Воловец до войны был заместителем редактора газеты МВО «Красный воин». Когда осенью сорок первого к Брянску подошли бронированные орды гитлеровцев, Воловец возглавил редакцию газеты Брянского фронта «На разгром врага». Кстати, в этом городе он когда-то начал воинскую службу рядовым 3-го полка связи.

Вместе с отходящими частями двинулись и редакционные машины, на бортах их, как боевые шрамы, появились отметины осколков вражеских снарядов. В коллектив фронтовой редакции влились брянские журналисты и печатники: А. Лапин, В. Шуровский, Г. Верютин, Т. Козлова, С. Чесновицкий и другие. Ненужные шрифты пришлось зарыть на том месте, где редакция стояла в последний раз, в глухом Брянском лесу...

Помню, как в мае 1943 года, перед началом великой Орловской битвы, полковник Воловец вслух мечтал о близящемся наступлении, о том, как он сам разыщет место в лесу, где зарыты шрифты, чтобы газетные страницы украсил рубленый и дубовый заголовочные шрифты.

Наступление шло стремительно. Орел, Мценск, Бежица, Брянск освобождены. На редакционном «виллисе», который вел шофер С. Чесновицкий, вдвоем с майором Я. Хелемским мы мчались по лежневому, выматывающему душу дорогам, догоняя передовые части. Как это случилось в период быстрого наступления, мы проскочили линию фронта, которой фактически не было, и оказались впереди наших частей. По параллельной лесной просеке двигался какой-то обоз (оказалось, немецкий). Огородами, мимо брошенных жителями, прятавшимися в лесу, деревень, пробирались бородачи с винтовками (как выяснилось при более близкой «встрече» — полицаи, удирающие от возмездия). Только у Сожа, на берегу которого гитлеровцы спешно возводили новую линию обороны (а воины-брянцы говорили, что Гомель уже наш), мы повернули обратно и благополучно достигли Брянска.

Полковник Воловец, приказав старшему по машине дать письменное объяснение по поводу столь длительной задержки, сам сел за руль: у водителя С. Чесновицкого буквально закрывались глаза после непрерывной двухдневной юнки.

В машину, кроме редактора, сели капитан А. Лапин и майор В. Хмелевский с женой; Зоя упростила Воловца взять и ее, так как не хотела отпускать больного мужа одного.

В знакомый Брянский лес они въехали засветло, откопали покрывшиеся плесенью ящики со шрифтами, даже успели сфотографироваться у заросшего травой блиндажа. Но обратно вернулись не все: в лесу, на замаскированной противотанковой мине, «виллис» подорвался. Полковник А. М. Воловец и Зоя Хмелевская были убиты, майор В. А. Хмелевский получил тяжелое ранение, капитан А. К. Лапин был контужен. Это произошло 3 октября 1943 года.

Торжественно хоронила редакция павших товарищей. Позже с главной площади Брянска их останки были перенесены на кладбище. Могилу героев чтят брянцы; московские журналисты, бывающие здесь в командировке, навещают ее. Но, может быть, не все, кто даже лично знал Воловца, листая ныне подшивки военных газет, узнают его руку в статьях и заметках, подписанных: «Капитан В. Андреев».

Юрий Чернов
ФРОНТОВАЯ ЛЕТОПИСЬ



Мы спешили в танке громыхающем,
На машине с ящиками мин
На передний край, где дым пожарища
Стлался среди вздыбленных равнин.

От КП ползли мы под разрывами.
В полумраке тесных блиндажей
Чувствовали мы себя счастливыми
Средь героев будущих статей.

В дерзких поединках минометчиков,
В поисках разведчиков ночных
Находили мы сюжеты очерков:
Жаль, тогда нам было не до книг.

Нас комбат из фляги щедро потчевал,
Предлагал остаться до утра:
— Заночуйте, не блуждать же ночью вам?
Но ответ один был:
— Нам пора!

Нам пора!
Расстанемся до встречи мы.
Нам редактор дал короткий срок:

— Быть на месте не позднее вечера.
В номер — гвоздевых сто сорок строк...

Мы брели в грязи распутиц веснами,
Мерзли под обстрелами зимой,
И газета наша двухполосная
Летописью стала фронтовой.

И не зря перо к штыку гвардейскому
Приравняла на войне страна,
Скромному газетчику армейскому,
Как бойцу, вручая ордена.

Но, бывало, в тьме ночной нetaющей,
На крутых откосах переправ,
Падали в бою мои товарищи,
Срочный репортаж не дописав.

И тогда наборщики склоненные,
Разбирая почерки едва,
Набирали кровью обaгрeнные,
Порохом пропахшие слова...

Тропами нелегкими, неблизкими
Вместе шли мы в жаркие бои,
А теперь вы стали обелисками,
Побратимы верные мои.



Был натиск движенья неистов!..
Не раз я видал на войне,
как танк со статьей журналистов
вводили в прорыв наравне.
1944 г.

Алексей Недогонов
«Плацдарм»

Дмитрий Холендро
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПОГОН



Есть что-то необыкновенное в мальчищеской восторженности. Прекрасное и, может быть, даже безошибочное. Еще до войны мы, московские школьники, ходившие в один литературный кружок, выбрали себе негласного героя. Его никто из нас не видел в глаза, но стихи его, но первые строки его прозы, а больше всего, пожалуй, его судьба, волновали нас. Кто-то сказал, что прочитал в газетной статье — а, возможно, и правда прочитал, — будто серьезный критик назвал его кавказским Толстым. Толстой писал о горцах. Этот сам был горцем.

И уже отсюда начиналось необыкновенное.

Детство его прошло под неумолчные крики лудильщика:
— Кастрюли, ведра починя-яем!

Мальчик ходил за отцом по дворам и городам. Отец паял и лудил кастрюли и дырявые ведра, а мальчик смотрел на людей. Где-то очень далеко в горах Дагестана осталось родное лакское селение, где жил очень маленький народ. Мальчика-лакца увели оттуда длинные дороги. На них не забылись ни родной язык, ни земляки, но все шире становились представления о жизни, впечатления и знания мальчика, и часто для выражения чувств и мыслей не хватало запаса лакских слов.

Много позже он заметил во фронтовом блокноте:

«И думаю, и говорю, и пишу по-русски».

Тогда же он сказал:

«Я пишу по-русски, но я писатель своего народа».

Все его книги — о Кавказе, о Дагестане, все его герои — земляки.

К сожалению, не могу привести всей новеллы из его записной книжки, она заняла бы много места, но она нужна, чтобы понять душу этого человека, и я приведу выдержки, не смущаясь их длиной, потому что никогда нельзя пожалеть о том, что чистые и проникновенные слова, полные признаний и открытий, длинны. Можно пожалеть, что они коротки.

«Давно, давно, но не очень: всего лишь около ста лет назад — в этих местах, где остановил я сейчас коня, шли также беспощадные битвы. Правда, горы тогда выглядели куда девственней, дорог не было, скалы и камни обступали путника на каждом шагу, глохли леса, и эта тропинка едва ли вела тогда в горы. Горы были неприступными и чужими. Вот на противоположном скате виднеются остатки старинной крепости... Станешь в сторонку один в тишине, пустынная рыжая птица парит над тобой, конь дремлет, опустив уши. Уйдешь мыслю в глубь времени, и кажется, что вырисовываются в тумане русские егери, запяленные апшеронцы, ставшие во фронт, кажется — слышишь призрачный барабанный бой, и комендант крепости, может быть какой-нибудь Максим Максимыч, в горской папахе, с добродушными русскими усами... выходит покурить трубку на крепостной вал и, став к вам спиной, щурясь, долго вглядывается в даль облаков на застывшую в тишине темную птицу.

— О Петербург! За что я прикован к камням гибельного сего Кавказа? — кажется, шепчут его губы.

В ту пору шла жестокая война. Мои предки не на жизнь, а на смерть воевали с белым царем...

И, думая о прошлом, я медленно трогаю коня...

Вдруг на небольшой поляне я вижу в траве плоский ржавый камень... Это была очень старая могильная плита, наполовину осевшая в землю. Обломившийся каменный крест лежал тут же... Когда, кто, кем здесь погребен? С большим трудом, раздвинув бурьян и счистив с плиты коросту желто-зеленого лишая, я читаю выветрившуюся надпись.

Эпитафия гласит:

«Один я на чужбине среди каменистых скал. Ни одна живая душа не придет ко мне на могилу и в память мою мне этих слов не произнесет:

Мир праху твоему, Всеволод».

А сбоку другая, старинными буквами, строгая надпись:

«Здесь покоится прах поручика Апшеронского полка Всеволода Николаевича Грунина, умершего от ран в бою с горцами 16 августа 1842 года. Покойному было 22 года».

Непонятное, вещее дыхание как бы потрясло мою душу. Сто лет тому назад, ровно сто лет, этот русский умный юноша (ибо надпись, вероятно, высечена по его завету) погиб здесь в жестокой схватке с моими отцами. Мои отцы считали его своим кровным, самым смертельным, проклятым врагом, и он так же считал их чужими. Но что мне сказать о моих переживаниях? Странная судьба выпала мне на долю, как мне с ней быть? Сын гор, я душой и мыслями, всем моим существом — русский человек, и без русского языка, без русской среды нет мне в жизни ничего родного.

Я срываю с головы своей шапку, становлюсь на колени перед могилой и шепчу: «Мир праху твоему, Всеволод». Пусть твоя мысль встретится с моей мыслью, они сестры. Пусть эта каменистая земля, враждовавшая с тобой, не будет тебе жестка, родной мой, пусть она ляжет над тобой легкой перины, пусть будет сон твой мирным, как эта тишина... Твоя молодая кровь, пролитая на этих скалах, впиталась в почву, и ты видишь, взросло новое племя. В жилах моих течет частица и твоей крови, брат мой. Родная душа пришла на могилу, и, как видишь, на твоём русском языке говорит она тебе: «Мир праху твоему, Всеволод», — за себя и за своих предков».

Написал эти строки Эффенди Капиев.

Люди уже знали его по стихам, чеканным и чистым, вошедшим в книгу, недаром получившую название «Резьба по камню». Знали по песням Сулеймана Стальского — Капиев был его другом, спутником и переводчиком. Знали по книге «Поэт», составленной из мудрых и порою лукавых новелл, героем которых стал народный поэт Сулейман, а значит — сама жизнь. Его поэт — человек из народа, сын Кавказа, и сам Эффенди мечтал («дай бог сил!»), чтобы образ вышел нарицательным, как Кола Брюньон или Дон-Кихот.

Война забросила нашу фронтовую редакцию тоже на Кавказ, в город Грозный. Мы располагались в обширном пустующем здании «Грознефти». И вот вдруг сказали, что в редакцию пришел «какой-то писатель» Эффенди Капиев и хочет работать в нашей газете «Вперед за Родину». О чуде! — первое мое впечатление. В самом деле, разве не щедра на них жизнь, если имя из мальчишеских разговоров, от которых меня отделяло три-четыре года, становится реально-

стью, человеком, можно подойти и познакомиться. Только надо дожидаться, когда он появится из кабинета редактора.

Какой он? Горская статья, черкеска с газырями — их носили многие военные из специального полка, размещенного в окрестностях Грозного?

Эффенди Капиев оказался человеком очень мирного облика, сутуловатым, с мягкими глазами, тихим голосом, в нескладной шинели без погон. Его не брали в армию. Из-за старой, тяжелой болезни желудка он был освобожден, как говорилось, вчистую. И если он появился на фронте, то даже не добровольно, а, точнее сказать, самовольно.

Не знаю, какими доводами он убедил редактора зачислить его в штат. Может быть, наш редактор Дмитрий Максимович Прикордонный просто был душевным, хорошо понимающим других человеком. Может быть, как и всякая газета, мы нуждались в хорошем писателе. Может быть, помогло и то, что Эффенди застал редакцию на колесах. С позиций у Терека армия начинала наступление вдоль Кавказского хребта, содействуя завершению Сталинградской операции и развивая ее успех. Быстро освобождались Георгиевск, Пятигорск, Минводы. Некогда было особенно долго разговаривать.

А, может быть, все вместе сыграло свою роль — не знаю, как сказать, — счастливую или несчастливую, это неразделимо.

Так или иначе, Эффенди Капиев стал вольнонаемным сотрудником редакции.

Перерезав Кубань от азовских плавней до кавказских предгорий, гитлеровцы весной сорок третьего года укрепились на так называемой «Голубой линии», проходившей через станицы Киевскую, Абинскую, Крымскую. И распутица — невероятная весенняя распутица черноземного края! — приостановила наше наступление. Не стало дорог. Все вокруг заплывало непролазной грязью, в которой по фары вязли автомашины со снарядами.

Редакция обосновалась на окраине Краснодара, где город больше походил на станицу с одноэтажными домишками и коровами во дворах. Среди этих домишек лежала площадь с тусклым трамвайным кольцом. На нее глядели окна единственного двухэтажного здания, занятого госпиталем. Рядом, по жилым комнатам, стучали машинки, работала наша редакция.

Отсюда Капиев ездил на самый трудный участок боевых действий — в плавни.

Я тоже бывал в плавнях. Война велась среди болот и заливов, в камышах. Пушки и пулеметы — в лодках. Комаров сгребали ладонями, размазывая по лицу кровь. Снаряды плюхались в воду, урча и пуская пузыри. Они тонули, не разрываясь. А если и рвались в глубине, то вставал шар грязи без осколков. Поэтому чаще применялись мины, рвущиеся при первом прикосновении к воде или камышу. Укрыться от этих осколков, как и от пуль, было нелегко — они настигали и в воде. Ни окопа, ни траншеи... Болотистая трясина, растянувшаяся на сотни километров во все стороны, сама хоронила убитых.

Ох, плавни, плавни... Негде было даже костра развести, чтобы просушиться.

Как-то мы поехали в плавни вместе с Эффенди Мансуровичем. Дорога начиналась сразу за редакцией, а способ передвижения был один — попутная машина, голосование. Нам попалась полуторка с брезентовым верхом над кузовом. Ехало в машине несколько человек — молодой офицер, девушка из медсанбата, бойцы. Все, кроме Капиева, чувствовали себя под брезентом отлично — с неба моросило, дул ветер, а тут — ничего. Только Капиев сердился на автомобильную крышу — она мешала смотреть вокруг. И он постоянно выглядывал из «кибитки», свешиваясь через задний борт. Потом вздохнул, успокоился:

— Все равно не видно!

И прислушался к разговору, стал спрашивать о том, кто откуда, давно ли воюет и чем займется после войны.

Санитарка, издерганная и раздраженная, стала насмешливо и рьяно доказывать, что загадывать сейчас бесполезно. Стукнет первая бомба — вот вам и вся послевоенная жизнь.

— Но без мечты нельзя победить, — сказал Эффенди тихо и просто, как он говорил всегда.

И девушка замолчала на время, и все примолкли. А потом начали петь. В машинах всегда поют громко. Постепенно и мы разошлись, до хрипоты, и Капиев сначала подпевал случайным спутникам, а потом с виноватой улыбкой молчал и слушал, и все старался улечься, долго ворочаясь на прыгающем жестком дне кузова, на сырой плащ-палатке.

Где-то под Славянской образовалась в дорожной грязище «пробка». Пошли пешком. Станица была далеко, но мы все же пошли.

Сейчас ясней, чем тогда, представляю я себе, как он мучился из-за проклятой незаживающей язвы. После трех-

четырёх часов дорожной тряски самый тяжёлый путь пешком казался ему спасением. И мы шли в сторону фронта, волоча на сапогах по пуду грязи. Хорошо, что дождь перестал. Я мечтал о сытном обеде, а Капиев вынул из вещевого мешка, всегда болтавшегося за его плечом, тощий сухарь и стал сосать. Сказал с улыбкой:

— Обед на ходу — удобная штука на войне.

Добрая, трогательная улыбка была для него характерна. Тогда, в дороге, единственный раз заговорили мы о его болезни. На вопрос, крепко ли она его терзает, он ответил, что крепко. Даже в редакционной столовой не могли наладить подобия диетического питания, а что же было говорить о фронтовых дорогах! Оставались голые сухари — на завтрак, обед и ужин.

Конечно же, больной Капиев мог находиться далеко от плавшей. Но тогда он не был бы Капиевым, который не отделял долга журналиста от долга солдата, судьбы писателя от судьбы рядового. Он не был бы Капиевым, который написал:

«Да, брат, я знаю Шекспира, я люблю Чайковского, я читал всех мировых классиков, от Флобера до Уолта Уитмена, я изучал законы физики, электричества, любил русских пейзажистов, знаком с философией, могу прочесть наизусть многие японские четверостишия, восточные притчи, Омара Хайяма, Саади. О люди, как хорошо я чувствую лирику и кино, музыку и скульптуру... Но к чему все это? Кому интересно, знаю я или не знаю, чувствую или не чувствую? Никакого права рассчитывать на лучшую участь, чем другой рядовой, я не имею, не имею и не могу. Наоборот. Раз я все это узнал, значит, я больше жил и постиг в жизни, чем этот рядовой.

Итак, в бой!»

И, преодолевая тяжкий физический недуг, почти ежедневные боли, которые он маскировал застенчивой улыбкой, хотя лицо его становилось серым, писатель оставался в строю. Капиев много работал: писал не только в нашу фронтовую газету, но и в «Дагестанскую правду». Он был нужен другим, потому что мог, говоря словами его дневниковой записи, «не только рассказывать, но и звать». А мог он это не благодаря восклицательным фразам, а благодаря девизу всей своей жизни в литературе: «Надо быть честным, — каждая строка истинна».

В своей длиннополой шинели, с вещевым мешком, сиделся Эфенди на завалинку кубанской хатки, слушал раз-

говоры бойцов, сам незаметно вплетал в них свой голос, заговаривал на родном языке с кавказцами.

Все бывало — грубый окрик, нотация какого-нибудь младшего сержанта, если мимо проходил офицер, и бойцы вставали, а вольнонаемный Капиев оставался сидеть на завалинке, просто-напросто забывая встать или не зная, что ему делать, и невольно нарушая общий порядок. Нашему брату-журналисту и в офицерском звании было нелегко, а в солдатской шинели Эффенди лишался даже тех маленьких преимуществ, которыми мы все же пользовались. Но он никогда ни на кого не обижался. И не жаловался.

Итак, мы брели по грязной дороге к плавням...

Выглянуло солнце, и стало заметно, что весна пробивается сквозь дождь и слякоть. Кое-где, в одиночку, зацветали деревца, под заборами у разбитых домиков Славянской зеленела трава. Может быть, тогда в записной книжке Эффенди Капиева и родилась строка: «Весну нельзя убить — она идет. Так и народ».

Записная книжка... Капиеву она всегда была необходима, как раздумье, как разговор с самим собой, как тихий собеседник, хранящий следы пережитого. Он полушутливо говорил, что самую меткую фразу можно придумать, пейзаж увидеть снова, а вот мысли... мысли надо записывать, они уходят навсегда. Многие это знают, но не все умеют вести записи, ежедневные, постоянные. Он и знал, и умел. Это — кропотливый труд, великая дисциплина и великая преданность своему делу, избранному пути. Черта и таланта, и характера.

Он и всех сотрудников газеты приучал к записной книжке. По вечерам устраивались соревнования: кто что записал за день.

Близился закат. Мы присели на обочину дороги, чтобы отдохнуть, и, посидев, раскрыли блокноты. Вдали стояло зарево. Это горели плавни, горели подожженные гитлеровцами камыши. Я записал, что обычно закат сравнивают с пожаром, а тут пожар походил на ранний закат. И прочел строчки Капиеву.

А он прочел мне о том, как станичные мальчишки играли в войну, напялив на себя немецкие каски. И о том, как в одиноком огороде работал лопатой инвалид, опираясь на костыль. Я видел и мальчишек в касках, и того самого инвалида, но только в записях Капиева они предстали предо мной в своем истинном значении и теперь уже остались в памяти

навсегда — мысли в образах. Он обладал завидной способностью наблюдать и закреплять увиденное не попутно брошенным словом, а карандашом.

Утром мы были в Анастасиевской, дальше — плавни. На окраине, при выходе из станицы, встретился нам высокий смуглый красавец в крылатой бурке. Это был один из давних знакомых — артиллерист Яков Чапичев, в последующем Герой Советского Союза. Он командовал истребительным противотанковым дивизионом. Мы оба сразу померкли перед ним. Резкие черные брови, такие же черные и пышные усы, глаза чуть-чуть нависают, грозные и вместе с тем — вдрут — детские.

Мы знали, что Яков Чапичев отличался необыкновенной храбростью. Но кроме того, он писал стихи, до войны их печатали в Крыму, где он жил. Потом он работал в газете. И мы встретились, как коллеги. Во всяком случае, он нам очень обрадовался.

Скоро мы сидели в белой мазанке, ели оладьи со сметаной, и Яков читал Капиеву новые стихи. Капиев едва прикоснулся к оладьям (запрещенная еда!), а стихи искренне хвалил, и растроганный Яков вынул из кобуры трофейный пистолет и подарил гостю. Капиев взял пистолет в руки, и сейчас же раздался выстрел. Оказывается, он никогда не держал пистолета и как-то ужитрился нажать на спуск.

Пуля шлепнула в побеленную стенку возле стола. Отлетела штукатурка, оставив серую метку. Саманная стенка была пробита насквозь.

Никто из нас не успел опомниться, а Капиев уже убежал на улицу, бросив пистолет на оладьи. Вернулся он слегка побледневший, но веселый.

— Там сидели бойцы, возле дома, — сказал он. — Просто счастье, что они уже ушли...

Никто из нас, входя в мазанку, и не заметил этих бойцов. А ему, возможно, хотелось задержаться, поговорить с ними...

От пистолета он отказался.

— Я не умею стрелять.

Наш разговор прервали оглушительной силы взрывы. Мазанка затряслась. Анастасиевскую часто бомбили, доставали снарядами, потому что здесь, у последней черты суши, размещались штабы и теснились склады и кухни, остановленные плавнями. Но сейчас ударило небывало мощно и громко.



Крайняя слева — Лена Карастоянова. Она была такой, как все. Ничем не отличимой от партизан Илетнянского леса.



«Свой глаз — алмаз» — это была любимая поговорка Александра Анохина. Он и в самом деле обладал зорким взглядом...

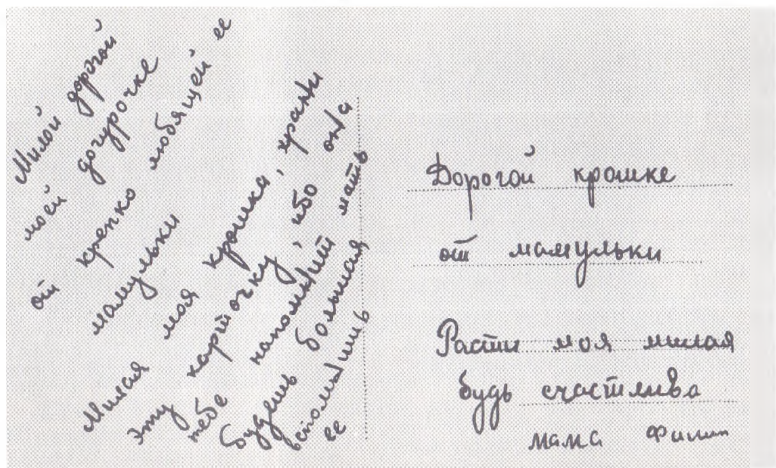


Капитан Константин Бельхин. Ему «в Отечественной войне острейшее было дано оружие».



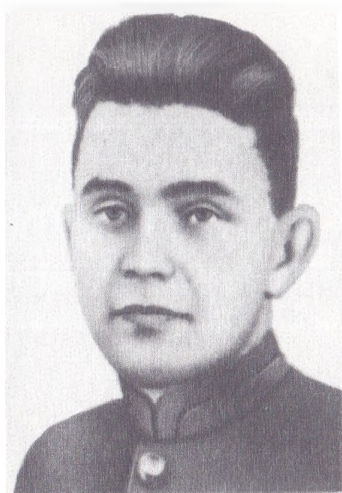
Корректор Мила Филиппова в редакции островской районной газеты «За колхоз». 1937 год.

Прощальная надпись Милы Филипповой на своей фотографии.





Вот этот снимок далеких лет, о котором рассказывает в своем очерке Евгений Каменецкий. Слева — автор, справа — Иван Мирошниченко, погибший на «Малой земле».



Иван Ерохин, черноморский собкор «Правды». Имя его стоит первым на Мемориальной доске правдивцев.



Редакция газеты 18-й армии «Знамя Родины» притягивала к себе всех военных корреспондентов. Этот снимок с помощью «автоспуска» сделал фотокорреспондент ТАСС Е. Халдей 10 сентября 1943 года. Слева направо: А. Софронов, П. Белявский («Известия»), И. Ерохин («Правда»), П. Бернштейн («Известия»), М. Пойченко (кинохроника), М. Альперт (ТАСС), В. Верховский (редактор газеты «Знамя Родины»), Г. Ашаровский (ТАСС), Е. Халдей, И. Павловский («Правда») и выпускающий армейской газеты А. Путин.

Володя Апошанский любил морскую форму и лихо носил ее. На снимке он слева. Стоит — фотокорреспондент А. Бродский, Ленинградец. Справа — спецкор «Красного флота» старший лейтенант Е. Наменецкий. Это — последний снимок Апошанского. Он сделан 24 сентября 1943 года.



Еще минута — и самолет уйдет в только что освобожденные районы Брянщины. Редактор фронтовой газеты «На разгром врага» полковник А. М. Воловец (справа) пришел проводить в ответственную командировку сотрудника редакции капитана Александра Лапина.

«Человек без погон» — Эффенди Капиев, сотрудник газеты Северо-Кавказского фронта «Вперед за Родину». Этот снимок сделан в Краснодаре, в мае 1943 г.



Много времени прошло со дня гибели Зои Хмелевской. Газета, в которой она работала, уже называлась иначе — «Суворовец» — и издавалась на другом фронте. Но коллектив редакции свято хранил память о погибшей.





Марк Лисянский и Александр Кузнецов (справа) у здания газеты «Северный рабочий». Перед отправкой Кузнецова на фронт их сфотографировал, впоследствии также погибший, М. Щепкин.

В лесу под Насней в августе 1941 года. Утро в палаточном городке военных журналистов. Саша Кузнецов (справа) и корреспондент «Известий» Л. Кудреватых.

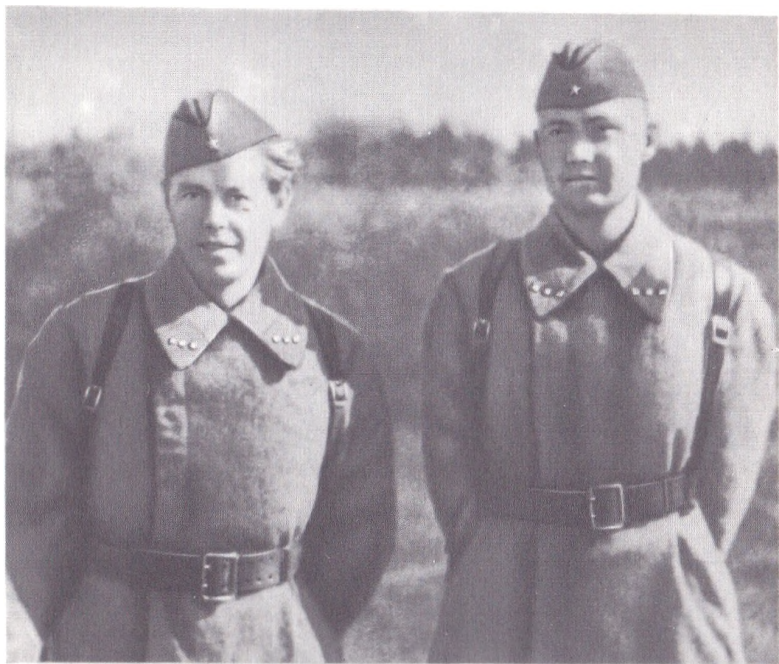
Так чтят память Саши Кузнецова ярославцы.



После боев, в редкие часы за-
тишья, Леонид Гончаров любил
уединение, плеск весла, закат-
ное солнце над тихим озером,
свидание с родной природой...



Редактор дивизионной газеты «В бой
за Родину» майор Алексей Флягин.



Справа – Борис Песков, слева – Юрий Цишевский. Сентябрь 1942 года, район станции Шаховская, тогда Рижской железной дороги. Это было совсем недалеко от Москвы...

Таким был до войны бакинский журналист Георгий Ушков.



Сохранилась подшивка газеты «За Родину», в которой напечатаны многие стихи, заметки и корреспонденции Георгия Ушкова. Эту тематическую подборку организовал он.

Смерть немецким оккупантам!

За Родину

КРАСНОАРМЬЕВСКАЯ ГАЗЕТА

№ 80 | Вторник, 6 июня 1944 г. | № 80

ПРОЧИ И ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

**Воин! Ряды
истребителей множь!
Слава тебе,
коль фашиста убьешь!**

ОНИ ИСТРЕБИЛИ ДВЕ РОТЫ НЕМЦЕВ!

Ефрейтор Эсериев и старший сержант Русанов уничтожили по 100 немцев каждый

СЛАВА ЗНАТНЫМ СНАЙПЕРАМ! Бойцы подразделения старшего лейтенанта Данилова	УБИЛ СОТНЮ — УБЬЮ И БОЛЬШЕ СОТЫЙ НЕМЕЦ То был день упорной охоты. Уже вечерело, а я все	не стал осторожен и много выдумки и находчивости, чтобы выманить его из берлоги	ЗА ЧТО Я ИХ БЬЮ На путь истребителя врага не направлял нева-
--	---	--	---



Фотокорреспондент ТАСС лейтенант Владимир Иванов. Это он поднял в атаку батальон, сражавшийся за освобождение Белграда.

Части 4-го Украинского фронта форсируют Сиваш. Снимок военного фотокорреспондента ТАСС Владимира Иванова.





Части 4-го Украинского фронта форсируют Сиваш. Снимок военного фото-корреспондента ТАСС Владимира Иванова.



Корреспондент Совинформбюро Мкртыч Оганесович Лилоян, скромный, храбрый, веселый и душевный человек, которого все — от шофера до командующего фронтом — звали просто Лило... Этот снимок сделан в сентябре 1942 года.



Поправившись после ранения, Иосиф Уткин (слева) снова вернулся на Брянский фронт. В то время редакция газеты «На разгром врага» стояла в лесу возле Ефремова. Послушать только что написанные стихи Уткин позвал в свою палатку корреспондента «Известий» Леонида Кудреватых.



Ответственный секретарь редакции газеты «На разгром врага» А. Я. Митлин — симпатичный хлопотун-работяга из породы тех газетных коренников, которые берут на себя главную тяжесть редакционного воя.

«Ходжа Насретдин на фронте» — такую рубрику завел в газете для воинов-узбеков ташкентский журналист Абдулла Шарафутдинов. Всю войну он провел на передовой и немного не дожид до победы...



А заголовок фронтовой газеты «Красноармейская правда» на узбекском языке выглядел так:

Немис босқинчиларга ўлим!

ҚИЗИЛАСКАР ҲАҚИҚАТИ

Қизиласкарларнинг фронт газетаси
Красноармейская Правда на узбекском языке

№ 27 (220)

27 апрель 1945 йил, Жум'а.

№ 27 (220)



Это — единственный сохранившийся снимок партизанского собора Михаила Белобородого. Он сделан в июле 1944 года, после его поездки в ЦК комсомола Белоруссии.



Владимир Валерьевич Черноsvитов. Он был хорошим товарищем, всегда готовым прийти на помощь другому.

Майор Яков Чапичев. Он был лихим журналистом и воином. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.



Мой Догурке

Долорессагале.

Когда придет сирень в дом,
И ли поплыв в зыблях у пещеры.
Я вижу Долорессагу мою,
Родную, не покинувшую Догурку.

Миланский взор мне титлаз слеза,
И вот опять встает передо мною,
Курносый носик, горит глаза,
И девочка с курчавой головкой.

Потом зима, Битва еще во льду,
И склибе охотно калено созрели,
И до сих пор наводни в Догурку,
С подругами востановили изрости.

Мы сражались в этой равной отраде,
Это-ж счастье нас, как солнышко сидело,
И вот, мама Долоресса на войне,
Зверей-фашистов истребили немало.

Настал Век! Мы пришли в дом,
Сведели и Догур, и Догурку,
И вновь вижу доинки мою,
И склибу родную Долорессу.

Мама Яков,
25 марта 1943 года.

**Автограф письма-стихотворения
Якова Чапичева своей дочери
Долорес.**



**На могилу Якова Чапичева во
Вроцлаве приехали советские
пионеры.**



**Арсен Оганесян из Ростова. Он
погиб, когда гремели уже финаль-
ные залпы жестокой войны. Это
случилось 15 апреля 1945 года.**

Посредине станицы лежал пустырь, окруженный фруктовыми деревьями. Здесь шел концерт заезжей бригады фронтовых артистов. Мы должны были пойти туда и были бы там, если бы не встретили Якова Чапичева. И вот теперь мы ходили по этой поляне, по еще горячей земле, изрытой бомбами. Оказалось, что внезапно налетевшая вражеская авиация сбросила на место концерта десятки бомб.

Чернели воронки. Грузовики увозили раненых. На немногих уцелевших вокруг деревьев повисли обрывки одежды.

— Все слова кажутся маленькими, пустыми по сравнению с тем, что творится, — обронил Эффенди. — Не человеческими словами надо говорить об этом, а языком грома и молнии.

Но именно человеческими словами надо было сказать обо всем с той же силой, а для этого — быть здесь. Во время войны никто не имел права утверждать: «слышал», а только — «видел». Так говорил сам Эффенди.

День мы провели в плавнях, а вечером писали статьи в редакцию. Ночью лежали в темной комнате, в каком-то брошенном грустном доме без хозяев. Комната была совсем голая: голые стены, голый стол, голая широкая скамья со спинкой, на которой мы уместились вдвоем. Мы лежали головами в разные стороны под одной плащ-палаткой. Эффенди заговорил о тех, кто мог жить в этой комнате до нас и как может сложиться судьба этой семьи.

Ему становилось все хуже, и на машине полевой почты мне пришлось проводить его домой, в редакцию. А когда и я вернулся в Краснодар, то узнал, что Эффенди в госпитале, том самом здании, что стояло на площади с тусклым трамвайным кольцом. Здесь ему, увы, не стало лучше.

Когда его эвакуировали в тыл, отсутствие Капиева стало очень заметным в редакции. Всем был нужен и дорог этот тихий человек без погон.

В декабре он написал из Пятигорска:

«Дорогой друг! Ты доставил мне сегодня большую радость своим письмом. Те дороги, по которым в грязи, под бомбежками и т. д. мы скитались вместе, — да будут благословенны!.. Все проходит на этой земле, остаются лишь воспоминания...

Я очень болен и на днях готовлюсь к тяжелой операции: будут вырезать почти весь желудок. Измучила меня эта болезнь вконец! С тех пор, как я тогда слег в госпиталь, и доныне все страдаю...

Ах, будь я здоров, я бы ни минуты не сидел здесь, в тылу,— это пытка!.. Теперь бы работать, но жизнь и здоровье сковывают мои порывы...

Где вы, друзья мои? Хорошо вам, бодрствующим, там, на гребне, среди себе подобных молодцов, но здесь, в глубинах, в этой зябкой лихорадке и слякоти тыла,— худо, братцы, среди инвалидов, детей и голодных старух... Однако очень может быть, что это моя проклятая болезнь влияет на мои настроения, так что не делай слишком пессимистических выводов...

Ведешь ли ты свою записную книжку или забросил это дело? Помни, что таланты созревают в раздумьях, в сомнениях и тоске. «Уходите, мысли, восвояси, обнимись души и моря глубь, тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп». Это четверостишие Маяковского пусть будет эпиграфом к очередной твоей записной книжке.

Обнимаю тебя и желаю здоровья!.. Пиши! Обещаю тебе отвечать аккуратно, если останусь жив после операции. Поэтому пожелай мне удачи и будь здоров, дорогой».

Все мы желали ему удачи, но она подвела. Недаром, видно, ее зовут слепой. 27 января 1944 года Эффенди не стало.

Но его фронтовые очерки еще долго делали свое дело, как и сейчас делают его книги, трогая и наполняя людские сердца умной мыслью и требовательной и деятельной любовью.

Он писал о людях, выросших на войне:

«Я слушаю Ибрагимова и диву даюсь: откуда он, простой горец из далекого аула, набрался столько знаний и мудрого, высокого чувства патриотизма? Война— великая огненная школа, и в ее кипящем пламени люди растут, как в сказке, не по дням, а по часам».

В братстве советских народов видел он душу новой жизни:

«Осетин Хазаев, единственный горец в отряде, воспринял от русских своих бойцов русскую волю и думу, русское спокойствие и широту души, русскую жизнерадостность, а русские бойцы в его отряде в свою очередь восприняли от командира-горца осетинское упорство и гибкость, осетинскую нетерпеливость. Народы наши взаимно дополняют и обогащают друг друга. Сформировалась многогранная, испытанная и великая в каждой мелочи общая душа нашего обновленного советского народа. Именно это и есть одна из тайн непобедимости нашей страны».

Так писал он вроде бы в беглых, газетных очерках «Талисман» и «Легенда и жизнь».

Сын лудильщика, воспитанник детского дома, преподаватель русского языка в дагестанской школе, он нашел свое место в строю и никогда не покидал его. Он всегда был человеком, думающим о жизни и глядящим вперед,— писателем, журналистом.

Сознание счастья, что ты знал такого человека, общался с ним, приходит, к сожалению, вместе с горечью от другого, непоправимого факта — его потери.

Если бы он подчинился запрещению врачей, уехал из редакции, то был бы и теперь с нами, жил, думал, писал. Но как он мог уехать, когда шла война! А ведь он погиб совсем молодым!

Я пишу погиб, потому что каким же еще словом назвать его смерть на операционном столе?

Он не вернулся в редакцию. Его отняла война. И гибель Эффенди Капиева — это гибель солдата на поле боя.

Марк Лисянский
САША КУЗНЕЦОВ



о роду своей деятельности Саша Кузнецов встречался со многими людьми, и многие, очень многие из них становились его друзьями. Это не только обычная для газетчика профессиональная черта, это было органичным свойством веселого, общительного, цельного характера человека, не умеющего быть равнодушным к людским судьбам.

Началась наша дружба более тридцати лет назад. Началась... с конфликта. Я тогда был на действительной службе в Ярославле и с увольнительной в кармане пошел на собрание ярославских писателей, на котором чествовали одного поэта по случаю его сорокалетия. Как бывает в таких случаях, поэту говорили добрые слова, и вдруг поднимается никому не знакомый красноармеец и горячо начинает уверять уважаемое собрание, что прочитанные поэтом стихи зсего-навсего бледное подражание Есенину. Тут вскакивает невысокий человек, чернявый, со смолистым хохолком, оглядывает с ног до головы незваного гостя и яростно обрушивается на него.

Красноармеец был я, а чернявый, со смолистым хохолком, Александр Александрович Кузнецов, корреспондент «Известий» по области. После вечера Кузнецов подошел ко мне и начал расспрашивать, откуда я «такой появился», а потом широко улыбнулся и неожиданно для меня сказал: «Приходите на наши вечера, они у нас бывают и неюбилейные...»

На другом писательском собрании Кузнецов сам отыскивал меня среди присутствующих, подсел и предложил прочесть стихи. Я прочел несколько «черноморских» стихотворений, в том числе стихотворение «Город Николаев», которое понравилось Кузнецову. Александр Александрович дал мне телефон корреспондентского пункта «Известий», и с тех пор я частенько захаживал туда. По его совету после окончания службы я остался жить в Ярославле и начал работать в областной комсомольской газете.

По обыкновению мы созванивались и после работы шли домой вместе, предварительно завернув на Волгу. Жили мы недалеко друг от друга и, как правило, после прогулки по набережной отправлялись пешком, хотя идти было не так уж близко. Нам было о чем поговорить! И мы не замечали, что стоим уже на проспекте Шмидта и надо расставаться. Саша всегда меня пилил, что я мало пишу, что газета газетой, а первую книгу стихов уже пора бы выпускать. Он-то умел и выступать в областных газетах, и посылать корреспонденции в «Известия», и писать рассказ за рассказом, и работать над книгой о ювелирах Красного села, а у меня газета забирала все время. И на книге «Ювелиры», вышедшей в 1938 году, он сделал такую дарственную надпись:

Писать бы стихи Лисянскому Марку,
Стал бы Лисянский поэтом,
Носил бы с достоинством высокую марку
И книги стихов при этом!

И прозой дописал: «Надеюсь в этом году получить от вас авторский сборник стихов».

Да, он многое успевал помимо газеты, но именно газета была его любовью, была источником, который питал его книги. Редакция — с ее вечной гонкой, с письмами и телефонными разговорами, с поездками в любую погоду — была родным домом Александра Кузнецова. Он на ходу обрастал людьми, которые становились его друзьями и помощниками в работе. Он любил говорить: «Я за версту чувствую хорошего человека».

Я был в комнатке, корреспондентском пункте «Известий», когда к Саше пришел по каким-то «речным» делам работник волжского пароходства. Я листал подшивку газеты, а Кузнецов беседовал с речником. Они, как видно, обо всем договорились, посетитель, седой, высокий, крепко сложенный человек, откланялся и пошел к выходу. Я поднял глаза и увидел, как Саша провожает его удивленным взглядом.

— Мне кажется, это очень интересный человек, и фамилия у него необычная, в ней есть что-то моряцкое — Магдалинский! — он нараспев, по слогам, произнес фамилию речника.

— Ты впервые с ним встречаешься? — спросил я.

— Впервые, но он заспешил, я даже не успел вас познакомиться, его ожидает катер на Волге... — Кузнецов улыбнулся одними глазами: — Сегодня он был у меня на приеме, а завтра я пойду к нему на прием...

Через несколько дней Саша познакомил меня с Александром Васильевичем Магдалинским. Он оказался участником цусимского сражения, рулевым крейсера «Олег», служил после на «Авроре», прошел путь от матроса парусного судна на Каспии до капитана волжского парохода, а сейчас обучал ярославскую ребятню морскому делу. Мы подружились с Магдалинским, чудесным человеком, много повидавшим на своем веку, знающим цену мужской дружбе и доброй шутке.

Заводилой был, конечно, Саша. Все, что делал Кузнецов, он делал щедро и весело. Как-то я пришел вечером в редакцию и увидел на своем столе записку:

Тра-та-та,
Тра-та-та,
Кошка вышла за кота.
Вам позвонит Магдалинский —
Вы ему скажите: Да!

Через час позвонил Магдалинский, я ему сказал «да», а еще через час ввалились в редакцию Кузнецов и Магдалинский и сообщили, что рабочий день окончен и нас ожидает моторка, что я сказал «да» и мы едем на всю ночь рыбачить. Несмотря на протесты: дескать, не дописана срочная статья, они меня выталкивали из «редакционной берлоги», как называл нашу редакционную комнату Кузнецов:

— Хватит сосать собственную лапу!

Дружба, начавшаяся с коротенькой заметки о волжских речниках, с каждым днем крепла. Кузнецов помог Магдалинскому написать первые главы будущей книги, которые появились незадолго до войны в Ярославском альманахе. Впоследствии вышла двумя изданиями книга Александра Васильевича Магдалинского «На морском распутье», а затем книжка «На Волге» с подзаголовком «Записки старого капитана».

Саша жил широко, с какой-то восторженной юношеской влюбленностью в жизнь, в людей, в Волгу, в столетние липы

на набережной, в ярославскую землю, каждый уголок которой он знал досконально и по которой шагал легко и упруго матросской, чуть покачивающейся походкой. От него, коренастого, смуглолицего, веяло здоровьем и энергией. Он был охотником, заядлым рыбаком, мастером ухи, попахивающей дымком костра. А как он любил собирать грибы! Не доверяя даже собственной жене, он сам искусно их солил, мариновал, жарил, готовил потрясающие грибные супы. Вкуснее грибов, чем у Кузнецовых, я после никогда не едал.

Все это делалось не в одиночку. Ни в коем случае! Он не играл в скромность, он был всегда самим собой, в его отношениях с людьми не было и в помине той снисходительности, от которой нельзя избавиться, если она в крови. Он дружил на равных с людьми, будь то профессор или тракторист, и они, эти люди, вместе с ярославской землей, с ее расцветами и закатами, ветрами и грозами, реками и лесами входили естественно и достоверно в его статьи, очерки, рассказы.

Ему было тесно на газетном листе, ему было мало обыкновенного факта, из которого рождалась оперативная заметка. Он любил «копать» глубоко, и поэтому рядом с заметкой вырастал рассказ. Так появилась книга «Ювелиры». Кузнецов поехал по редакционному заданию в Красносельский район, там заинтересовался тонким и самобытным ремеслом ювелиров, чье искусство передавалось из поколения в поколение. В Красном селе он познакомился с потомственным гравером по стали Иваном Петровичем, который рассказал о существовании книги, содержащей историю Красносельского района. В поисках неуловимой книги-легенды Кузнецов пробирался из деревни в деревню, рыскал по чердакам и подвалам, перезнакомился с десятками людей и... сам создал эту книгу.

«Ювелиры» появились в Москве, в журнале «Новый мир», вышли несколькими изданиями и быстро нашли своего читателя. Имя автора стало известно и за пределами Ярославщины. А вслед за «Ювелирами» читатель получает новую книгу, «Пошехонскую новь». Кузнецов и в ней остается верен себе. Он едет к героям будущей книги, в край, прославленный Салтыковым-Щедринным, и открывает пошехонскую новь там, где была пошехонская старина. В рыбинском автобусе, который везет писателя, мы въезжаем в новый, интересный мир, знакомимся с новыми людьми, восторгаемся новыми пейзажами, слышим новые песни.

Так рождались кузнецовские книги, так соединялись в одно целое житейский факт и художественный вымысел, любознательный журналист и бывалый писатель. Все, что писал Кузнецов, имело точный адрес, имело всегда большого читателя. Это было особенно ясно на литературных встречах. Мы не раз выступали вместе в цехах шинного завода и в педагогическом институте, в колхозном клубе и в театре имени Волкова, в Рыбинске и Костроме... Кузнецов никогда не приспосабливался к аудитории, но в любом зале были его читатели и почитатели.

Помню нашу поездку зимой 1940 года в Антроповский район. Как везде, и в Антропово оказались Сашины закадычные друзья: редактор районной газеты Николай Ракитин и его жена Евгения Ракитина. Заранее в местной газете появилось объявление о нашем вечере. Как потом писал «Северный рабочий», на вечер приехали люди из других деревень за десять — пятнадцать километров. В этот день был сильный мороз и резкий ветер. Ракитины нас обрядили в тулупы, и мы поехали на санях в клуб. Мы уверяли Николая Степановича, что в такую погоду ни одна живая душа не придет в клуб, но он только посмеивался.

Довольно просторный клуб был переполнен. Почему-то погас свет. И вот при двух керосиновых лампах начался вечер. Я никогда не забуду Сашу Кузнецова, читающего в полумгле, в абсолютной тишине очерк «Главный» из «Ювелиров». Я и сейчас хорошо слышу кузнецовский голос, вижу, как он, передавая речь своего героя по прозвищу Главный, рассказывающего становому о своем побеге из тюрьмы, таинственно говорит, нажимая по-ярославски на «о»:

— Сплю я, господин становой,— вдруг видение. Светло стало. Весь сарай наполнился лучезарным сиянием. Проснулся я. Смотрю — дверь настежь отворилась, и входит преподобный отец Серафим. Весь в белой мантии и подпоясан. Подходит ко мне, простря вот этак,— Кузнецов простирал в зал руку,— правую длань свою, и глаголет: «Главный, встань и гряди за мной!» Не посмел я послушаться, вышел из сарая...

Кузнецов читал, увлекаясь собственным рассказом, читал так, как будто в узком дружеском кругу передает недавно услышанную историю. В зале все время вспыхивал смех. Сашу не отпускали. Он еще долго читал, отвечал на вопросы, рассказывал о дальнейшей судьбе своих героев.

А потом война... На другой день после объявления войны, в понедельник, позвонил мне Кузнецов, и я не узнал его

голоса, помрачневшего и строгого. Мы встретились у входа в «Северный рабочий», редакция которого тогда была на Советской площади. Не сговариваясь, молча пошли на набережную, к Волге. И там Саша мне сказал, как о чем-то продуманном:

— Наше место сейчас на фронте, завтра позвоню редактору «Известий», буду проситься в Действующую...

Двух мнений у нас по этому поводу не было, но оказалось, что наше решение исполнить не так просто. Кузнецов звонил в «Известия» чуть ли не каждый день и все ждал ответа. И каждый раз передавал мне свой разговор с редактором со всеми интонациями. Я действовал через обком партии, и так как у меня была военная должность — я был младшим лейтенантом, командиром саперного взвода, — то вскоре своего добился. Саша меня провожал на Всполье в армию. А за день до этого печать и ключи от комнаты Ярославского отделения Союза писателей, которые я принял неделю назад от Василия Александровича Смирнова, уехавшего на фронт, я сдавал Александру Александровичу Кузнецову. Мы вышли из «Северного рабочего» (отделение занимало одну из комнат редакции), и Саша вдруг с какой-то тревожной нежностью и грустью сказал:

— Чертушка, ведь мы завтра расстаемся, давай сфотографируемся на всякий случай...

Я запомнил: он сказал не на память, а на всякий случай. Сказал — и тут же легко взбежал по лестнице в редакцию и вернулся с фоторепортером газеты Мишей Щепкиным (очень молодым, очень красивым, только что женившимся Мишей Щепкиным, который прошел всю войну невредимым — последний раз мы с ним случайно встретились в майском Берлине, — Мишей Щепкиным, который уже после победы подорвался на немецкой mine), и мы сфотографировались возле редакционной автомашины на фоне окон «Северного рабочего», перекрещенных белыми полосками войны.

Наши фронтовые дороги разошлись. При помощи тогдашнего секретаря ярославского обкома партии Николая Семеновича Патоличева я очутился на Калининском фронте, в ярославской 243-й стрелковой дивизии, а старший политрук Кузнецов в августе 1941 года уехал специальным военным корреспондентом «Известий» на Западный фронт.

Писали мы друг другу редко, но я получал часто весточки от Саши: почти каждый день на страницах «Известий» появлялись его корреспонденции. В трудную и тревожную осень

сорок первого года, когда мы вели жестокие бои под Москвой, кузнецовские статьи, очерки, заметки, наполненные горячей любовью к тем, кто своей жизнью защищал родную землю, были нужны людям, вселяли в них веру в нашу победу. И всякий раз, найдя корреспонденцию, подписанную «Ал. Кузнецов» или «Ал. Ярославец», я говорил: «Все в порядке, Саша воюет»..

А он, военный журналист, неутомимый и отважный, с корреспондентским удостоверением № 14 появлялся под Москвой и под Старой Руссой, в Ельне и в Ржеве... Отправив по телеграфу очередную корреспонденцию, он вынимал из планшета записную книжку, куда заносил все, что видел, все, что чувствовал, все, что думал и о чем мечтал. Рядом с дневниковой записью рождался замысел рассказа, возникал план будущей книги. Саша писал в окопе и на лафете пушки, он писал на бруствере и на броне, в самолете и в «коломбине», как он шутя называл редакционный «пикап». В письме в «Известия» он сообщал: «В связи с заносами вынужден ежедневно делать десятки километров пешком. Считаю своим долгом ежедневно бывать в передовых частях, которые уходят от телеграфа все дальше и дальше».

На фронте мы с Кузнецовым впервые увиделись в конце апреля сорок второго года в деревне Леонтьево, неподалеку от Ржева. Саша узнал, где стоит наша дивизия, и решил к нам добраться. Потом он занес в дневник: «Я добирался, добрался и гостил у своих родных ярославцев». Он писал в дневнике, как он добирался. Он вынужден был оставить «коломбину», потому что дорога оказалась «не только не проезжая, но даже и пешком до КП армии идти было чрезвычайно трудно».

Это до командного пункта армии! А что касается дороги до дивизии, то, по словам Кузнецова, приходилось шагать «глубочайшей» грязью «по сваленным и гниющим» деревьям, среди разлагающихся трупов лошадей. К тому же появились немецкие самолеты. Кузнецов шел пешком, потом впервые в жизни ехал верхом на лошади, перед которой ему «было совестно», потому что он ее замучил, а когда лошадь выбилась из сил, он снова шагал пешком и тащил лошадь за повод, а «она вытянула морду и еле шла...»

И он добрался до ярославцев. А мы в эту пору едва оправились от боев. Редакция дивизионной газеты «В бой за Родину» только разместилась на новом месте. Мы сами пробились по бездорожью, не спали, не ели, устали до голово-

кружения, три дня не раздевались. И вдруг над моей головой совершенно неожиданно раздался знакомый голос:

— В «Новых мирах» печатаемся!

Я ахнул. Надо мной стоял улыбающийся Саша Кузнецов. Он был по пояс в грязи, весь мокрый, но глаза сияли. Он обошел всех работников редакции, каждого тиская и приговаривая: «Нашел-таки я вас, чертушки!» Он вручил мне журнал «Новый мир», которого я еще не видел, хотя знал, что в нем напечатано мое стихотворение.

Саша был у нас в дивизии несколько дней. Мы вспоминали Ярославль, наших общих друзей, Саша рассказал о своей встрече под Москвой с ярославцем — поэтом Всеволодом Немцевичем, мы с тревогой говорили о Соне Аверичевой, актрисе Волковского театра, ставшей разведчицей. Саша провел несколько часов в одном из наших полков и отослал корреспонденцию в «Известия», а ночью рассказывал нам о старике-охотнике, который устроил для немецких офицеров развлечение — охоту на зайцев и привел «охотников» к партизанам. Впоследствии об этом был написан рассказ. Рано утром мы провожали Сашу Кузнецова. Он шутил, острил, а глаза были грустными.

Самоотверженно жил на войне Александр Кузнецов. По-прежнему со страниц «Известий» звучал его мужественный голос. Он мчался из одной части в другую, с одного фронта на другой, туда, где намечалось главное направление, главный удар по фашизму. Он был в боях под Курском и под Харьковом, на Волге и Днепре, на украинских и минских дорогах. Он шел в ногу с нашей победой, жил ею, дышал ее грозovým воздухом. И он мечтал о своей главной книге и писал о ней в дневнике:

«Мне нечего торопиться. Надо работать много. Книга выйдет после войны, и это будет моя победа, настоящая победа, ибо я смогу тогда сказать, что, когда горела земля, я смотрел не под ноги себе, а вперед...»

Человек, написавший такие слова, безусловно создал бы прекрасную книгу, в которой бы торжествовала жизнь. Полтава оказалась последним городом на его пути. В городском сквере, среди цветов и зелени могила Александра Кузнецова — журналиста и писателя, родившегося на Волге. Он погиб за десять месяцев до конца войны, 22 июня 1944 года, исполняя свой долг, успев за несколько часов до гибели отослать в Москву последнюю корреспонденцию. Он покоится в братской могиле вместе со своими фронтовыми друзьями —

журналистами Петром Лидовым и Сергеем Струнниковым. Они погибли от одной фашистской бомбы.

Я узнал о Сашиной смерти на фронте и только спустя много лет сумел приехать в Полтаву, чтобы поклониться ему. Я видел, как к этой братской могиле подошли две женщины и положили полевые цветы, которые он так любил. Здесь и появились первые строки моего стихотворения «Саша Кузнецов».

В Полтаве,
В сквере городском,
В зеленом тихом пламени,
Под нарисованным флажком,
Как под гвардейским знаменем,
Под легендарною звездой,
В цветах могила братская;
Лежит в ней воин молодой,
В ней спит судьба солдатская —
В кругу товарищей-бойцов,
Чей путь оборван бомбою...
Мой друг, мой Саша Кузнецов,
Прости вину огромную,
Мою вину перед тобой
За то, что на свидание
Иду протоптанной тропой —
И нет мне оправдания!
За то, что я стою впервой
Пред этою могилою
И слышу добрый голос твой:
— Я не прощу — помилую!
Я вижу черный хохолок,
Глаза улыбкой светятся,
И тает, тает холодок...
— Вот как пришлось нам встретиться!

...Цветы в росе, и оттого
Вокруг простор сверкающий.
А ведь в Полтаве у него,
У Саши, нет товарищей.
Нет ни родных и ни друзей,
Лишь ласточка попутная...
Ограда. Шелест тополей.
В тени скамья уютная.
Тропинки с четырех сторон,
Две женщины с букетами...

Родился, жил, работал он
Вдали от места этого.
Он рос на севере.
В краю,
Где Волга льется сказкою,

А отдал молодость свою
За тишину полтавскую.
Под братским знаменем бойцов,
Что выше всяких почестей,
Мой друг, мой Саша Кузнецов,
Не знает одиночества.
Как будто он вчера уснул
Под топодем торжественным.

Я с благодарностью взглянул
В глаза полтавским женщинам.

А в Ярославле — в городе, где он родился, где прошла юность, где он написал и напечатал свою первую газетную заметку, он остался молодым и веселым, он остался Сашей Кузнецовым. Выходят его книги, о нем пишут статьи и стихи, улица, по которой он ходил, носит имя Саши Кузнецова. Его молодость продолжается.

Юрий Чернов

ТРУДНО БЫТЬ ПЕРВЫМ



Ночью нас разбудил голос редакционного шофера: — Всех срочно вызывает редактор. Шофер был в полушубке, на ушанке еще не растаяли пушинки снега. Стало быть, только что приехал, привез редактора.

Подполковник Марасанов сидел за столом при всех орденках. На стене карта — участок фронта, занимаемый 11-й гвардейской армией.

— На рассвете начинаем наступать, — сообщил редактор. — Я прямо с Военного совета. Обстановка такова...

И Сергей Федорович Марасанов рассказал о задачах, поставленных перед армией, о количестве стволов на каждый километр и, разумеется, дал задание нам, газетчикам.

Вместе с Леонидом Гончаровым я направлялся в одну из дивизий прорыва. Нам предстояло к вечеру возвратиться, сдать в номер материал.

На большаке царило невероятное оживление. Ревели тягачи с пушками, на бешеной скорости проносились машины с боеприпасами.

Мы остановились, проголосовали. Синий свет закрашенных фар полоснул нас по лицам, но водители тормозить не собирались, пролетали мимо.

— Пошли, — твердо сказал Гончаров.

— Двадцать километров? — удивился я.

— Сейчас сядем, — успокоил меня Гончаров.

Мы прошли с полкилометра. Дорога круто поползла в гору. Рядом с нами натужно застонала груженная полуторка, с трудом преодолевая подъем.

— Карета подана,— бросил мне Гончаров и ухватился за задний борт.

Через минуту мы оба расположились на ящиках с минами. Полуторка понесла нас к переднему краю.

Для Гончарова это была очередная поездка за материалом. Он укрылся от ветра плащ-палаткой и закурил. Я же был полон тревожных предчувствий. Еще неделю назад я воевал в составе роты. Был бронебойщиком. Изредка посылал в редакцию стихи. И вот меня отозвали в политотдел и назначили корреспондентом газеты 11-й гвардейской армии «Боевая тревога».

— Покажешь действия дивизии прорыва,— сказал редактор, благословляя в первую командировку.

У меня внутри все похолодело. Я кое-как мог разобраться в делах роты, но дивизия...

Впрочем, все обошлось благополучно. Гончаров, оставив меня в роте гвардии лейтенанта Носкова, посоветовал:

— Будь с ними. Запоминай действия бойцов, фамилии. А я подамся на НП артиллеристов, потом перекинусь к танкистам. Тебя разыщу.

И он исчез.

Разыгравшийся бой мало отличался от тех, в которых я участвовал раньше. Едва артиллерия перенесла огонь в глубину, рота Носкова, «прижимаясь к разрывам», как у нас говорили, бросилась к первой линии вражеских траншей. Я бежал вместе со всеми, кричал «ура», видел Сабита Казакпаева, раненного, но продолжавшего стрелять, и Ефима Петренко, подавившего пулемет, и лейтенанта Носкова, швырнувшего в окоп гранату и метнувшегося вслед за нею туда, в неизвестность...

Возвратились мы в редакцию к вечеру. Гончаров прихрамывал — неудачно спрыгнул на ходу с танка, но был доволен: участвовал в танковом десанте. Расспросил меня о действиях роты. И подвел итог:

— Отлично поработали.

А я возвращался весь в сомнениях. В суматохе боя, охваченный общим порывом, я жил задачами роты. Но о чем я буду писать — не знал. Новенький блокнот я ни разу не вынул.

Начальник отдела армейской жизни майор Боганов собрал четверых корреспондентов, вернувшихся с переднего края, спросил:

— У кого есть на первую полосу «гвоздь»?

Все молчали. Гончаров, подмигнув мне, сказал:

— У Чернова отличный гвоздь. Первополосный.

— Почему помалкиваешь? — насупился Боганов.

— Небольшой гвоздь, — процедил я, толком не понимая, о чем идет речь.

— 180 строк! — отрезал Боганов. — И побыстрее. На первой полосе оставлена дыра.

Утром я увидел газету, которую открывала моя корреспонденция «Гвардейцы офицера Носкова ломают оборону немцев». Конечно, у Гончарова был материал не менее, а более интересный. И я не сразу догадался, что это была уловка: он незаметно, тактично, по-дружески помог мне поверить в свои силы, сделать первый шаг.

Как-то Леонид Гончаров объяснил мне, почему он особую любовь питает к разведчикам.

— Трудно быть первым. Ох, как трудно!

В эту минуту я подумал о нем: наверное, и ему нелегко. Ведь в нашем коллективе он всегда первый. На самое опасное, самое ответственное задание посылают его. Праздничный номер вести поручают ему. Тем у него неубывающий запас. Статьи правит виртуозно. Садимся придумывать шапки — лучшего выдумщика, чем он, не сыскать. Его шапки — лаконичны, броски, точны, как выстрел.

Никакая спешка, никакая усталость не могли заставить его писать небрежно, вяло, ординарно. Даже небольшую оперативную заметку он стремился отточить, словно свое главное произведение.

Помню, он примчался с переднего края промерзший, охрипший, в волосах и на бровях намерз снег. На сверстанной полосе белела полоска строк на пятьдесят — шестьдесят. Он не стал отогреваться, приходить в себя, а немедленно склонился над листом. Страница была вся исчеркана. Черновик хранил жар стремительной, но взыскательной мысли. Перепечатывать не позволяло время. Гончаров продиктовал заметку наборщикам.

Недавно я отыскал в подшивке эту заметку — «Сквозь огонь и пургу» — и удивился. На крохотном клочке бумаги уместился рассказ о подвиге рядовых Агеева, Загибуда и Васильева. Строки пружинисты. Ни одного лишнего слова.

Великолепная концовка: «Гвардия наступает. Немцев будет отвечать русская пурга»...

Однажды ночью штабной офицер связи вбежал в редакцию. Мотоцикла он не заглушил — мотор урчал под окном. Офицер протянул листки, пояснив:

— Ваш капитан передал.

Мы узнали почерк Гончарова. На страницах карманного блокнота была написана карандашом корреспонденция о подвиге знаменосца Артамона Черепанова. И опять все гончаровски ярко и живо. Шипят осколки, остывая в снегу, изрытая снарядами высотка, на которой «комья черной мокрой земли так густо легли поверх снега, что он лишь местами проглядывал между ними», и, конечно, над всем этим зримый образ солдата, погибшего, но не выпустившего из рук знамени. И в конце приписка с тремя восклицательными знаками: «Обязательно в номер!!!»

Я удивлялся неистощимой работоспособности Гончарова. Он всегда что-то обдумывал, вынашивал, до чего-то доискивался. Он не любил подбирать то, что лежит на поверхности.

Однажды мы остановились в белорусской деревушке. Выдалась редкая передышка. Мы брились, писали письма домой, заигрывали с машинисткой Тасей. А Гончаров пошел с хозяйкой хаты — пожилой колхозницей — по воду. Ходить приходилось к реке (колодцы гитлеровцы отравили). Потом он ушел на окраину деревушки разыскивать какую-то надпись и вернулся, загадочно улыбаясь.

Через несколько дней в нашей газете был напечатан рассказ Гончарова «Крещение». И тут все выяснилось.

Раньше деревушка, где мы расположились, называлась Выселки. Гитлеровцев вышибли из нее внезапной ночной атакой полковые разведчики. И один из них вырезал на деревянной стене слова: «Деревню освободили гвардейцы Симакова». С той поры крестьяне окрестили деревушку Симаково. Гончаров раскопал эту историю и поведал о ней читателям.

Сейчас, сквозь пласты времени, такой эпизод может показаться малопримечательным. Но тогда нас обжигали горячие угли сожженных врагом селений, горячие слезы освобожденных людей. И душа, открытая правдивому слову, была удивительно отзывчива.

Леонид Гончаров особенно чутко и тонко улавливал солдатские настроения.

Когда появились на нашем участке фронта «тигры», грозный танк поначалу казался неуязвимым. Потребовалось немало усилий, чтобы развенчать этот миф, повсеместно преодолеть «тигробоязнь». Занимались этим и мы, военные корреспонденты. Писали, как правило, о случаях, когда удавалось подбить, парализовать вражеские машины. Но заметки и статьи наши в общем потоке проходили, не привлекая особого внимания читателей.

Дважды выезжал на участки, где появлялись «тигры», Леонид Гончаров. И возвращался сумрачный, озабоченный. И, наконец, на третий раз он ворвался в редакцию, как вихрь, восторженно повторяя одно и то же слово:

— Тигра... Слышите — тигра...

Он попросил нас не галдеть и утонул в папиросном дыму, склоняся над бумагой.

Гончаров проработал всю ночь. К утру родился документальный рассказ.

Рассказ так и назывался — «Тигра». Это словцо Гончаров услышал из уст бывшего солдата. Грозный, рычащий, разящий «тигр» победили русская сметка, воля, выдержка, и появилось спокойно-презрительное «тигра».

В рассказе не было дешевого бодрчества, преуменьшения опасности и силы вражеской техники. Гончаров терпеть не мог шапкозакидательства. Он всегда открыто смотрел в глаза трудностям и учил этому других. Герой его рассказа — Федор Хлупенко — перед тем, как поползти с гранатами к «тигру», прощается с сержантом. Они обнялись, каски стукнулись, звякнули. И дальше — ни тени вымысла, никакого приукрашивания. Чем ближе подползает боец к зарытому по башни, почти неуязвимому «тигру», тем страшнее: «...хотел движением отогнать от себя страх, который, только остановись, начни раздумывать, насыдет, сожмет и уже не отпустит». Федор Хлупенко преодолевает страх. Правда, гранаты ему не понадобились. Он насыпал в ствол «тигра» земли. И при выстреле ствол разорвало в фантастически завернувшиеся стальные лоскуты. Успех рассказа превзошел все ожидания. У солдат прижилось насмешливое словцо — «тигра».

Внешность капитана Гончарова производила всегда противоречивое впечатление. Он был сухопар, легок, среднего роста, с большим лбом. На нем ладно сидела гимнастерка, перехваченная ремнем и портупеей, фуражку он лихо сдвигал чуть набок. И все-таки в нем угадывался человек не

военной профессии. Мне даже трудно сказать, что именно обнаруживало его не «кадровое» офицерское происхождение.

Первое время мне казалось, что Леонид Илларионович обуреваем одной страстью — журналистикой. Но позже мне посчастливилось узнать и другую грань его щедро одаренной натуры.

Как-то весной армию вывели на отдых, на переформировку. Мы стояли среди обширных лесов и обильных озер Калининщины. Однажды вечером Гончаров спросил: слышал ли я, как токует тетерева. Я признался, что не слышал.

— Тогда подключайся.

Глубокой ночью мы покинули теплую избу и направились в лес. Прогулка оказалась не из легких. Мы продирались сквозь заросли, шли по петляющим тропинкам, хлюпали по болоту. Наконец на востоке едва-едва засветлела тонкая полоска горизонта. Мы выбрались на сухое место, и Гончаров сказал:

— Постоим. Прислушаемся.

Ждать пришлось недолго. Метрах в ста от нас негромко и небыстро, строго соблюдая ритм, защелкала птица. Щелканье усиливалось, темп ускорялся, нарастал. Мы побрели навстречу тетеревиному току и скоро на высоком дереве увидели певца. Тетерев возбужденно ходил по ветке, веером распутив хвост, и щедро посылал свое любовное токование невидимой подруге.

Я не помню, сколько мы стояли, сколько слушали лес. Мы дышали полной грудью, пропитанные и пропахшие сыростью чащи. А в деревню возвратились голодные и просветленные, чувствуя одновременно и усталость, и избыток сил. В ту же ночь я узнал, что мирная профессия Гончарова — биология, что лес, его запахи и шорохи, его птицы и звери знакомы и дороги ему, как страницы любимой книги. Тогда же, наверное, я понял, что питает его любовь к своей земле, его ярость к врагу.

Весной 1944 года я не раз отправлялся с Гончаровым то на озеро, то в лес. На крестьянской долбенке мы плавали по разливавшемуся, затопившему прибрежные кусты озеру. В центре еще серели ноздреватые кругляки льдин, между тем о кустарник уже терлись щуки, приплывшие метать икру; криком утки, спрятавшись в прутья ивняка, Гончаров заманивал ошалевшего от любви селезня; обнаружив на лесной тропинке клочок заячьей шерсти, Леонид кричал раненым

зайцем. И, представьте, на поляну, пригнувшись и наострив уши, выходила осторожная лиса.

Больше всего, кажется, он любил наблюдать тягу вальдшнепов. Безошибочным чутьем следопыта он выбирал самую узкую полоску ничем не заросшей земли, отделявшую два перелеска, и говорил:

— Тут протянут, попомнишь мое слово.

Мы спрятались, ожидая, пока солнце опрокинется за макушки деревьев и растечется багровой полосой по горизонту. Запела зорянка, как бы предупреждая, что скоро начнется тяга вальдшнепов.

И верно: как по щучьему велению, невысоко, почти касаясь веток, над леском неторопливо проплыл длинноклювый вальдшнеп.

— Оок, оок, чвик! Оок, оок, чвик,— важно побряхтывала птица.

Над обнаженной полоской земли вальдшнеп пролетел несколько быстрее и скрылся в соседнем леске...

Я специально рассказал подробнее о мирной профессии Гончарова, о его ненасытной потребности общаться с природой. Без этого, по-моему, невозможно понять, откуда пришли к нему журналистская, писательская зоркость, острота чувств, душевная отзывчивость и щедрость.

Портрет Гончарова будет неполон, если не рассказать о его остроусловии, веселых затеях и выдумках.

На редакционных летучках не без основания мы с опаской поглядывали в его сторону. Сидел он обычно не на виду, казалось, сосредоточенно слушал выступающих. Но, заметив в глазах Гончарова лукавые огоньки, можно было с минуты на минуту ждать колючую реплику или хлесткую фразу.

Однажды ему «на зуб» попало мое стихотворение.

— Эти стихи,— совершенно серьезно заявил Леонид Илларионович,— должны стать достоянием историка.

Я насторожился. А он продолжал:

— Надо обладать бесспорными способностями, чтобы в одном стихотворении собрать все бытующие штампы.

Крыть было нечем...

Крепко досталось как-то нашему фоторепортеру Ивану Федорову. Вообще-то снимал он хорошо, не любил искусственных сценок, позирования, запечатлевал на пленке живую жизнь. Но порою снимать приходилось в полумраке, под дождем, в дыму, да и походная цинкография нередко подводила. И снимки в газете выходили серые.

— Посмотрите на искаженное лицо этого сержанта, — говорил Гончаров, развернув полосу. — Хочется во все горло крикнуть: боец, запомни и отомсти!..

Чаще других под огонь гончаровских острот попадал начальник нашего издательства. Нам казалось, возможно и не без причины, что начальник издательства не очень усерден. Была у него еще такая слабость: любил он поспать днем. Причем ложился на койку в шинели, перехваченной ремнем, в сапогах, в фуражке. Это означало, что лег он якобы на минутку, что свалила его усталость.

Помнится, в редакцию приехал командующий. Он на коротке побеседовал с нами и решил посмотреть, как мы живем. Заглянул в одну комнату, в другую и вдруг увидел на койке начальника издательства в шинели, сапогах, фуражке. На груди его лежал лист бумаги со словами:

«Солдат спит, а служба идет».

Мы, конечно, сразу узнали проделку Гончарова.

Или еще один случай. Леонид Илларионович близ деревни Якимово поехал с редактором на озеро порыбачить. Лодка досталась им старая, давно прохудившаяся. Редактор плавать не умел, а на рыбалку, как на грех, отправился в мундире.

Наши рыбаки были далеконько от берега, когда заметили, что челн их стремительно наполняется водой.

— Что делать, Гончаров?! — воскликнул редактор.

Леонид Илларионович вытянулся по стойке «смирно» и доложил:

— Товарищ гвардии подполковник! Все в порядке, идем ко дну...

В деревне Лешки скопилось много армейских служб. Редакцию втиснули в пятистенку, где спали мы в духоте и тесноте.

Проснулся я от жара, от шума голосов. В носшибануло дымом, глаза резануло пляшущее пламя. Кто-то рванулся к двери, но отпрянул назад — ее охватил огонь.

Гитлеровцы сбросили на деревню «зажигалки». Одна из них попала на крышу нашей избы. Неразбериха длилась недолго. Сквозь клубы дыма пробрались к окну, вышибли его и стали прыгивать на землю, точнее, на снег. Ветер раздувал пламя, шипел тающий снег, багровые отсветы метались над сугробами.

— Все выпрыгнули? — кричал редактор.

Ответить точно никто не мог. И вдруг в окне показались

одна за другой машинистки, а вслед за ними спрыгнул Гончаров. В сумятице пожара он вспомнил о машинистках, разыскал их, смертельно перепуганных, забившихся в угол, и вытолкнул в окно. Спасая машинисток, Гончаров не успел обуться. Он бегал по февральскому снегу босиком и в отсветах пожара, среди выброшенных в окно рюкзаков и свертков, разыскивал свой мешок с рукописями. Рукописи, очевидно, сгорели. Обрушилась крыша. Гончарову предлагали валенки — он отмахивался, продолжая искать мешок. Наконец он остановился и сразу поник, отрешенно глядя в огонь...

...Война стремительно откатывалась на запад. Редакция жила крайне напряженно: днем переезды, ночью — выпуск очередной газеты. Возвращаясь из действующих частей, мы подолгу путались по затемненным литовским хуторам. Не так-то просто было найти редакцию, перемещавшуюся ежедневно. Появилась у нас еще одна забота. В окрестных лесах бродили группы гитлеровцев. Остатки разбитых подразделений пробирались на запад в стороне от больших дорог, окольными путями, нападая на войсковые учреждения второго эшелона, медсанбаты.

Однажды редакцию предупредили: будьте начеку. Встретить возможных «гостей» в ближний перелесок ушли Валентин Доброхвалов, Леонид Гончаров и я.

Всю ночь просидели мы в лесу. Никто не появлялся. — Проклятые фрицы лишили меня золотой звездочки, — вздохнул Гончаров.

Доброхвалов помянул «добрым словом» бдительного редактора. Я тоже собирался на ком-то сорвать свою злость, как послышался шум шагов, похрустывание веток. В пред-рассветном сумраке шли гитлеровцы.

Доброхвалов взмахнул рукой. Мы полоснули из автоматов. Доброхвалов метнул гранату. Грохот разрыва мы использовали для перебежки — сместились метров на пять, ожидая ответного удара. Но ответного удара не последовало. Гитлеровцы предпочли скрыться.

Высокий темп наступления нашей армии увлек нас в передовые полки. В редакции мы виделись мельком, торопливо отписывались и снова мчались в войска. Во время одного из переездов, когда типографские машины отчаянно буксовали в грязи, Гончаров сказал:

— Говорят, в Германии отличные дороги.

И задумался.

Я понял: он весь уже там, на дорогах решающего наступления.

Эта же мысль промелькнула у него дня через три. Армия вышла к Неману. Гончаров примчался в редакцию на чьем-то громающем мотоцикле. Лицо было черно от пыли, только зубы белели да сверкали белки глаз. Он привез фамилии 22 гвардейцев, которые первыми форсировали Неман. Я слышал, как победно он диктовал эти фамилии машинистке.

За ужином в селе Алава Гончаров учил нашу хозяйку — сероглазую литовку — заваривать чай. Временами он замолкал, уходил в себя. И вдруг сказал:

— Конечно, трудно быть первым. Но я хотел бы написать о первом солдате, который форсирует Шешупу.

Тогда я еще не знал, что Шешупа — речушка, отделяющая Литву от Восточной Пруссии. Не знал я тогда и о том, что в последний раз беседую с Гончаровым.

...Могилу мы вырыли на пригорке в деревне Швабишки, под густым разросшимся кленом. Кто-то из наших товарищей рассудил, что в кроне старого клена непременно будут петь птицы, а он так их любил.

Рядом стояли два гроба — Леонида Гончарова и Ивана Федорова, нашего фотокорреспондента. Они погибли от одной мины на западной окраине литовского города Алитус. Это произошло 21 июля 1944 года.

После рокового взрыва к ним подбежал майор Александр Витензон, но было уже поздно. Федоров не дышал. Гончаров еще жил, ранение причиняло ему страшные муки, он просил, чтоб его застрелили, и умер от шока...

Над скромным могильным холмиком поставили мы пятиконечную звезду. Валентин Доброхвалов, Николай Богданов, Михаил Казарцев, Слава Топорков, Василий Денисов, Александр Лукьянов, Корнелий Подшивалов, Николай Воронцов, Иван Гонцов и я салютовали из пистолетов.

Наши боевые друзья погибли, как солдаты, и прощались мы с ними по-солдатски.

Альбина Флягина

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО



Мой отец, ярославский журналист и писатель Алексей Михайлович Флягин, был редактором дивизионной газеты «В бой за Родину». Он погиб в сентябре 1944 года.

Я почти не помню отца. Мы были маленькими, когда он с тысячами ярославцев в первые дни войны ушел на фронт.

В памяти остался отец-солдат. Запомнились его редкие приезды домой. Он входил в комнату шумный, возбужденный, нежно целовал маму, а потом сгребал нас всех в охапку и по очереди подкидывал к потолку. Мы прижимались к его небритой щеке, целовали загорелое, усталое лицо.

В эти дни в нашем доме был праздник. Мы усаживались за большим круглым столом и, затаив дыхание, боясь пропустить хоть одно слово, слушали бесконечные рассказы о смелых воинах, уходивших в бой и громивших врага. Он рассказывал живо, увлеченно. А детское воображение дорисовывало картины боя, и смелых танкистов, и отважных разведчиков.

А потом очень серьезно и подробно расспрашивал нас, как мы живем, учимся, слушаем ли маму, помогаем ли ей...

Отец не вернулся с войны... Он погиб в сорок четвертом, предпоследнем военном году. Смерть, как всегда, пришла неожиданно. Она застала его за рабочим столом. Была дописана последняя строчка в газете, которую на утро получили бойцы на передовой.

Была дописана последняя строчка его биографии.

До последней минуты мы ждали и верили в его возвращение, так же, как верил в это он сам. Мы ждали даже тогда, когда ждать уже было некого. Мы не видели его смерти, а извещение о гибели, которое принесла почта, не могло вычеркнуть его из жизни. Мы ждали... Примириться с тем, что его нет, было невозможно.

Он не вернулся с войны... В нашей комнате висит большой портрет. С него смотрят молодые, с веселыми искорками, глаза. Он улыбается открытой, счастливой улыбкой. Он очень любил жизнь и очень верил в нее.

Каким же он был, мой отец, проживший тридцать с небольшим лет, мечтавший о многом и не успевший сделать всего задуманного?

Ответ на это дают его письма. Письма из прошлого.

Их много, этих тоненьких, пожелтевших от времени хрупких листочков.

Они хранятся в толстом черном портфеле, с которым мама ходила когда-то в школу учить своих первоклассников. В этом портфеле его архив: рукописи, дневники, записные книжки, напечатанные рассказы.

Многое из этого архива хранится сейчас в ярославском музее.

Он писал часто, в перерывах между боями, в минуты отдыха. Писал каждому в отдельности: маме, сестре, мне, брату. Эти письма давали нам силу, веру. Они учили нас быть честными, справедливыми, добрыми к людям. Они учили нас любить жизнь. Нам очень помогал этот письменный разговор с отцом через тысячи километров войны, горя и слез.

Его письма, очень теплые и нежные, никогда не были частными. Любовь к семье переплеталась у него с огромной любовью к Родине, которую он защищал.

Особенно трогательными и ласковыми были его письма к жене, нашей маме, которую он очень любил.

Вот они, эти письма из прошлого, письма, которые помогали нам жить.

* *
*

28 августа 1941 года.

Родная моя! Несколько дней тому назад получил твое письмо, такое хорошее, хорошее! Сегодня снова пришла от

тебя долгожданная весточка, и стыдно мне, что я пишу очень редко, мало.

Любимая, славная. Не брани меня и не сердись! Конечно, как бы человек ни был занят — он всегда найдет 10 минут, чтобы черкнуть несколько строк. И я бы мог найти эти 10 минут, но как-то получалось, что с утра и до вечера (дотемна) оказываюсь занятым. Исправлю свою ошибку, буду писать чаще. Жизнь наша, мамуля, проходит в движении вперед (правда, продвигаемся еще медленно, но надеемся идти быстрее), останавливаемся на два, три, пять дней в лесах, где устраиваем временные свои жилища: палатки, щели, блиндажи. К залпам орудий, стрекоту пулеметов, взрыву бомб и реву моторов самолетов привыкли настолько, что много раз, если выпадет затишье на полдня, на день — удивляемся и даже чувствуем себя как-то неловко. О том, что каждую минуту нам угрожает опасность, не думаем, забыли об этом, ибо мысли наши — вперед, уничтожать гадов! Посмотри на эту неважненькую фотографию. Все мы бодрь, здоровы, радостны, спокойны. А ведь во время съемки над нашими головами разразился бой между «мессершмиттами» — стервятниками и нашими «ястребками». И те и другие поливали друг друга из пулеметов. Трусы стервятники, они не принимают боя, удирают. Трусы, мамуля, и фашистские солдаты и офицеры.

Если бы ты видела, как они бегают от наших красноармейцев, идущих в атаку! Ой, как бегают! Скоро побегут так, что костей не соберут. Бойцы наши, наши прекрасные советские люди, крошат их здорово. После атак на поле остаются десятки и сотни трупов фашистов.

Сколько я знаю фактов, случаев, сколько знаю людей, настоящих героев нашей Отечественной войны!

Буду жив — напишу хорошую книгу рассказов об этих людях, книгу, которая покажет силу нашей социалистической Родины, любовь к ней ее сынов, жизни своей не жалеющих для ее счастья.

Материала для этой книги у меня уже сейчас достаточно.

5 июня 1942 года.

Альбина!

Поздравляю тебя, доченька, с днем рождения и желаю тебе от всего сердца счастливой жизни.

Аллочка! Вот и стала ты еще на год взрослее, а значит,

и умнее. Вот как со взрослой и умной девочкой я и буду с тобой разговаривать.

Ты, доченька, помни, что сейчас идет война, что твой папа, как и многие другие папы, ушел на фронт. До войны наша жизнь была спокойной, радостной, счастливой. Фашисты хотят отнять у нас эту жизнь, но мы не допустим этого. Многие из нас погибли, защищая Родину, но смертью своей они сохраняют свободу Родины, своего народа, своих детей, жен, матерей. Закончится война и вы — дети наши — снова будете жить счастливо и строить еще более счастливую жизнь. Так вот, дочурка, в день твоего рождения я даю тебе наказ: никогда не забывай о тех, кто положил свою жизнь в 1941—42 годах за свободу своей Родины! Помни, что лучшей памятью о погибших за Родину будет неустанный творческий труд, который закрепит отвоеванное счастье и сделает жизнь еще более радостной.

В годы своей учебы — учись прилежно, в годы самостоятельного труда — трудись не покладая рук, будь передовым человеком Советской страны — страны Ленина.

И помни еще: всегда будь дружна со своим братишкой Русланом, помогай ему, будь дружна с Инусей, прислушивайся к ее советам, как старшей сестры. А все вместе — берегите маму, она ваша кормилица и воспитательница.

Вот и все, доченька, будь счастлива, играй, резвись в свободное время, расти большой и умной.

Целую тебя горячо, горячо.

Твой папа.

25 февраля 1943 года.

...Славная Муся моя! Как же я люблю тебя, родная, люблю тебя и своих малышей! Дорогие мои, сердечные! Как тепло, хорошо на сердце от этой любви к вам. Какой же чудесной должна быть наша близящаяся встреча, наша будущая жизнь...

Мы продолжаем идти вперед. Уже много селений, много десятков километров советской земли отняли мы у бандитов, много сотен, а может и тысяч советских людей вытащили мы из гитлеровской неволи. Если бы знала ты, как встречают нас освобожденные советские люди! В украинских хатах нам отводят лучшие места, на ночь люди отдают нам свои лучшие кровати, а когда наступает время завтрака или обеда, они отдают все, что припрятали от фашистских банди-

тов. Нас угощают варениками, блинами, помидорами, сушеными фруктами, варят борщ, галушки. А когда пробуешь отказать, обижаются:

— Вы же наши, вы спасли нас, почему вы не хотите принять от нас нашу первую благодарность?

Да! Многое испытали эти люди. О своих страданиях они будут помнить и рассказывать многие годы. Я приведу один пример.

Мы вошли в дом к одному старому украинцу, в деревне, которая несколько часов назад была освобождена нашей частью. Этот украинец упал на колени перед одним из наших красноармейцев и, касаясь лбом земляного пола, поклонился бойцу.

— Спасибо, родные, — сказал он и заплакал.

За время войны мы видели много следов гитлеровских зверств. А в этой деревне мы увидели виды пострашнее. Посреди деревни была воронка от бомбы. В воронку гитлеровцы стащили более ста убитых и раненых красноармейцев и жителей, которые укрывали у себя раненых бойцов. Облили их горючим и подожгли. ...Страшно смотреть на эту воронку.

Встретят ли после этого гитлеровские гады со стороны наших бойцов хоть каплю жалости к себе?

...У нас уже в полном разгаре весна. Солнышко такое хорошее, ласковое. Журчат ручьи, оглашенно орут галки, и густая грязь на дорогах так приятна. Места, где мы идем, очень нравятся мне. Немножко они напоминают крымский пейзаж: холмы, точно горы, белые хаты, извилистые дороги, по краям которых уложены белые каменные стены-изгороди.

Вспоминается Крым, и тянет туда вместе с тобой.

...Страшно интересуюсь своим сборником. В каком положении дела с ним? Любимая, возьми в свои руки это! Я не имею связи с издательством, и поэтому мне невозможно решать те или иные вопросы, могущие возникнуть у издательства. Представь себя на месте автора и решай самостоятельно.

Люба моя, любимая! Жди меня, родная. Обними и поцелуй за меня сына и дочурок.

Твой Леша.

21 марта 1943 года.

...Где вы, мои любимые, мои славные? Нет дня, да и, пожалуй, минуты, когда сердце мое было вдали от вас. Иногда,

когда никто не видит, я вынимаю из записной книжки ваши карточки и любуюсь вами. Я люблю это делать один, люблю потому, что в это время ничто не мешает мне улыбаться вам по-настоящему, поцеловать вас. Как далеко вы от меня, мои милые!

Новые места, новые люди! Люди меня интересовали везде и всегда, но места уже наскучили. Вначале все казалось необычным, интересным, а теперь сердце скучает по своей среднерусской природе: по березам, рощам, мохнатым елям, по тихим журчащим речушкам, по деревьям, так не похожим на здешние. В наших краях взор твой обнимает одновременно и лес, и поля, и низину, и речушки, и села — все, а здесь? Равнина, холмы, снова равнина, снова холмы.

И все же это родное, наше, советское. Каждый клочок этой земли отнят у врага, полит кровью людей, которые отдали жизнь свою за счастье своего поколения.

Счастье... Только здесь, на фронте, знаешь настоящую цену ему. Знаешь, в чем оно, это счастье. Могут быть только два счастья: либо жить свободно, либо умереть гордо. Об этом я еще напишу. Как часто я страдаю от того, что у меня не хватает слов выразить то, что я чувствую. Чувство давит меня, хочется вылить его на бумагу таким горячим, правильным. Вылить так, чтобы оно зажигало, вело людей, а возьмусь за перо — на бумагу ложатся бледные, бесцветные слова, которые кажутся мне скучными, стандартными. Вот уже больше месяца я сижу над небольшим рассказом о гордой смерти, о величии советского человека и недоволен тем, что у меня получается. Всеми чувствами я ощущаю это величие, всем разумом своим я понимаю юношу, который, умирая, победил смерть, а на бумаге остаются бледные строчки. Может быть, это оттого, что я пишу урывками, в короткие промежутки между делом...

21 апреля 1943 г.

Получил письмо от сынули и Аллы. Получил два дня тому назад, а пишу лишь сейчас. Ты извини меня, родная, что задержался с ответом. Случилось так, что в течение этих двух дней я имел возможность спать только три часа — остальное время было занято...

Как приятно письмо сынули. Чувствуется по письму, что здесь есть и то, что думает он, и то, что думает мама. Я пред-

ставляю, как писалось это письмо! Вот наша комната. Стол, у стола на стуле — мама, а у мамы на коленях мой сынок-шалун. Сидит, ухмыляется и плутовато поглядывает на маму, моргает своими глазенками и то оближет губы, а заодно и под носиком язычком, то рукавом рубашечки опять вытрет под носиком. Вот сидят они, мои родные, и пишут. Сынок карандаш держит, а мама держит его руку и водит ею. Мама спрашивает: «Ну, что же ты будешь писать своему папе?» А сынок взглянет на маму, блеснет глазенками, улыбнется и...! Вот и написали.

Милая, каждое слово, каждая строчка, написанные на этой бумаге, на бумаге, которую держали твои руки, руки сынули, слова, написанные тобой, — все это ваше, родное, близкое, любимое, дорогое. Нет, мамуля, не передать на бумаге, не выразить то, что чувствую я к вам, мои... Вот опять напрашивается слово: мои родные, любимые! Но ведь эти слова говорят, наверное, и другие люди. А мне хочется сказать так, чтобы прочитала ты и так хорошо, легко стало у тебя на душе, на сердце, вздохнешь ты полной грудью...

...Но надо же и сынульке ответить на его письмо. Прочитай ему эти строчки:

Сынок мой, Русланушка! Получил я твое письмо и даю тебе ответ на него. Хорошо, милый сынуля, что ты послушался совета своего папы и сейчас помогаешь во всем своей маме. Я тебе еще дам один совет, который ты должен выполнять в течение всей своей жизни. Запомни, сынок, хорошенько запомни, отложи мои слова на самое сердце: ты растешь, вырастешь большой, будешь жить счастливо. А мамуля твоя, которая любит тебя, как твой папа, хочет отдохнуть, потому что она уже взрослая и много испытала в своей жизни.

Ты, сыночек, сейчас, помогая маме, учишься помогать ей так, чтобы, когда ты вырастешь большой, мамуля твоя была спокойна, счастлива, здорова. Запомни, сынок: всю свою жизнь ты помни о маме, как о самом дорогом для тебя человеке, как о человеке, для которого ты должен сделать все, чтобы она никогда и ни в чем не нуждалась.

Сынок! У меня тоже была мама. Ее не стало у меня, когда мне было 12 лет. Если бы я мог спасти ее тогда, я не задумываясь отдал бы свою жизнь для этого. Так я любил свою маму. Люби свою маму так же.

Ты понял меня, сынок? А подарок, сынуля, я тебе пришлю. Пришлю, мой мальчик, мой Руслашенька! Играй им и не забывай о папе. Помни, что твой папа на фронте. Идет

война с фашистами, война за твое счастье, за счастье Инуси, Аллы. Впереди у вас хорошая жизнь, сынуля. Лучше, чем была до этой ужасной войны...

7 мая 1943 г.

...Я пишу это письмо в тот момент, когда работа у нас уже закончена, мои славные ребята умылись, закурили и вышли на улицу с улыбающимися рожицами. Я думаю о вас...

Война изменила жизнь нашей страны, наложила свой суровый отпечаток на людей, на их поведение, на их отношения, на семью, на любовь. Кто любил, тот стал любить еще крепче, теплее, чья семья была дружной, стала еще дружнее. Так думаю я, так есть и на самом деле. Я любил свою семью, тебя, и эта любовь здесь, на фронте, выросла у меня во что-то очень сильное, огромное. К прежней любви прибавилось еще что-то глубокое, нерушимое, заветное, такое, что надо беречь, как самое драгоценное, к чему не должна прикасаться даже пылинка.

Я несу в себе эту горячую любовь к вам, как символ своей жизни, ибо моя семья — это моя страна, моя Родина...

27 октября 1943 г.

Моя Инуся!

Скоро день твоего рождения. В таких случаях полагается желать имениннику лучшего в его жизни, счастья в его дальнейшей судьбе. Вот и я, твой отец, спешу поздравить тебя с новым годом в твоей жизни, с годом, приближающим тебя к зрелости. Прими мои поздравления, моя Инуся. Прими пожелания встретить и провести свой новый год в радости, счастливой обстановке, добиться новых успехов в твоих школьных делах.

Тебе 13 лет. Начинается 14-й год твоей жизни. Это пора, когда кончается детство и начинается переход в юношество. Переход от детского к более серьезному, осмысленному пониманию жизненных явлений. Детство твое было хорошим, счастливым, радостным. Правда, немало было в нем трудностей, но трудности эти больше относятся к нам — твоим родителям. Мы хорошо помним твое рождение. Ты появилась на свет, как первое любимое, с радостью ожидаемое дитя.

Но в то время у нас даже не во что было завернуть тебя. А сколько хлопот было у матери — у мамы твоей, еще не знающей, как обращаться с тобой. Сколько волнений, бессонных ночей. Попроси, мама расскажет тебе, как беспокоилась она о тебе.

Хорошее у тебя было детство! Не такое, как у меня и мамы. Дни твои, годы текли в счастье и в радости. Ты не знала заботы и горечи жизни, какие знали мы. Это потому, что наше детство проходило в суровое время, а твое — когда наша страна стала богатой, страной счастья. У нас не было в детстве этого. Твое детство счастливее нашего, но счастье это понимаем больше мы, не знавшие в то время его. Понимаем больше не только потому, что мы взрослее тебя. Нет! Прежде всего потому, что мы испытали много горечи и научились ценить радость.

Вот этого — уметь ценить радость — я тебе желаю от всей души. Цени жизнь, нашу советскую жизнь. Она отстаивается сейчас в жестокой борьбе с врагом — фашистами на фронте Великой Отечественной войны. Ваше детство, вашу юность, ваше еще более прекрасное будущее, отстаивают кровью своей, своей жизнью ваши отцы, братья, сестры, матери. Впереди у вас ясное, светлое будущее. Учись, Инуся, ценить это. Ценить не вообще, а конкретно, на деле. Ценить не только умом, сознанием, но и всем сердцем своим. Что это значит — ценить?

Это значит: во-первых, уважать своих родителей, любить их, точно и с радостью выполнять их советы... Для дочери, для сына, еще не вступивших на путь самостоятельной жизни, нет ничего выше, как выполнение родительской воли. Твердо запомни это.

Во-вторых, это трудиться. Люби труд, идущий на пользу обществу. Для твоего возраста труд твой состоит в отличной учебе в школе, в домашней работе, в участии в общественных мероприятиях. Люби труд, ибо труд является двигателем человеческого расцвета.

Расти достойной дочерью. У тебя сейчас такой возраст, так называемый переходный, когда легко оступиться, то есть сойти на неправильный путь, который может испортить всю твою дальнейшую жизнь. Сейчас тебе особенно четко надо выполнять все, что требуют от тебя родители, что они советуют.

Расти настоящим советским человеком: умной, скромной, честной, трудолюбивой, правдивой, смелой.

Расти такой, дочурка!

Славная моя, хорошая, Инуся! Я далеко сейчас от вас. Так хочется обнять тебя, моя Инуся, расцеловать. Ничего! Вот изгоним проклятых фашистов с родной земли и встретимся снова все вместе. Хорошо тогда будет... Хорошо!

А пока...

Вот только что получил сообщение, что фашисты побежали дальше. Значит, снова в путь! Еще несколько десятков километров отвоевали у врага.

Кончаю, тороплюсь...

Целую тебя, милая Инуся, моя дорогая, моя радость.

Твой папа.

17 декабря 1943 г.

Руслаша!

Любимый мой сыночек! Чувствуешь ли ты, родной, как скучает по тебе твой папа? Скучает и все ждет и ждет писем от своего сынульки. А сынок все не пишет...

Не надо так, родной мой! Что ты, любимый мой, сейчас делаешь? Наверное, еще спишь, так как всего лишь пять часов утра. А папа давно-давно встал, в три часа. Встал и пишет письма. Письма тебе, Аллочке, Инусе. Маме я написал большое письмо два дня тому назад.

Ты ходишь в садик? Ходи, сыночек. Походишь еще немного, а потом приеду я, и мы будем с тобой гулять по утрам, будем петь песни. Помнишь, когда я был дома в прошлом году, ты спел мне «Моя любимая» и «Вечер на рейде»? Теперь я очень люблю эти песни и всегда напеваю их потому, что тогда я ближе и теплее чувствую тебя, мой родной.

...Милый, любимый сыночек! Поздравляю тебя, сыночек, с Новым годом, годом нашей встречи. Будь здоров и счастлив, мой родной...

Твой папа.

Но встретиться нам больше так и не довелось. Год нашей предполагаемой встречи стал годом гибели отца.

Юрий Цишевский О ДРУГЕ



евраль 1942 года.

На высоком холме, среди глубоких снегов и заиндевших берез, раскинулось большое село Середя. Здесь расположился штаб 20-й армии после разгрома гитлеровских полчищ под Москвой.

В прокуренной избушке с разбитыми окнами, заткнутыми ветошью и обрывками газет, было холодно и шумно. К нам в редакцию армейской газеты «За честь Родины» прибыл новый товарищ. Говорили, что он воронежец, писатель.

Новичка окружили офицеры, его забросали вопросами.

Звали прибывшего Борис Глебович Песков. Бритая голова, круглое улыбающееся лицо. Добрые серые глаза Пескова приветливо смотрели на окружающих. Вся его фигура и жесты говорили о чем-то простом, русском, радушном и вместе с тем суровом.

Борис тут же рассказал, что прежде чем попасть к нам в редакцию, он прошел боевой путь от рядового солдата-пехотинца до политработника штаба стрелковой бригады.

Песков подходил к людям как-то сразу, с открытой душой. Эта его черта мне очень понравилась. Мы скоро стали друзьями.

Нравилось мне в нем и то, что он любил беседовать на темы о литературе и искусстве и обладал в этой области большими познаниями.

Чувство страха было чуждо Пескову. Во время командировок Борис не любил отсиживаться в медсанбате или где-нибудь в землянке командира полка. Он всегда шел на пе-

редний край и, опустившись на корточки, в узком глинистом окопе расспрашивал солдат об их тяжелых ратных делах.

Он часто ползком пробирался на огневую позицию снайперов для того, чтобы посмотреть на «работу» своих героев. Так появилась в армейской газете заметка о том, как знаменитый снайпер Тихон Кусков выслеживал и истреблял фашистов. Читая эту маленькую корреспонденцию, живо представляешь, как голодный гитлеровец выполз из своего окопа на заброшенное картофельное поле и стал поспешно копать в сырой земле, собирая в ведро картофель. В этот момент его и настигла пуля нашего снайпера.

Как-то мне довелось быть с Борисом Песковым в командировке в артиллерийском полку на закрытой огневой позиции. Был февраль 1943 года. Мела пурга, сильный ветер пригибал к земле тощий осинник. Мы сидели в блиндаже, где укрылись свободные от вахты бойцы-артиллеристы. Чтобы осветить темную землянку, бойцы свесили с потолка конец телефонного шнура и подожгли его. Мигающий язычок пламени медленно полз вверх по изоляции. Слабые световые блики блуждали по обветренным лицам солдат. Борис, раскрыв свой блокнот, говорил с ними. Разговор внезапно прервала резкая команда за дверью блиндажа:

— К орудиям!

Солдаты молниеносно заняли свои привычные места у пушек. Мы выскочили вслед за ними навстречу завывающей снежной метели. С наблюдательного пункта донесли о скоплении живой силы противника на опушке леса.

Старший лейтенант, заместитель командира батареи, громко подал команду:

— Пятью снарядами, беглым, огонь!

Прогремели частые выстрелы. Артиллеристы стреляли с закрытых позиций, то есть по невидимым целям, через головы своей пехоты. Командир батареи вместе с группой разведчиков находился далеко впереди, в расположении пехоты, на наблюдательном пункте, и оттуда передавал по телефону команду для стрельбы.

На время орудийный грохот смолк, и мы спустились в землянку к старшему лейтенанту. Хотелось узнать результаты стрельбы.

— Уничтожен вражеский наблюдательный пункт, и еще разгромлено около роты фашистских автоматчиков,— сказал офицер, сидевший рядом с телефонистом.

Песков восторженно приподнял брови и тут же решил добраться до наблюдательного пункта и посмотреть на работу артиллеристов-разведчиков. Найти дорогу самим было трудно, нам дали связного. Еле улавливая занесенную снегом «нитку» телефонного провода, мы отправились к нашим окопам. Шипенье летящих мин и тонкое посвистывание пуль указывало на то, что мы приближаемся к цели.

Вот передний край... В заснеженной траншее сквозь зеленые лапы ельника высовываются окуляры стереотрубы. Здесь наблюдательный пункт. Молодой солдат, разведчик Миша Рыбченко, зорко просматривает позиции фашистов. Это он обнаружил скопление вражеских автоматчиков, по которым стреляла батарея. Песков попросил разрешения у командира батареи побеседовать с Рыбченко. Они уселись на дне окопа. Рыбченко оказался воронежцем. Сколько радости было у Бориса! Сколько восторгов и восклицаний!

Возвращались мы из командировки утомленные большими пешими переходами, но Борис не чувствовал усталости. Он был очень рад хорошему материалу для газеты. А главное, людей-то повидали каких замечательных!

По дороге в редакцию мы догнали группу раненых, добравшихся до медсанбата. Легко раненные шли пешком. Впереди нас шагал солдат, прижимая к груди ремень винтовки. На серой шинели, ниже правой лопатки, была заметна дырочка и застывшая струйка черной крови.

— Эх, какой молодец! — воскликнул Песков. — Ведь боль, должно быть, нестерпимая, а как бодро вышагивает! И винтовку свою не оставил, и даже штык примкнут, видимо, и в беде устав не забыл.

Борис не удержался, подошел к солдату, расспросил его, когда, где и при каких обстоятельствах ранен. Блокнот журналиста пополнился еще одним интересным боевым эпизодом. Но для этого пришлось свернуть на три километра в сторону от нашего пути, шагать рядом с раненым до самого медсанбата и делать на ходу записи.

* * *

Борис Песков совершенно преображался, когда наша армия, ломая сопротивление врага, двигалась вперед. Мысли о победе окрыляли его. Он всегда был вместе с передовыми частями армии.

Не щадя своих сил, не зная усталости, шагал он по пыльным и грязным фронтовым дорогам с вещевым мешком за спиной, в сдвинутой на затылок пилотке и с записной книжкой в кармане.

Так было летом 1942 года под Погорелым Городищем, так было весной 1943 года в районе Сычевки и Вязьмы, так было летом 1944 года, в период наступления наших войск в Прибалтике.

Радостный и усталый, он возвращался в редакцию, чтобы отписаться и затем снова отправиться в путь, вдогонку за отступающим врагом.

Это на основе его рассказов появились в армейской газете юморески на тему о том, как наши солдаты вылавливали фашистов, как один лейтенант вытащил гитлеровца за волосы из русской печи, другой немец был задержан при попытке скрыться в женском платье, а третьего наш солдат выволок из стога сена.

Он подолгу беседовал с жителями сел, деревень и городов, освобожденных от гитлеровских захватчиков. Со слезами на глазах Борис рассказывал мне о том, что поведали ему наши советские люди, какие страдания они перенесли. Он собирал и бережно хранил документы о гитлеровской тирании. Это были деревянные номерки, которые фашисты вешали на шею поработленным людям, пожелтевшие листки с приказами гитлеровских комендантов, фотографии замученных патриотов.

Пескова потрясли рассказы о зверствах гитлеровцев в деревне Мякотино.

Деревушка Мякотино затерялась среди топких болот и осиновых лесов Калининской области. Здесь разыгралась жестокая трагедия. Гестаповские палачи воспользовались ничтожным предлогом — ржавой винтовкой, найденной в сарае у одной женщины, — для того, чтобы повесить и расстрелять трех колхозников и трех мальчиков — пионеров. Казнь была совершена демонстративно в день советского праздника 1 Мая.

В серый осенний день пришли мы с Борисом Песковым в Мякотино. Пустота, разорение, сожженные избы и амбары.

Борис предложил остановиться в доме матери пионера Коли Кулакова, расстрелянного гитлеровцами. В этой избе мы прожили три дня. Сюда к нам приходили колхозники со всей деревни, рассказывали о страшных событиях.

Колхозный сторож Александр Егорович Титов водил нас по деревне, останавливался у каждой избы, у каждой изгороди, у каждого дерева.

— Вот в этом амбарчике стегали наших мужиков и баб. Вот у этого колодца зимой, в мороз, привязали к столбу молодую вдову с ребенком, на этой березе повесили неугодного старосту, а на том дубе — двух его помощников.

Вот здесь, на лужайке, были расстреляны ребяташки. Как сейчас помню согбенную фигуру Егорыча в коротком рыжем зипунишке, в растопыренной ушанке, утирающего слезы на морщинистых щеках.

Вернувшись в редакцию, Песков приходил ко мне в избу смотреть, как у меня получается рисунок к очерку о мякотинской трагедии, и придирчиво добивался, чтобы я не погрешил против правды ни в одной детали.

Страница «Что сделали немцы в Мякотине», появившаяся в газете, произвела большое впечатление на солдат и офицеров наших частей.

Эта страница была послана и в деревню Мякотино матери Коли Кулакова.

Песков метко критиковал мои рисунки и наброски во фронтовом альбоме, подсказывал актуальные политические темы, сюжеты. Часто я делал иллюстрации к его очеркам и рассказам. Так, вышли полосы: «Четыре месяца спустя», «Совершенствуй боевую выучку», «Как угоняли в рабство», «24 часа на красноармейской кухне» и многие другие.

Однажды Песков попросил меня сделать иллюстрацию к его рассказу «Одна живая». Я согласился, и Борис сразу потащил меня в соседнее село, разрушенное гитлеровскими захватчиками, чтобы найти развалившуюся простреленную избу, точно такую, какая была описана в рассказе. Похожую девочку Борис разыскал тоже сам. Он настойчиво требовал отображать правду жизни и непременно пользоваться для рисунков живой натурой.

При передвижении нашей редакции с одного места на другое иногда выпадало свободное время для того, чтобы побродить с товарищем по полю, по болотистому лесу и поговорить по душам.

В такие дни Борис часто вспоминал о родном Воронеже. С тревогой рассказывал он о том, как ему тяжело, что немцы заняли его родной город, что нет писем от Тамары, его жены. А как радовался и плакал он, когда получил первое письмо от Тамары и детей!

Однажды, в период затишья, когда редакция в ожидании наступления стояла в Прибалтике, Борис осуществил свою мечту и написал детскую книжку для своей семьи, для своих ребятишек. Я ее иллюстрировал. Борис терпеливо сидел несколько дней за моей спиной и следил за каждым штрихом. Ему хотелось, чтобы все получилось так, как он задумал, и так, как это было у него дома.

Мечты о семье, о послевоенной мирной жизни не покидали Бориса. Любил он помечтать об охоте и рыбной ловле. Он с удовольствием делился со мной планами о том, как после войны он смастерит себе палатку из солдатских плащей, о том, как снова примется за изготовление байдарки.

Страстный любитель охотничьих путешествий, Борис любил сам готовить себе пищу в походных условиях. С большим искусством умел он разжечь из сырого валежника костер и сварить вкусные щи в солдатском котелке.

А как любил Борис русскую природу! Ранней весной с искренним восторгом любовался он островками талого снега, желтой прошлогодней травкой, болотным мхом и серыми промокшими избушками русской деревни. И чувствовалось, что Борис не просто любит природу как художник-наблюдатель, а знает ее. Я удивлялся, как легко он угадывал птицу по ее крику, знал, какие растения в лесу можно есть и как они называются.

Боевой путь писателя-фронтовика оборвался 16 сентября 1944 года. Близ местечка Тырва его разорвал снаряд. Этим же снарядом был убит другой военный журналист — Юрий Севрук. Они вместе работали в газете 3-го Прибалтийского фронта «За Родину!».

В час победы Бориса не было среди нас, но его светлый образ навсегда останется в нашей памяти.

Самуил Портной НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ



Предо мной лежит пожелтевшая от времени подшивка солдатской газеты «За Родину!». Маленькие, чем-то напоминающие фронтовые листовки, страницы. В годы Великой Отечественной войны эта газета издавалась в 251-й Витебской ордена Красного Знамени и ордена Суворова II степени стрелковой дивизии. Редактировал ее майор Яков Иванович Гамаюн — человек смелый и энергичный, знающий толк в газетном деле. Несколько лет мне довелось работать с ним — сперва литературным сотрудником, а позднее секретарем и заместителем редактора.

С тех пор прошли десятилетия. И вот снова, страницу за страницей, листаю подшивку родной дивизионки. В памяти воскресают события давно минувших лет, вспоминаются фронтовые друзья-товарищи и среди них он — младший лейтенант Георгий Алексеевич Ушков, командир снайперского взвода, выполнявший одновременно обязанности корреспондента нашей газеты.

Впервые, помнится, мы встретились с Ушковым где-то под Оршей. В составе войск 3-го Белорусского фронта наша дивизия сражалась на белорусской земле. Ожесточенные бои развернулись за деревушку Киреево. Никакой деревушки, собственно, уже не было — торчали одни только обугленные печные трубы да иссеченные осколками стволы деревьев. Но гитлеровцы цеплялись за эту сожженную дотла деревушку потому, что она представляла собой выгодную позицию — с холма, на котором она раскинулась, хорошо просматривалась местность, дороги, ведущие в Оршу.

Была морозная снежная зима. В распахнутой шинели Ушков стоял на железнодорожной насыпи, подставив лицо холодному, обжигающему ветру.

— Так и простудиться нетрудно...

Молодой офицер улыбнулся в рыжие, отращенные для солидности усы:

— На таком ветру не простудишься. Вот у нас, в Баку, ветер бывает — это да! Может, слышали, норд называется. Знаменитый бакинский норд! Подует — на ногах не устоишь. Он-то и продубил насквозь мою кожу. Ей не страшны теперь здешные ветры. Даже такие, как сегодня...

Под железнодорожной насыпью был построен добротный, в три наката блиндаж. В нем жили снайперы. Один из них вчера не вернулся с охоты, и Ушков сильно горевал. Он вышел на морозный воздух, надеясь успокоиться. Где-то на передовой вспыхнула ракета. На мгновение она озарила все вокруг, а потом, не долетев до земли, погасла. Ушков тяжело вздохнул и как бы невзначай заметил:

— Погас вот, как эта ракета...

На рассвете снайперы снова отправлялись на передовую. Вместе с ними уходил и Ушков. Охота предстояла интересная — с использованием запасных позиций, и я попросил офицера рассказать о ней в газете.

— Если итоги будут стоящие, охотно напишу, — согласился Ушков. — Ведь я тоже газетчик. Сотрудничал в бакинской «Вышке» да и в других газетах. Писал и статьи, и очерки, и стихи. Вот добьем фашистов, и снова вернусь в редакцию.

Ушков рассказал мне, что родился он в 1918 году. До войны учился в Бакинском институте языка и литературы. В апреле 1942 года призван в армию. В том же году закончил Центральную инструкторскую школу снайперов. Получил назначение в нашу дивизию. И когда со всех полков были собраны воедино лучшие «охотники», его назначили командиром взвода вновь сформированной снайперской роты.

Заканчивался декабрь 1943 года. Своих поэтов у нас не было, и я попросил Ушкова порадовать солдат новогодними стихами.

— Не знаю, — ответил он. — Давно не писал. С тех пор, как на фронте. И вовсе не потому, что музы молчат, когда гремят орудия. Я не сторонник этой теории. Просто недосуг.

Возвращаясь с передовой, я зашел к Ушкову, чтобы взять статью об охоте снайперов. О том, что она удалась, мне уже было известно — сказали в батальоне очевидцы: снайперы убили трех гитлеровцев.

Ушков обрадовался моему приходу. Обрадовался и я. Причем не только успеху снайперов. Вместе со статьей Ушков вручил мне стихи.

В редакции обрадовались «новогоднему подарку». Стихи переходили из рук в руки — от редактора к секретарю — Николаю Володину, от секретаря — к литсотруднику Константину Максимову. Начинались они словами:

Будет громкою славой навеки отмечен
Нами пройденный в грозных сражениях год.
С новым годом, товарищ — сапер и разведчик,
Пехотинец и снайпер, танкист и пилот.

Стихи напечатали в новогоднем номере газеты. Их появлением было ознаменовано рождение дивизионного поэта. На страницах нашей газеты то и дело появлялась подпись: «Младший лейтенант Г. Ушков». Она стояла под корреспонденциями, советами молодым снайперам, стихами. Трудно сказать, когда он успевал писать. Целыми днями Ушков пропадал на передовой, помогал снайперам изучать систему вражеской обороны и повадки гитлеровцев, готовил запасные позиции. И вся эта трудная работа проводилась под девизом: заставить фашистов не ходить, а ползать по нашей земле.

Ушков — любимец снайперов — не совершил какого-то особенного подвига. Он не закрывал своей грудью амбразуру вражеской огневой точки. Он не бросался со связкой гранат под гусеницы «тигра». Он не спасал боевого знамени. И все же повседневные, будничные дела его иначе не назовешь, как подвиг. И в самом деле. Ушков вырастил и воспитал большой отряд замечательных снайперов, ставших грозой для врага. Лучший из них — узбек Эргаш Рузиев — истребил 115 гитлеровцев.

А сколько смелости, находчивости, изобретательности проявлял Ушков, выполняя свои командирские обязанности! По крупницам собирал Ушков боевой опыт, обобщал его и через газету делал достоянием всех снайперов. Допустил молодой солдат оплошность в оборудовании позиции, и он выступает со статьей «Выбор и оборудование снайперского поста». Сильно помогли снайперам и его консультации, в течение продолжительного времени печатавшиеся газетой под рубрикой «Советы молодому снайперу». Консультации эти, предельно лаконичные, доходчивые, построенные на примерах из боевой жизни, учили людей, помогали им совершенствовать боевое мастерство.

В сводке Совинформбюро за 7 июня 1944 года появилось короткое сообщение: «Снайперы Н-ской части старшина Алексей Русаков и сержант Джуман Эсеркеев за один день

истребили 8 немцев». Это был день, когда каждый из них довел свой счет до ста. Надо было видеть, как торжествовал в тот день Ушков! Для него это был двойной праздник. Еще бы! Ведь это сообщалось о его питомцах. И сообщалось по материалам подготовленной им тематической подборки, которая была напечатана в нашей газете 6 июня и занимала всю первую полосу. На этой полосе была помещена и корреспонденция самого Георгия Ушкова «Радостный день Джумана Эсеркеева». Радовало Ушкова и то, что прославленным снайперам были присвоены очередные воинские звания и эти звания указывались в сводке Совинформбюро.

По дорогам, лесам и болотам Калининской области, Смоленщины, Белоруссии, Прибалтики прошел Ушков со своими снайперами сотни километров. Иногда, в минуты затишья, он приходил в редакцию. Доставал из полевой сумки изрядно потрепанную ученическую тетрадь и начинал читать стихи. В эти минуты он преображался, становился каким-то другим. Силой, вдохновением, верой в победу над врагом веяло от его стихов — искренних, теплых, душевных.

Однажды Ушков принес в редакцию новое стихотворение. Залпом, не переводя дыхания, прочитал его. Называлось стихотворение «Лучеса». Оно понравилось всем, и мы напечатали его в газете. Стихотворение это — небольшое, и мне хочется привести его полностью:

Тебя давно на карте я искал,
Полоска голубая среди леса,—
Простая белорусская река
С красивым строгим именем Лучеса.
Мы на рассвете встали пред тобой.
Ты нас ждала, как может ждать невеста;
И мы вели здесь долгий, смертный бой,
Чтоб ты была свободная, Лучеса.
И в память тех, кто в росную траву
Упал, свой долг отдавши честно,
Я будущую дочку назову
Твоим прекрасным именем, Лучеса.

Пусть с точки зрения профессионального мастерства стихи эти несовершенно, но зато сколько в них чувства!

В последний раз я встретился с Ушковым на литовской земле, где-то возле местечка Лецкова Мажейкского района.

...На подступах к небольшой деревушке, название которой не сохранилось в памяти, гитлеровцам удалось задержать наше наступление. Надо было разведать вражескую оборону, захватить «языка». Несколько раз разведчики

отправлялись в поиск, но безрезультатно. Тогда за это необычное для себя задание взялись снайперы Ушкова. Они пообещали командованию во что бы то ни стало захватить «языка». Снайперов ствели во второй эшелон, дали возможность отдохнуть.

Была осень. Небо от края до края заволокло сплошной серой тучей. Моросил мелкий, пронизывающий до костей дождь. Мы сидели в палатке, поставленной на опушке усыпанного листвой леса. До передовой было несколько километров, но грохот боя слышался довольно отчетливо. Где-то рядом, за лесом, тяжело ухали орудия. Стоявший на ящике из-под снарядов светильник, сделанный из гильзы, от каждого выстрела вздрагивал и мигал. А Ушков, прислушиваясь к нарастающему грохоту боя, сокрушался:

— Крепко зацепился, гад! Второй день держится...

К Ушкову я пришел за несколько часов до поиска. Снайперы, входившие в группу захвата, отдыхали. Один только командир бодрствовал. Он, как всегда, был весел, разговорчив, много шутил. И вид у Ушкова был нарядный — подтянут, чисто выбрит.

— Погода,— сказал он,— словно по заказу. Лучше и не придумаешь для поиска,— и, подумав немного, добавил: — Об этой ночи, о поиске хочу написать песню. Начало уже есть. Послушайте.— И он начал читать тихо, напевно:

Вечер пулеметами прострочен,
Бьется дождь в палатку невпопад...
Что-то мне не спится этой ночью
Под осенний, желтый листопад...

Слушая Ушкова, я думал, каким мужеством и спокойствием, какой верой в свои силы надо обладать, чтобы перед поиском, опасным и трудным, в своем сердце вынашивать песню.

Ночь эта была для Ушкова последней. Снайперы сдержали свое слово, захватили «языка», но дорогой ценой. Во время ночного поиска был убит их командир.

Эту тяжелую утрату остро ощущали не только снайперы, но и коллектив редакции.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о младшем лейтенанте Георгии Алексеевиче Ушкове. Будучи командиром снайперского взвода, он проявил себя как настоящий боевой журналист. Судьба его, мне кажется, схожа с судьбой песни, которую он не успел до конца дописать. Страстно, как поэт, Ушков был влюблен в жизнь, отважно, как солдат, он сражался за нее. И погиб как герой, во имя жизни грядущих поколений.

Эммануил Евзерихин

ЕДИНСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ



С первых дней Великой Отечественной войны молодой фотокорреспондент ТАСС Владимир Николаевич Иванов был в частях Действующей армии. Вместе с бойцами делил он все трудности фронтовой жизни. Те, кто его знал, помнят Володю Иванова как смелого и решительного репортера, всегда находившегося в гуще военных событий.

В годы Великой Отечественной войны советские воины повторили подвиг своих отцов, штурмовавших Перекоп через непроходимые топи Сиваша. По колено, по грудь в воде шли пехотинцы, на дощанках и лодках переправляли орудия артиллеристы. Вместе с передовыми подразделениями преодолевает «гнилое болото», стремясь запечатлеть на пленку героические будни фронта, донести во всей полноте до читателя правду войны, и фотокорреспондент ТАСС Владимир Иванов. Пороку приходилось идти, поднимая над головой аппарат, чтобы не попортить пленку. Иванов показал своими снимками тяжелый ратный труд солдата. И, рассматривая сейчас эти снимки, можно с уверенностью сказать, что автору удалось хорошо справиться с поставленной перед собой задачей.

В военной судьбе любого репортера подчас создавались самые неожиданные и зачастую опасные ситуации, особенно много их было у фотокорреспондентов. Сама специфика дела, которому они посвятили себя — фотография, требовала обязательного присутствия непосредственно на месте события.

Чтобы в газете появился снимок одного из моментов боя, танковой атаки, воздушного сражения, репортер должен был вплотную приблизиться к объекту съемки. И, естественно, это требовало не просто смелости, но настоящей отваги, большого мужества. Вот что произошло почти в самом конце войны. Об этой истории помнят все фронтовые фотокорреспонденты.

Наши войска, освобождаю Югославию, вели упорные бои за Белград. Пехотный батальон атаковал одну из площадей столицы Югославии. Враг упорно сопротивлялся, цепляясь за каждый дом. В самый критический момент боя фашистская пуля сразила комбата. И тогда из цепи наступающих вырвался вперед человек с погонями лейтенанта. С криком «ура!» он поднял бойцов в атаку. Это был фотокорреспондент Владимир Иванов. Противник дрогнул. Важный рубеж обороны фашистов был взят.

Когда тяжелораненого героя доставили в санбат, выяснилось, что единственным его оружием был... фотоаппарат.

Фотокорреспондент ТАСС Владимир Иванов погиб как солдат, выполняя свой воинский и журналистский долг.

Борис Полевой

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С МАЙОРОМ ЛИЛО



Не всегда, когда вспоминаешь хорошего человека, да еще друга, начинаешь рассказ о нем с последней встречи. Но именно последняя, неожиданная, даже внезапная встреча с майором Лило особенно поразила меня, и я, нарушая все правила, начну именно с нее.

Октябрьские торжества 1946 года мне довелось провести далеко от дома, в столице Югославии Белграде. Я был не один: рядом были чудесный советский скульптор Вера Мухина, знаменитый наш селекционер, веселый и жизнерадостный человек Николай Цицин и литературовед Иван Анисимов, с которым мы познакомились еще под Сталинградом — не как литератор с критиком, а как два солдата.

И вот нам, четверем советским людям, власти Белграда предоставили высокую честь в этот дорогой для всех нас день возложить первый венок на могилы советских воинов, покоившихся в те дни на одной из площадей столицы, недалеко от памятника Вуку Караджичу. Ах, какое это было волнующее зрелище! Тысячи людей. Сотни венков. Под траурную музыку процессия медленно движется по улицам, украшенным югославскими и советскими флагами. Женщины в праздничных национальных одеждах и женщины в глубоком трауре. Военные, подтянутые и торжественные. И мы — горсточка советских людей — несем венок из роз, огромных и ярких, бог весть каким путем выращенных в эту позднюю, осеннюю пору.

Огибаем памятник Караджичу. Вот он, строй могил. Мраморные пирамидки. Надписи. Это те, кто не дожил до победы. Это те, кто, сражаясь, сложили свои головы в последний год войны. Держа венок, читаю надписи на мраморных плитах. Русские, украинские, белорусские, грузинские, казахские имена и фамилии советских людей... И вдруг в глаза

бросается надпись: Майор Лилоян Мкртыч Оганесович... Однофамильцы? Случайное совпадение? Может быть, мне мерещится? В самом деле — буквы так и запрыгали перед глазами. Но нет. Вот и вторая, более мелким шрифтом высеченная строчка: журналист, корреспондент Совинформбюро...

Может ли это быть? Я хорошо знал этого человека. Я дружил с ним. И я знал, что погиб он в конце октября 1944 года, погиб мужественно и храбро, руководя спасением людей при нацистском налете на румынский город Тимишоара. Знал даже подробности, передававшиеся из уст в уста по корреспондентскому беспроволочному телеграфу: Лило, как все мы его звали, ночевал в этом только что освобожденном городе в комендантской гостинице. Начался налет, люди необстрелянные растерялись. Метались по дворам. Бежали. Он — опытный воин — размахивал пистолетом, загонял их в бомбоубежища, в земляные щели. А потом его нашли, изуродованного многими осколками. Так передавала с фронта на фронт корреспондентская молва. И все, кто знал этого чудесного, храброго, веселого человека, у которого всегда была в запасе пара добрых шуток, вспоминая о нем, считали долгом выпить за его память...

Все это я знал, но не знал, что похоронили его не в Тимишоаре, а в Белграде.

И вот — Белград... Одна из центральных городских площадей... Величественный памятник поэту и мыслителю. И совсем рядом — мраморная плита: Майор Лилоян Мкртыч Оганесович. Корреспондент Советского Информбюро... А музыка играет траурные мелодии. Медленно движется процессия с венками. Цветы покрывают могилы советских воинов...

Мы опустили свой венок. А вечером, забрав из ваз все цветы, которые были поднесены Мухиной — человеку, весьма популярному в Югославии, — я один двинулся к могилам.

День Октябрьской революции в тот год отмечался в Югославии как свой собственный праздник. Тут и там звенела музыка. Взявшись за руки, люди плясали хору. Кафе были полны, и появление советского человека в военной форме вызывало бурные аплодисменты. Я знал об этом. Переодевшись в штатское, я быстро шел по уже знакомому маршруту. Вот и памятник. И маленькие, одинаковые обелиски у его подножия. Все это покрыто венками, букетами, просто цветами и пучками осенних багровых и золотых листьев, которые в ноябре красивее любых цветов.

Издалека звучит музыка, но на кладбище я один. Еще раз перечитываю надпись: Майор Лилоян Мкртыч Оганесович. И, будто вызванный волшебством праздника, этот советский воин-журналист, погребенный в центре Белграда, живым предстает передо мной.

Нет, я даже и не знал его, сложного на русский слух, имени и отчества! Мы, друзья, военные корреспонденты, так и звали его — Лило, а в официальных случаях именовали по званию или Лило Лилоян, что, вероятно, на родном его армянском языке звучало не очень здорово.

Лило! А сколько воспоминаний связано у меня с этим именем... Мы прошли с ним нелегкий путь в грандиозном наступлении Степного, а потом 2-го Украинского фронтов, начавшегося под Белгородом, пересекшего всю Украину, Молдавию, лавиной хлынувшего в Румынию, прорвавшегося до самых Карпат. Сколько было пережито на этом, более чем тысячекилометровом пути! Но старший лейтенант, капитан, а потом майор Мкртыч Лилоян, которого все — от шоферов до командующего фронтом И. С. Конева — звали Лило, был всегда одним и тем же — скромным, храбрым, самоотверженным, веселым, обязательно, непременно веселым и остроумным Лило, не теряющим духа ни при каких сложных ситуациях, которые в те годы судьба подставляла нам на каждом шагу.

И вот сейчас, у могильной плиты, воздвигнутой над его прахом в славянском городе Белграде, я мог представить его только веселым, красивым, чернобровым, улыбающимся. Если бы я верил в существование «того света», то мог бы вообразить картину, как он представлялся апостолу Петру, нетерпеливо позвякивающему ключами...

— Лило, — рекомендовался бы он. — Солдат...

И все. Больше бы он о себе ничего не сказал. А может быть, тут, перед растерянным стариком, начиненным богословскими догмами, спел бы он одну из веселых армянских песенок, которые так любил петь нам, военным корреспондентам, когда мы по случаю потери того или другого коллеги впадали в меланхолию... А скорее всего, задорно пристукивая пальцами по мысленно представленному бубну, он спел бы шуточную песенку, которую мы от него столько раз слышали:

На Кавказе есть гора
Очень большая,
А под ней течет Кура
Быстрая такая.

Если на гору залезть
Сверху вниз бросаться,
Очень много шансов есть
С жизнью расстаться.

И апостол Петр, погремев ключами, вероятно, улыбнулся бы в свою седую бороду, как улыбались мы, военные корреспонденты, слушая шутки, песенки, остроты Лило в трудные минуты нашей жизни. Шутки и остроты, которые были нашим допингом в дни, когда и нам приходилось тяжело, когда силы наши начинали иссякать.

Лило Лилоян! Нет, я вспоминаю его не только веселым, шутливым, сеющим жизнерадостность и бодрость. Он был человеческий человек, и среди близких друзей, в минуты, когда мы начинали откровенничать, раскрывалась и другая, мало кому известная сторона его жизни. Он родился в Турецкой Армении, в семье земледельца. Семья бежала из Турции от резни — величайшей трагедии в жизни армянского народа. Уже при Советской власти Лило окончил школу, учился в сельскохозяйственном техникуме, а затем, совсем не зная еще русского языка, поступил на подготовительные курсы Тимирязевской академии, которую окончил с отличием. Позже, уже во время войны, он закончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) и уехал на фронт специальным корреспондентом Совинформбюро.

Мне много пришлось прошагать по дорогам войны рядом с Лилояном. Мы ели из одного котелка и, разумеется, о многом говорили — не только о войне. И когда в ночных беседах раскрывалась душа Лило, с величайшей нежностью начинал он говорить о своей жене Наташе, о двух сыновьях — Александре и Андрее — так, кажется, их звали, если мне память не изменяет. Но если, по прошествии стольких лет, я и спутаю их имена, думаю, что они меня простят. Дело не в именах, а в той любви, с которой их отец — воин-большевик — всегда хранил эти имена в своем сердце...

...Могила была уже холмиком из цветов... Мне некуда было положить похищенные у Веры Игнатьевны букеты. Я положил их к самому подножию, на асфальт. А потом тихо шел по улицам праздничного, иллюминированного Белграда к себе в гостиницу, радуясь тому, что прах моего друга покоится хоть и в далекой, но в то же время близкой нам, советским людям, земле...

Ах, если бы ты был в тот день с нами, мой дорогой Лило Лилоян!

Леонид Ленч

ЭТО БЫЛ ХРАБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!

I



Я очень обрадовался, когда в начале августа 1941 года узнал, что Иосиф Уткин, так же, как и я, получил назначение в редакцию газеты Брянского фронта «На разгром врага» и нам предстоит вместе отправиться из Москвы в Брянск в распоряжение редактора А. М. Воловца.

Уткина я тогда знал мало, но мне нравились его стихи, их подлинный, не наигранный лиризм, понравился мне и сам поэт. И прежде всего понравилась его внешность. В юности Уткин, как известно, был похож на молодого Байрона: каштановая копна волос над бледным высоким лбом, орехового цвета глаза с длинными ресницами, нежный и в то же время сильный, волевой рот.

К зрелым годам он чуть отяжелел, погрузнел, но все же он был еще очень красив, и на литературных вечерах восторженные девчонки по-прежнему присылали ему записочки с признаниями и уверениями. К тому же он был начисто лишен фанаберии, свойственной иным нашим поэтам, остроумен, независим и смел в суждениях,

— Поэт и в жизни должен быть мастак! — утверждал Маяковский.

Иосиф Уткин был именно такой мастак!

Я помню, что познакомил меня с Уткиным Лев Вениаминович Никулин и я сразу почувствовал симпатию к Иосифу. По моим внутренним ощущениям эта симпатия была взаимной.

Перед отъездом на фронт мы встретились с Уткиным в Союзе писателей на улице Воровского. Хорошо подогнанная военная форма шла ему. Вместо пилотки на голове его ловко сидела общевоинская офицерская фуражка с красным околышем, из-под козырька с небрежной лихостью выбивался на лоб буйный чуб. Пояс на гимнастерке затянут тесно. Кобура, отяжелевшая пистолетом, плотно лежит на бедре.

Мне при выдаче обмундирования пистолета не выдали — не хватило! — и в кобуру я насовал газетной бумаги, чтобы она не теряла формы, но все равно у моей кобуры был какой-то неприлично тощий вид, и я с завистью поглядывал на уткинский пистолет.

Видно было, что поэт с удовольствием носит военную форму, что у него есть вкус к оружию, ко всему воинскому делу.

Он придирчиво оглядел меня с головы до ног и сказал:

— Сапожки могли бы вам получше выдать, но в общем вы, Ленечка, выглядите хоть куда! Только купите себе в военторге фуражечку, как у меня. Пилотка — пилоткой, а офицерскую фуражку надо иметь!

На фронт Уткин уехал поездом на неделю раньше меня. Я же по приказу А. М. Воловца выехал в Брянск машиной в составе целого каравана грузовиков с типографским имуществом. Вместе со мной на фронт отправился Евгений Ведерников, тогда еще совсем молодой, начинающий художник-карикатурист, крокодилец — мой будущий соратник по «Осиновому колу» — так был назван сатирический отдел газеты «На разгром врага».

Мы благополучно добрались до лесов вблизи самого Брянска. Здесь, в двенадцати километрах от города, в чащах хвойно-лиственного леса расположился штаб фронта и все его многочисленные службы. Фронтом командовал генерал-лейтенант А. И. Еременко.

Уткин встретил меня радостно и совсем по-приятельски. Он за эту неделю успел стать и в редакции и в Политуправлении фронта своим человеком. Держался он в сложной армейско-редакционной обстановке просто и ровно, однако не допускал при этом никакого панибратства со стороны любителей так называемой «солдатской простоты». Что-то такое было в его манере говорить и смотреть на собеседника, чуть прищурясь, что удерживало самых разудалых любителей этой «простоты» от жгучего искушения покровительственно хлопнуть знаменитого поэта по плечу:

— Ну что, брат Уткин, вместе служим, а?!

Третьим «штатным писателем» в редакции оказался Исай Рахтанов. Ходил он чуть волоча ногу, подпоясывал гимнастерку офицерским ремнем значительно ниже талии, был очень мил, приветлив и острил смешно, хотя и несколько книжно.

Я, отправляясь на работу во фронтовую газету, одновременно стал спецкором «Известий», Уткин был связан с «Правдой», а что касается Рахтанова, то он представлялся высшим чином штаба фронта как специальный корреспондент журнала... «Мурзилка».

Представляясь, он прикладывал пятерню с расставленными пальцами к пилотке и звонко щелкал каблуками — если только ему удавалось вовремя подтянуть к здоровой ноге другую, непокорную, давным-давно пораженную параличом. На фронт Рахтанов пошел добровольцем. Я заметил, что Уткин оберегает Рахтанова от наскоков редакционных остряков.

На следующее утро после моего приезда в Брянский лес в избу лесника, где расположилась редакция фронтовой газеты, меня позвал к себе Александр Михайлович Воловец и, ласково глядя на меня своими темно-карими смеющимися глазами, приказал в самой категорической форме немедленно приступить к выпуску сатирического отдела в газете.

Не хуже Рахтанова я щелкнул каблуками и отчеканил:

— Слушаюсь, товарищ старший батальонный комиссар! Воловец улыбнулся.

Я сказал жалобно:

— Александр Михайлович, художник у нас есть, с темами и прозой я как-нибудь справлюсь, но как быть с сатирическими стихами? Без стихов — нам труба!

— А Уткин на что? — сказал Воловец.

— Вряд ли Уткин станет делать сатиру, — возразил я, — он ведь лирик «по самой строчечной сути».

— Иосиф Павлович все может делать! — сказал Воловец. — Он для Политуправления такие, знаете ли, листовки пишет — любо-дорого читать! В прозе! Попросите его, я уверен, что он напишет для вас и фельетон, и частушки, и все, что нужно!

Когда я заговорил на эту тему с Уткиным, он безо всякого ломанья сказал просто:

— Конечно, Ленечка, я напишу что-нибудь для вашего «Кола». Хотите частушки?

И он действительно написал для первого выпуска нашего «Осинового кола» бойкие частушки про Гитлера, про фрицев. «Все, что нужно», как говорил Воловец!

В свободные от редакционной работы минуты мы уходили с Уткиным в глубь леса, находили какую-нибудь укромную полянку и, усевшись на пеньки, говорили обо всем на свете: о фронтовых делах, о том, что будет после войны, когда наша армия добудет трудную нескорую победу.

Однажды на такой полянке он прочитал мне только что написанные им прекрасные стихи о дубах-нелюдимах. В синем эмалево-чистом небе над нашими головами в четком хищном строю шли на восток одна за другой эскадрильи «юнкерсов» — бомбить наши тылы. Дуб-нелюдим, под которым мы укрывались, тревожно шумел своей темной листвой, когда налетал ветер, — будто предупреждал нас о неминучей беде. Стихи Уткина были полны мрачных предчувствий:

Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это — другая.
Это значит... сырая земля.
Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с родиной мне...

II

Сидение в домике лесника вскоре стало казаться нам слишком уж идиллическим.

Работы в редакции, правда, хватало. Появились у нас и друзья — интересные люди: бригадный комиссар Шлихтер из Политуправления, широкообразованный марксист, подполковник Максимов из фронтовой разведки, живой остроумный человек, разрешавший нам присутствовать на допросах пленных немцев, председатель военного трибунала фронта московский юрист Бенедиктов. Короткие беглые встречи с ними были нам приятны, но нас влекло на фронт, на передовую. Хотелось понюхать настоящего пороха! Мы стали нажимать на Воловца, просить командировку. Он долго сопротивлялся, но потом не выдержал и подписал

командировочное предписание, выделив в наше распоряжение свою «эмку» с шофером.

Мы собрались ехать под Почеп, где происходили «бои местного значения». Однако по замыслам штаба они должны были перерасти затем в более крупные и значительные. Пока же такими местными стычками наши войска прошупывали оборону врага на этом участке фронта. Увы, наша с Уткиным первая (и последняя) совместная поездка на фронт неожиданно, как это часто бывает на войне, едва начавшись, закончилась не в Почепе, а в Брянске. С нами случилась комическая, в сущности, история, о которой есть смысл рассказать подробно.

Произошло все так. Нам бы ехать из Брянского леса прямо туда, куда нам предписывало направиться командировочное удостоверение, то есть за Десну, под Почеп, а нас черт угадал «на одну минуточку» заскочить в Брянск в городскую типографию, где временно печаталась наша газета,— повидаться с товарищами. Эта минуточка все и решила.

— Хорошо, что вы заехали! — обрадовался нам выпускающий. — Звонил редактор, приказал, если вы появитесь, вернуть вас обоих назад в лес, в редакцию.

— Что за чушь! — возмутился Уткин. — А вы спросили Александра Михайловича, почему, собственно, мы с Ленчем должны вдруг ни с того, ни с сего возвращаться в лес, не солоно хлебавши?!

Выпускающий тонко улыбнулся:

— Начальству нельзя задавать вопросы, тем более на фронте. Начальство само задает вопросы!

Он сделал паузу и прибавил с той же тонкой дипломатической улыбкой:

— Возможно, редактор что-то задумал, и ваши перья ему срочно понадобились. А возможно, и другое. Вас, писателей, у нас в редакции три: Уткин, Ленч и Рахтанов. Нерасчетливо двоих сразу посылать на передовую. Мало ли что может случиться! По одному — вот это по-хозяйски! Впрочем, все это мои личные домыслы.

— Мы что же, должны сейчас же ехать назад?!

— Плохо вы знаете Воловца! — сказал выпускающий. — Он хороший человек и хороший психолог. Он разрешил вам переночевать в Брянске. Утром вернетесь к себе в лес. Можете до комендантского часа сходить в кино, погулять по городу. Ночевать будете не где-нибудь на ящиках и лавках,

а в городской гостинице на настоящих кроватях с настоящими пружинными матрацами. В общем, ступайте с богом и вкушайте дары цивилизации.

Что нам оставалось делать? Мы поставили нашу машину во двор типографии, а сами отправились вкушать «дары».

Прифронтовой Брянск жил эфемерной, призрачной жизнью, напряженной, как перетянутая, готовая лопнуть струна.

В городе ждали большого воздушного налета, но гитлеровцы, имевшие в то время над нами перевес в авиации, играли с Брянском, как кошка с мышкой, и не спешили с бомбовым ударом. Лишь иногда появлялись одинокие разведчики, кружились, что-то высматривали и даже сбрасывали на окраины города одну-две бомбы. Тогда начинали реветь сирены воздушной тревоги, гремели взрывы, нервно хлопали зенитки.

Удрали «стервятники» — и снова в городе наступает тишина. Теплый августовский ветерок хозяйственно шевелит пыльную листву деревьев, и на бульварах посвистывают, прыгая с ветки на ветку, легкомысленные синички. Все совсем как в мирное время! Мы с Уткиным побродили по полупустому городу, посидели на скамейке в тенистом сквере, послушали концерт синиц и, установив, что прифронтовой Брянск из всех даров цивилизации может предложить нам лишь кино и баню, выбрали, конечно, баню.

Старуха-кассирша честь по чести продала нам билеты в 1-й разряд. Мы вошли в чистенькую раздевалку и обнаружили, что будем мыться вдвоем. И вот, когда мы уже намылились и стали с горьким наслаждением растирать зудящие спины мочалками, заревели сирены воздушной тревоги. Мы с Уткиным переглянулись и принялись еще яростнее действовать своими скребницами. Вдруг дверь, ведущая в раздевалку, отворилась, и на банном пороге появился роскошный рыжеусый мужчина в военной гимнастерке без знаков различия, в галифе и высоких сапогах, с кавалерийским карабином, висящим на ремне через плечо. Я успел заметить, что у него одна нога короче другой и он сильно хромает.

— Вы что, товарищи военные, не слышите, что ли, сигнала?! — грозным басом лихого старшины закричал на нас роскошный усач с порога. — Ждете отдельного приказа? Одевайтесь и ступайте во двор — там у нас щель вырыта!

— Послушайте, голубчик, — сказал Уткин с несколько

надменной небрежностью.— Почему вы, собственно, на нас орете? И кто вы, собственно, такой?

— Я — директор бани! — прорычал роскошный усач.

— Пойдемте, Иосиф! — миролюбиво сказал я.— А то он еще откроет по нас огонь из своего карабина. Я готов пасть на поле брани, но пасть на поле бани... да еще от руки ее директора... не за этим я сюда приехал!..

Мы кое-как вытерлись, натянули белье на влажное тело, надели штаны и гимнастерки и без сапог, босиком, вышли во двор, где в неглубокой щели нас уже ожидал строгий директор.

Замолкли хлопки зениток, прозвучал сигнал отбоя.

— Мы имеем право домыться за те же деньги? — учтиво спросил Уткин директора, подмигнув мне.— Или надо брать новые билеты?

— Можете идти домываться! — милостиво разрешил усач.

И вот опять сидим голые на мраморной лавке и драим себя мочалками. И опять ревут сирены воздушной тревоги! И опять директор бани, — о, эта неистовая исполнительность старого служаки! — вырастает на банном пороге, неумолимый, как статуя Командора.

— Отдельного приглашения ждете, товарищи командиры?..

Опять мы натягиваем бязевые кальсоны и рубахи на влажное тело, спешим во двор и прячемся в щель. Опять хлопают зенитки. Где-то грохочет взрыв. И вот опять — отбой.

Когда в третий раз заревели сирены и на пороге снова появился наш мучитель, мы с Уткиным взбунтовались.

— Вы, Ленечка, как хотите, — сказал Уткин, — а я никуда больше не пойду! Мне это надоело!

— Я тоже не пойду! — запальчиво сказал я.

Директор надулся, усы у него встали дыбом, из светлоголубых глаз, как мне показалось, посыпались искры административного восторга. Он уже открыл рот, чтобы кричать на нас, но вдруг Уткин просто и даже задушевно спросил:

— А вы сами-то когда в последний раз мылись в бане, товарищ директор?

Административные искры в глазах усача тотчас погасли, усы опустились. В одно мгновение он весь как-то обмяк и подобрел.

— Да я уж и забыл даже, когда купался! — буркнул директор.

— Раздевайтесь и приходите! — скомандовал Уткин. — Будем вместе мыться, втроем веселее!..

Директор повернулся и исчез вместе со своим карабином. Через пять минут он снова возник на пороге.

Деликатно прикрываясь веником, он проковылял к отдельной скамейке, налил кипяточку в шайку, и, когда еще через пять минут снова зывыли сирены воздушной тревоги, наш партнер уже фыркал и гоготал от наслаждения, хлеща себя веником по спине и тощим ляжкам. Ему было на все наплевать. Только прямое попадание бомбы могло бы прервать его невинное занятие!

Мы хорошо помылись, дружески простились с директором бани и пошли в гостиницу. Гостиница была почти пуста. Нам дали каждому по номеру, и мы отлично выпались на настоящих пружинных матрацах, лежавших на настоящих кроватях. Утром нас разбудила сирена воздушной тревоги, впрочем, она была короткой, и мы быстро прикатили в свой лес, в свою родимую избу лесника.

Воловец под строжайшим секретом сообщил нам, что под Почепом затевается «нечто весьма серьезное», — сейчас писать о боях на этом участке фронта преждевременно. Поэтому он нас и отозвал. Нам пришлось смириться.

О своей поездке в Брянск и о «тихих» банных радостях мы, сильно все приукрашивая, рассказали редакционным товарищам, не скупясь на живописные подробности. Нам откровенно завидовали, а секретарь редакции А. Я. Митлин, в прошлом ответственный редактор газеты «Кино», симпатичный и кроткий хлопотун-работяга из породы тех газетных коренников, которые, где бы они ни работали, главную тяжесть редакционного воя берут на себя, объявил, что он завтра же поедет в Брянск в типографию по неотложному делу и заодно уж, конечно, посетит брянскую баньку и передаст от меня и Уткина привет усачу-директору.

Митлин действительно на следующий день отправился в Брянск — в командировку. После обеда наша изба опустела. Сотрудники разбрелись по своим делам кто куда.

Воловец ушел к начальнику Политуправления фронта. У меня наметился свободный часок, и я залез на сеновал тут же в избе и решил, пока суд да дело, вздремнуть. Только я устроился поудобнее, как началась бомбежка. Взрывы бомб следовали один за другим. Изба лесника ходила ходу-

ном. Нужно было выйти наружу и укрыться в щели, но так уютно пристроил я свое брненное тело в душистое мягкое сено, такая истома охватила меня, что я продолжал маяться на сеновале в сладком полузабытии. Вдруг внизу на столе Митлина зазвонил телефон.

— Все равно не встану! — сказал я самому себе.

Телефон продолжал звонить.

Я слез с сеновала и снял трубку.

— Попросите Ленча! — сказал незнакомый голос.

— Ленч слушает!

— Леонид Сергеевич, только что при въезде в Брянск тяжело ранен Митлин. Он попал под бомбежку, ему оторвало ногу. Вы, кажется, знаете хирурга Вишневого? Найдите его и попросите, чтобы он сейчас же приехал в госпиталь, он знает в какой. Действуйте быстро!..

На секунду я оторопел. Вот тебе и наша лесная идиллия!

Я выбежал из избы лесника. Боже мой, где же искать Вишневого, тогдашнего нашего фронтового хирурга?!

Я быстро пошел по направлению к землянкам штаба фронта и вдруг — так бывает только во сне или в кино! — увидел пробирающийся по лесной дорожке «пикап» и в нем Александра Александровича Вишневого. Я закричал что есть силы:

— Саша!

Вишневский обернулся, увидел меня, тронул шофера за плечо. «Пикап» остановился.

Выслушав мой сбивчивый рассказ, Александр Александрович нахмурился:

— Понимаешь, какое дело... Я ведь уезжаю от вас совсем, меня перебросили в другое место... видишь, чемодан со мной!

Он посмотрел в мои умоляющие глаза и закончил:

— Ну, ладно. Поеду!

«Пикап» развернулся и помчался в обратную сторону.

Через три часа в сумрачную притихшую избу лесника (все уже знали о ранении Митлина) вошел Вишневский. Я вздрогнул, увидев его осунувшееся хмурое лицо и черные тени под запавшими глазами. Гимнастерка его пропотела насквозь.

Он обратился ко мне, сказал:

— У тебя коньяку нет случайно?

Коньяк был — на днях прислали посылку из Москвы.

Я достал из чемодана бутылку, налил полстакана. Хирург выпил одним глотком и сказал, ни на кого не глядя:

— Он умер на столе. Я ничего не мог сделать.

Митлина все любили. Он был добрым, скромным человеком, настоящим советским газетчиком.

Дней через пять массированным ударом вражеской авиации Брянск был разрушен и сожжен почти полностью.

III

Теперь я хочу рассказать о том, как был ранен Уткин. О ранении поэта рассказывали и даже писали многие, допуская при этом разные, крупные и мелкие, неточности.

Мне о своем ранении рассказал сам Уткин, и я передам его рассказ, ничего не прибавляя и ничего не убавляя.

Мне очень хотелось написать для «Известий» о действиях штурмовой авиации Брянского фронта. Штурмовики, или «горбачи», как ласково называли летчики свои хищно-приземистые, могучие, с бронированным «брюхом», действительно чуть горбатые по силуэту машины, оказались отличным наступательным и оборонительным воздушным оружием. Их короткие удары по танкам, моторизованным колоннам и по пехоте врага, обычно внезапные, ошеломяли гитлеровцев своей пугающей эффективностью. Помимо пушек и пулеметов штурмовики, летавшие на малых высотах, были вооружены еще и «эрэсами» — реактивными снарядами. В море огня превращалась танковая колонна врага, попадавшая под неожиданный удар «горбачей»!

Я получил у Воловца разрешение слетать в дивизию штурмовиков. До Карачева я добрался на попутной автомашине, а там майор Резник, командир полка истребителей, весельчак и храбрец, с которым я быстро подружился, устроил меня на «У-2». Я слетал к штурмовикам и с исписанным блокнотом так же благополучно вернулся в Карачев. Щедрый Резник дал мне полуторку — доехать до штаба фронта. Мы уже подъезжали к шоссе, как вдруг из-за облаков вынырнул «мессершмитт» и стал пикировать прямо на нас. Шофер остановил машину, рывком открыл дверцу с моей стороны и чуть ли не в шею вытолкнул меня из грузовика. Я побежал по клочковатому полю, упал, и сейчас же, как мне показалось, совсем рядом грянул взрыв. Оглянувшись, я увидел черный фонтан земли, взметнувшийся к небу

на другой, далекой стороне поля. «Мессера» уже не было. Через час я был дома, в редакции. Первым, кого я увидел на крыльце избы лесника, был Уткин, — в шинели, с вещевым мешком за плечами, с автоматом на ремне. Мы поздоровались, и я, еще не остывший после своих приключений, стал рассказывать ему про штурмовиков, про храброго Резника и, конечно, про то, как я бежал по клочковатому полю, чувствуя всей спиной свист падающей бомбы (насчет свиста и спины было сказано в порядке художественного преувеличения).

Уткин прервал мои излияния:

— Я с бригадным комиссаром Шлихтером сейчас уезжаю на фронт. Туда же, под Почеп. Там предстоят большие дела — прорыв фронта Гудериана. Ступайте сейчас же к Воловцу и просите, чтобы он отпустил вас с нами. Мы вас обождем!

Предложение было заманчивым. Я бросился к Воловцу, но добрейший Александр Михайлович на этот раз оказался непреклонен.

— Сначала дайте в газету материал о штурмовиках, а там... видно будет!

Уткин уехал один. Примерно дней через пять-шесть под вечер в избу лесника, согнувшись, чтобы не задеть головой притолоку, ввалился высоченный военврач с двумя «шпалами» на петлицах заношенной гимнастерки, поздоровался и сказал хриплым басом, обратившись ко мне — я был к нему ближе других:

— Уткин у вас работает?

— У нас! — Сердце у меня замерло.

Военврач вздохнул и сказал извиняющимся тоном:

— Я ему только что четыре пальчика на правой руке того... оттяпал!

Уткин после ранения был доставлен с фронта самолетом в полевой подземный госпиталь на окраине Брянска — в тот самый, где умер на операционном столе бедняга Митлин. Я поехал в госпиталь вместе с высоким хирургом (фамилию его я забыл). По его распоряжению мне дали халат (он был весь в неотмытых бурых пятнах), и я пошел по узкому проходу среди кроватей, на которых лежали раненые, ища глазами Уткина.

Воздух, насыщенный специфическими госпитальными запахами, был тяжелый, спертый из-за отсутствия вентиляции. Кто-то тихо стонал, кто-то громко бредил. Молоденький

боец с круглой, мальчишеской, остриженной головой, раненый в грудь навывлет, весь забинтованный, сидел в кровати и громко, по-детски плакал. Пожилой усатый санитар, подерживая его осторожно и нежно за плечи, ворчливо выговаривал ему:

— Ну что ты плачешь, дура-голова, ты — терпи, ты — солдат, а не дите!

— Так ведь больно, дяденька!

— Всем больно, а никто не скулит, один ты!..

Наконец я увидел чубатую голову Уткина, лежащую на подушке. Я подошел к его кровати. Поверх одеяла покоилась его правая забинтованная рука. Алые свежие пятна крови проступали на белой бинтовой кукле. Он был изжелтабледен, лицо осунулось, глаза раскалены страданием. Я сел у него в ногах и, проклиная свою чувствительность, отвернувшись, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. Уткин молча пожал здоровой левой рукой мою руку.

Справившись с собой, я сказал:

— Расскажите, как это все произошло, Иосиф!

И вот что рассказал Уткин тогда, в августе 1941 года, в полевом подземном госпитале на окраине Брянска.

Они с бригадным комиссаром Шлихтером безо всяких осложнений добрались до передовой. В лесу, где были сосредоточены части прорыва, состоялся митинг. Уткин выступил на митинге с речью, потом читал стихи. После короткой огневой подготовки началась атака. Политработники, выступавшие на митинге, решили идти в бой вместе с бойцами. Вместе с ними пошел и Уткин.

— Зачем вы это сделали, Иосиф?! — вырвалось у меня. — Вы же работник газеты, поэт... вы могли и не пойти, никто бы вас не осудил за это!

— А совесть? — сказал Уткин, глядя на меня с укором. — Я выступал на митинге... призывал и взывал... стихи им читал! А потом — в кусты?! Думаю, что и вы, Ленечка, на моем месте поступили бы так же.

Он, конечно, был прав, и я сказал ему об этом.

Атака наша захлебнулась. Части, брошенные в наступление, состояли из молодых необстрелянных солдат, а противостояли им крепкие эсэсовские полки.

Гитлеровцы открыли огонь по наступающим из тяжелых минометов с дальних позиций, а потом поднялись в контратаку. Наши дрогнули и попятились. Политработникам, в том числе и Уткину, пришлось заниматься самым тяжелым

делом, какое порой ложится на плечи командиров в бою,— тушить начинавшуюся панику. И они ее потушили! Необстрелянные бойцы остановились, подоспели и резервы, контратака врага была отбита. Но о финале боя Уткин узнал уже в санбате. Одна из немецких мин разорвалась поблизости от него. Он лежал, вытянув руки. Рядом упал политрук. Завизжали осколки. Один отсек Уткину три пальца правой руки, оставив четвертый висеть на ниточке из кожи, другой впился политруку в ногу. Их обоих доставили в санбат.

Рана политрука оказалась легкой. Уткина, потерявшего много крови, погрузили в самолет и перебросили в Брянск. Через несколько дней по приказу генерала Еременко поэт, награжденный орденом Красной Звезды, был самолетом же отправлен на лечение в Москву.

IV

В начале 1942 года я, в связи с обострившимся старым легочным процессом, был отозван с фронта и вернулся в Москву. Здесь мы снова встретились с Уткиным. Он продолжал носить военную форму. Черная лайковая перчатка туго стягивала протез на правой руке. Вскоре он снова уехал на фронт.

...13 ноября 1944 года у меня на квартире раздался телефонный звонок. Я снял трубку и узнал голос Сергея Васильева. По его тону понял, что случилась какая-то большая беда.

— Я только что из морга. Мы с Антокольским ездили для опознания тела Уткина.

— Боже! Когда это случилось?

— Сегодня утром. Возвращался из Бухареста... Авиационная катастрофа... У него в руке был томик Лермонтова!.. Я положил трубку. Рыдания душили меня.



В Иркутске, где начинался поэтический путь Иосифа Павловича Уткина, теперь его имя носят школа и одна из улиц города. А обком комсомола учредил литературную премию имени поэта.

Иосиф Уткин

СТОЮ В СМЯТЕНЬЕ У ПОРОГА



тою в смятенье у порога
И не могу переступить.
Что мне сказать им... ради бога!
С чего начать... Как приступить?
Нелегкий труд и в самом деле
Сказать им: «Вы осиротели.
Что ваш любимый сын в бою
Погиб за родину свою.
И что, смертельно ранен,
Меня на поле брани,
Поднявшись из последних сил,
Родным он кланяться просил».
Как в дом войти с такою вестью?
Как бросить бомбу в мирный быт!
Как мне сказать им: «Он убит...»
О, если б можно было местию
Такое горе врачевать,
Тогда б я знал, с чего начать!
Я б им сказал: «Прекрасный, смелый,
Увитый славой, как плющом,
Ваш сын погиб за наше дело,
И нами трижды отомщен!»

1942 г.

ТЫ ПИШЕШЬ ПИСЬМО МНЕ

На улице полночь. Свеча догорает.
Высокие звезды видны.
Ты пишешь письмо мне, моя дорогая,
В пылающий адрес войны.

Как долго ты пишешь его, дорогая,
Окончишь и примешься вновь.
Зато я уверен: к переднему краю
Прорвется такая любовь!

...Давно мы из дома. Огни наших комнат
За дымом войны не видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят,
Как дома и в дыме войны!

Теплее на фронте от ласковых писем.
Читая, за каждой строкой.
Любимую видишь
И родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной...

Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю.
И время такое придет:
Останутся грусть и разлука за дверью,
А в дом только радость войдет.

И как-нибудь вечером вместе с тобою,
К плечу прижимаясь плечом,
Мы сядем и письма, как летопись боя,
Как хронику чувств, перечтем...

1942 г.

Иван Крисковец

ПАРТИЗАНСКИЙ СОБОР



Недавно, просматривая архивы отдела пропаганды и агитации Могилевского подпольного обкома партии, я обнаружил список военковровского актива подпольной партизанской печати Кличевского района. Его составил 4 декабря 1943 года редактор партизанского рукописного журнала Михаил Матюшонок. Читаю первое имя в этом пожелтевшем от времени документе:

«Белобородый Михаил Федорович,
Год рождения — 1925,
Время вступления в партизанский отряд — 28. 2 — 42 г.,
Партийность — комсомолец,
Образование — незаконченное среднее».

Эти краткие анкетные данные напомнили о хорошо знакомом, близком человеке.

В конце 1937 года редакция кличевской районной газеты получила письмо о работе Ново-Максимовичской избы-читальни. Под письмом стояла неизвестная кличевским журналистам подпись «Михась Белобородый». Корреспонденция была написана неплохо, поднимала важную тему об организации досуга сельской молодежи, и в редакции решили напечатать материал, напечатать без проверки — тон письма подкупал своей непосредственностью, искренностью.

С того дня письма и корреспонденции с подписью «Мих. Белобородый» стали поступать в редакцию регулярно. Их печатали, писали автору теплые письма, давали дружеские наставления, новые темы для материалов. Поручения редакции Белобородый выполнял на редкость старательно. Естественно, что в редакции пожелали поближе познакомиться с селькором. Ему написали письмо и попросили в удобное для него время посетить редакцию. Через два-три дня в большую и шумную комнату секретариата редакции робко

вошел невысокий, загорелый мальчик. Изучающе осмотрев всех нас, он сказал:

— Я — Миша Белобородый.

Это было слишком неожиданно. В первый момент мы как-то даже растерялись под взглядом этого паренька. Не в меру смешливая машинистка Маша Полойко прыснула смешком, но тут же осеклась под строгим взглядом секретаря редакции. Трудно было поверить, что этот тринадцатилетний мальчик и есть тот активист газеты, которому редакция давала серьезные поручения. По его корреспонденциям у нас уже четко сложился образ Михаила Белобородого, и этот образ был очень далек от того, кого мы видели перед собой.

Беспокоило и то, что Миша был школьником, только перешел в шестой класс, а мы отрывали его от учебы редакционными поручениями, которые были явно не по его возрасту. В последнем письме заведующий сельскохозяйственным отделом редакции Николай Сидорович поручал Белобородому организовать и возглавить рейдовую бригаду и проверить состояние подготовки к севу в колхозе «Маяк коммуны». Сидорович рекомендовал Белобородому привлечь к участию в рейде депутатов сельсовета, передовиков производства, интеллигенцию. Было чему удивляться, когда мы увидели, кому давали такие поручения! Но самое удивительное заключалось в том, что Миша выполнил и это задание. Он принес материалы рейда, скрепленные подписями взрослых и ответственных людей. Мы спросили Белобородого, как он справляется с такими поручениями, и он ответил:

— Так мне же помогает отец, когда надо писать о делах в колхозе или сельсовете.

Шли годы. Миша успешно учился в школе и не порывал связи с газетой. Когда он перешел в десятый класс, мы начали серьезно подумывать о том, чтобы после окончания школы пригласить его на работу в аппарат редакции. Судя по написанным материалам, из Миши в ближайшем будущем мог получиться хороший журналист.

И вдруг — война. Гитлеровцы топтали белорусскую землю. Смерть и пожары, пожары и смерть... Горели мирные хаты, горел созревший на колхозных полях хлеб, горел лес, гибли не только солдаты, гибли старики и несмышленные дети. Гитлеровцы охотились на людей, ловили и убивали, убивали просто, без каких-нибудь «провинностей», только за то, что эти люди не родились немцами. Все это видел

Миша, видел и запоминал. Ночами куда-то уходил отец — директор Ново-Максимовичской средней школы Федор Корнеевич Белобородый. Встревоженная мать провожала его, а потом до утра вздыхала, плакала. Сын догадывался: отец ходит на опасное дело.

А однажды на рассвете в дом ворвались гестаповцы и с ними местные полицаи Федор Лаптенко, Виктор Анифер и некий Сашка. Немцев еще можно было обмануть, но полицаи знали всех и все. Отца схватили и убили за подпольную работу. Схватили и убили также старого колхозника инвалида Ивана Терешко. Его сын Володя и дочери Тася и Лариса были партизанами, жена Вера Петровна и дочь Лида помогали им.

Партизаны... Само это слово волновало, было олицетворением высшей справедливости. И вот в феврале 1942 года в село вошли партизаны кличевского отряда. Как зачарованный, смотрел Миша на этих легендарных людей. Для себя Миша уже решил: он будет партизаном.

Не сразу народные мстители приняли юношу в свои ряды, но настойчивость, горячее желание мстить врагу за отца, за Родину тронули суровые души партизанских командиров: комсомолец Михаил Белобородый стал партизаном.

Шел июнь 1943 года. В землянку редакции могилевской подпольной областной газеты «За Радзиму» («За Родину») зашел увешанный оружием, гранатами и какими-то блестящими цепочками-ремешками молодой партизан. Козырнув, он представился:

— Здравствуйте! Я — ваш корреспондент Михаил Белобородый. Иду в разведку в Матевичи-Голынку. Какие будут поручения от газеты?

Мы невольно залюбовались этим восемнадцатилетним пареньком. Это был уже не тот Миша Белобородый, который приходил в редакцию кличевской районной газеты несколько лет тому назад. Перед нами стоял обстрелянный, насквозь прокопченный порохов воин. Правда, цепочки-побрякушки — все это свидетельство о не прошедшем еще мальчишестве. Но рядом с этими цепочками на груди Михаила сверкали орден Отечественной войны и партизанская медаль — знаки мужества, воинской доблести.

Договорились о поручении, и через два-три дня Миша снова появился в редакционной землянке. Куда-то торопясь, он наспех рассказывал:

— Был в Матевичах. Вчера там появились немцы, мно-

го их, человек полтора. Они окружили село и начали выгребать у крестьян хлеб, угонять последних коров. И хлеб и скот, все подчистую. Мы сообщили в штаб, и вскоре партизаны 208-го и 277-го отрядов перекрыли фашистским «заготовителям» выход из села. Создалась любопытная ситуация: гитлеровцы окружили село, мы окружили их. Как ни метались враги, выхода из огненного кольца не было. В итоге 138 грабителей уничтожено, только отдельные спаслись бегством. Трофеи богатейшие — весь транспорт, все оружие подобрали партизаны.

— Это же то, что нам надо! — обрадовался редактор. — Немедленно пиши об этом.

Михаил пристроился к уголку нашего самодельного стола и, немного подумав, вывел заголовок: «Пулю вместо хлеба — фашистским людоедам!» Под этим заголовком корреспонденция появилась в подпольной областной газете, а вскоре и районные подпольные газеты начали печатать подборки материалов под общей шапкой: «Пулю вместо хлеба — фашистским людоедам!»

Отважно дрался с врагами комсомолец Михаил Белобородый. Но и в самой напряженной боевой обстановке он не забывал о своих обязанностях партизанского собкора. Подпольные газеты — кличевская районная «Голос партизана» и областная «За Радзиму» — регулярно получали и печатали его корреспонденции, написанные по горячим следам недавних боев.

С подрывной группой старшего лейтенанта Якова Рыжкевича Михаил Белобородый ходил «на железку». Как разведчик, он заранее наметил время и место взрыва эшелона и привел подрывников на это место. Вместе с ребятами он закладывал под рельс полупудовый толовый заряд, вместе сидели в кустах — ждали результата. Ушли только тогда, когда взрыв огромной силы всколыхнул окрестный лес, а паровоз и двадцать пять вагонов с живой силой и техникой врага свалились под откос.

Возвратившись в лагерь, ребята-подрывники сутки спали. Миша не спал. Он писал. И вскоре в партизанской газете появилась живая зарисовка «Эшелон за эшелонам». В ней рассказывалось о действиях подрывной группы на железной дороге. Обо всех участниках последней диверсии рассказано было подробно, только о Белобородом не говорилось в этой зарисовке ничего: он сам был автором материала, а говорить о себе у журналистов не принято.

По материалам Михаила Белобородого можно было проследить весь его боевой путь. Он увлекательно писал о беспокойных и опасных операциях по захвату «языка», о взрывах эшелонов и разгроме вражеских гарнизонов, о патриотизме советских людей и беспримерном героизме партизан и партизанок. Ценность его материалов была в том, что он писал прямо с поля боя, рассказывал о событиях, активным участником которых был сам.

Партизаны Могилевщины знали и любили Михаила Белобородого. Комсомольцы 278-го отряда избрали его своим вожакom, а на районной конференции кличевской подпольной комсомольской организации Миша был избран членом бюро Кличевского подпольного райкома комсомола.

В конце июня 1944 года, после освобождения Могилевщины, Михаила пригласили в Центральный Комитет комсомола Белоруссии. Тепло и сердечно беседовали с ним руководители комсомола республики и в заключение предложили идти учиться в республиканскую партийную школу.

Шла еще война. На заключительной беседе у секретаря ЦК ЛКСМБ Миша попросил отпустить его в армию: у него не были закончены счеты с фашизмом.

Секретарь ЦК долго думал о чем-то и сказал, поднявшись со стула:

— Я тебя понимаю, Михаил. Иди, дорогой, и возвращайся с победой. Учеба и работа в газете от тебя не уйдут.

Вместе с другими партизанами Михаил Белобородый влился в одну из наступавших частей Красной Армии. И здесь он оставался разведчиком и активным корреспондентом, но теперь печатал свои заметки уже в дивизионной газете. Много «языков» доставил командованию этот мужественный парень. Вскоре он был награжден еще одним орденом Отечественной войны.

До последнего своего дня храбро воевал Михаил Белобородый. Он и погиб в разведке. Фашисты внезапно накрыли артиллерийским огнем местность, по которой продвигалась наша поисковая группа во главе с Михаилом. Это было 13 декабря 1944 года в Восточной Пруссии. Похоронен Михаил на братском кладбище.

Всего несколько месяцев не дожид Миша до светлого дня Победы. Родина потеряла своего верного сына, журналисты Могилевщины потеряли своего даровитого собрата. Вернуться в редакцию, о чем он страстно мечтал, Михаилу Белобородому не довелось...

На фронте было создано много шуточных и лирических, веселых и серьезных стихов и песен, посвященных труду журналистов на войне. В первом томе сборника напечатаны некоторые из них, получившие наиболее широкое распространение.

Ниже печатается шуточное стихотворение известного ленинградского поэта А. Т. Чивилихина. На фронт он пошел добровольцем, отважно сражался, был командиром взвода морской пехоты. В одном из боев Чивилихин отморозил ноги, и его перевели в редакцию газеты «На страже Родины». Затем он работал в газетах «На разгром врага» и «В бой за Родину». Войну закончил майором.

Анатолий Тимофеевич скончался в 1957 году.

Стихотворение «За рядовых пера!» было очень популярно в дни боев и передавалось по памяти. Публикуется оно впервые.

Анатолий Чивилихин ЗА РЯДОВЫХ ПЕРА!



Сегодня нам выпал веселый час,
А завтра нам в путь пора.
И тост неплохой найдется у нас:
За рядовых пера!

Мы «Войну и мир» не напишем, нет,—
Хоть записок у нас гора,
Но не обойтись ни одной из газет
Без нас — рядовых пера!

Мы пишем, дуя на кулаки,
У гаснущего костра.
О подвигах славных — четыре строки,
И каждая нехитра.

Где кончен бой, где бой начался,
Где сброшен противник с бугра —
Обязан всех раньше на полчаса
Узнать рядовой пера.

На «пикапах» не ездим, придем пешком,
Коль не подвезут шофера.
В грязи непролазной бодрым шажком
Завтра пойдем, как вчера.

Из роты в роту, из дзота в дзот
(А у немцев есть снайпера)
Наш брат, не сгибаясь, к бойцам идет:
Он — рядовой пера.

Так выпьем, покуда писатели спят.
Всем встать! Мы крикнем «ура!»
За наших читателей — смелых ребят,
И за нас — рядовых пера!



**Вы дошли до Берлина, забывая усталость,—
На последней поверке нас так мало осталось!
Честь и память героев беспримерна и свята,
Беспощадное время бьет по нашим квадратам!**

**Яков Шведов
«Вы героями были...»**

Адхам Рахмат

АБДУЛЛА ШАРАФУТДИНОВ, ТАШКЕНТСКИЙ РЕПОРТЕР



уровой зимой 1942 года в дверь редакции газеты «Кизиласкар хакикати» («Красноармейская правда»), которая выходила на Западном фронте для воинов-узбеков, постучал высокого роста боец.

— Можно войти, товарищи офицеры?

Получив разрешение, он поправил шапку, вошел и поздоровался.

— Кто вам нужен?

При свете фитиля, вставленного в гильзу от снаряда, я всмотрелся в него — и, не помня себя, вскочил с места. Это был Абдулла Шарафутдинов, известный в Узбекистане как «ташкентский репортер». Через мгновение мы уже обнимали друг друга, на удивление всем находившимся в редакции.

Затем, усевшись поудобнее на разостланный на деревянном полу матрац, при тусклом свете лампы мы разговорились.

— В какой части служите?

— Я связист.

— Связист? Где же получили эту профессию?

— Закончил курсы связистов. А недавно подводил к линии фронта связь, вдруг меня зовет наш старшина. Я отвечаю, что осталось еще три-четыре столба, а он торопит — вызывают в дивизию. Оказывается, вы просили Политуправление фронта прислать газетчиков.

Мы проговорили часов до трех ночи, хотя вставать надо было в шесть. Было о чем поговорить: вспоминали дни,

проведенные на трассе Большого Ферганского канала, как бывали на ташкентских предприятиях, в торговых учреждениях, магазинах, школах, больницах, как собирали материал и писали для газеты статьи и информации. До войны Абдулла был репортером республиканской газеты «Кизил Узбекистон» по Ташкенту.

— А помните ваш фельетон о том, почему в Ташкенте нет соли?

Абдулла только мягко улыбнулся в ответ.

— Теперь, друг мой, настали дни, когда надо писать совсем о другом. Мы издаем газету для воинов-узбеков, сражающихся на Западном фронте. Корреспондентов у нас пока немного, всего трое. Они по очереди отправляются на передовую, приносят материалы, и мы выпускаем газету на узбекском языке. Ваш приход очень кстати.

Шарафутдинов с первого дня серьезно взялся за работу. Вскоре он отправился для сбора материала на передовые позиции и через два дня вернулся с исписанным блокнотом.

В очередном номере газеты были напечатаны не одна, а сразу три его информации. Благодаря инициативе старшего сержанта Абдуллы Шарафутдинова в газете появился сатирический отдел под рубрикой «Фронтовые приключения». Для этого отдела он привез несколько заметок о забавных происшествиях, записанных со слов солдат. Мы их напечатали. Начиная с этого номера газеты сатирический отдел стал постоянным. Впоследствии он стал выходить под рубрикой «Ходжа Насреддин на фронте».

Отправляясь на передовую, Абдулла всегда записывал сочиненные самими солдатами удивительные и забавные рассказы, которые затем появлялись на страницах газеты. Если в первое время воинов-узбеков, пишущих в газету, было очень мало, то теперь, с приходом в газету Абдуллы, число их быстро увеличилось. Раньше мы получали в день всего одно-два письма, а теперь нередко число их достигало тридцати — сорока. В этом прежде всего сказывались организаторские способности Абдуллы.

В начале декабря 1942 года на Западный фронт из Узбекистана приехали артисты. Делегацию возглавлял секретарь ЦК комсомола Ихсан Рахимов. Вместе с ними приехал известный узбекский писатель Айбек. Абдулла побывал с ними в воинских частях и сам выступал — читал стихотворение Айбека «Примите привет».

Абдулла оставался с приехавшими на фронт работниками искусства до самого их отъезда. Как внештатный корреспондент Узбекского телеграфного агентства на Западном фронте он направлял материалы о подвигах воинов-узбеков не только во фронтовую, но и в республиканские газеты.

Поскольку Абдулла Шарафутдинов являлся корреспондентом УзТАГа, агентство стало посылать нам информацию и фотографии о самоотверженном труде народа в тылу под лозунгом «Все для победы, все для разгрома врага!», о жизни республики. Такие материалы о жизни родного края всегда очень интересовали бойцов.

Однажды пришло сообщение, что на одном из участков Западного фронта батальон офицера узбека Мирзаирова готовится к наступлению. В тот же день Абдулла Шарафутдинов отправился в батальон майора Мирзаирова.

В полночь в редакции зазвонил телефон: «Батальон готов, я тоже вместе с майором иду в бой...» И через два дня пришла написанная рукой Абдуллы статья.

«...Время перевалило за полночь,— писал Шарафутдинов.— Майор Мирзаиров получил приказ о переходе батальона в наступление. Бойцы, заскучавшие в ожидании уже давно предполагаемого наступления, на рассвете были готовы идти в бой против гитлеровских гадов.

Майор Мирзаиров, вызвав к себе командиров рот, беседует с ними. Обсуждаются данные разведки, намечаются действия против вражеских танков, пулеметов и автоматчиков. Затем Мирзаиров отдает приказ. Началась интенсивная артиллерийская подготовка.

Батальон Мирзаирова сегодня во что бы то ни стало должен овладеть деревней Будомонастырь. Наступление началось в 7 часов утра. Почти двухчасовая артподготовка значительно ослабила вражескую оборону. Батальон перешел в атаку и решительным приступом взял Будомонастырь. Гитлеровцы с большими потерями отступили к деревне Перенко.

Вслед за этим Мирзаиров получил приказ — продолжать наступление и занять деревню Перенко, пока враг не успел закрепиться там.

Бой становился все ожесточеннее. Несмотря на потери, враг оказывал бешеное сопротивление. Героически сражались минометчики старшего лейтенанта Гажиева. Посланные ими мины безошибочно попадали в цель, уничтожая гитлеровцев.

Наступление все более разгоралось. В ходе боя из прославленных воинов подразделения младшего лейтенанта Савченко была создана особая группа. Перед нею была поставлена задача — уничтожить вражеских пулеметчиков, препятствовавших продвижению батальона вперед. В эту группу вошли сержант Наврузов, братья Халиловы из Вабкента и Мирзаев. Савченко и эти смельчаки незаметно подкрались к месту расположения вражеских пулеметчиков, истребили их и захватили три пулемета. После этого боевые действия еще более активизировались, и батальон майора Мирзаирова подошел к окраине деревни Перенко.

Взаимодействуя с танками, батальон Мирзаирова с честью выполнил боевое задание командования и овладел деревней Перенко. Враг отступил, оставив сотни убитых и раненых. Батальон захватил богатые трофеи...

Это сообщение Абдулла Шарафутдинов написал под огнем, когда вместе с воинами батальона участвовал в наступлении.

Шарафутдинов все глубже овладевал военной тематикой, его журналистское мастерство быстро росло. Сообщения и статьи Абдуллы печатались не только в газете «Кизиласкар хакикати», но и на страницах «Красноармейской правды», выходившей на русском языке. Его заметка «Охотник за «языком»» была опубликована во всех газетах, выходивших на нашем фронте. В этой заметке Шарафутдинова рассказывается о храбрости, ловкости и смелых действиях прославившегося на Западном фронте разведчика Ибадуллы Нигматуллаева, его умении доставать «языка» из самого логова врага.

В начале ноября 1943 года военный журналист А. Шарафутдинов был принят в ряды Коммунистической партии. Получая партийный билет, он сказал:

— За свободу Родины буду бороться до последней капли крови.

Шарафутдинов получил свой партийный билет в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков столицы Украины — Киева.

Этот день стал для него радостным вдвойне — тогда же он сменил погоны старшины на погоны младшего лейтенанта.

Большинство писем и вестей, приходивших во фронтовую узбекскую газету от бойцов и офицеров, были адресованы Абдулле Шарафутдинову: на фронте он приобрел

много друзей. Почему так получилось? Потому, что на передовой Шарафутдинов исполнял не только свои прямые обязанности военного журналиста, но и становился страстным агитатором. Он рассказывал бойцам о победах советских войск, о героическом труде народа в тылу, об успехах тружеников Узбекистана.

С упорными боями советские войска шли все дальше на запад. Уже освобождена Литва. Успешно разворачивается наступление в направлении Восточной Пруссии. Еще натиск, и мы добьем врага в его логове! И тут нашу редакцию постигло большое горе. Абдулла Шарафутдинов не вернулся с очередного задания...

Коммунист, способный узбекский журналист Шарафутдинов пал на боевом посту. Это случилось 17 января 1945 года, когда победа была уже близка...

Своего боевого друга мы похоронили на берегу реки Неман, в семнадцати километрах от Каунаса. На его могиле сделали надпись: «Младший лейтенант Абдулла Шарафутдинов, 1910—1945».

Вместе с наступающими войсками редакция продолжала движение вперед.

Павел Рогозинский
В БОЮ ЗА КЮСТРИН



дверь пробарабанили несколько тактов какого-то веселого марша.

— Войдите!

В комнату вошел, нет — влетел молодой офицер в запыленном и выгоревшем армейском обмундировании, в пилотке, лихо сбитой набекрень.

— Володя!

Он бурно поздоровался, залпом выпил стакан воды и устало опустился в кресло.

— Здесь и воюешь? — критически оглядел он комнату.

Гостиница «Астория» в блокированном гитлеровцами Ленинграде стала своего рода штаб-квартирой военных корреспондентов. Кроме нас, в ее огромном стылом здании почти никто и не бывал.

— Как ты меня нашел?

— Ха! Чтобы разведчик не нашел того, кто ему требуется! А ты как-никак личность известная, — не удержался он, чтобы по-дружески не подковырнуть. — Слышал твои радиопередачи, слышал. — И он, каким-то удивительно бесцветным голосом, копируя дикторов, продекламировал: — «Наш военный корреспондент на Краснознаменном Балтийском флоте капитан Рогозинский передает из Ленинграда: на Западном фронте без перемен». Хотя нет, — перебил он сам себя. — Перемены есть, и большие. Короче говоря, портянки у тебя имеются?

— Какие портянки?

— Обыкновенные. Такие, какими русские воины обматывали в походах свои ноженьки еще во времена Игоря Святославича, Ярослава Мудрого и даже Гостомысла. А мы сейчас наступаем. Гоним супостатов с земли советской. Вот почему срочно требуются портянки. Свои износил.

— Так ты специально ради них меня разыскивал?

— Если хочешь — да. Ибо без оных пехотинцу ни туды и ни сюды. Ну и, конечно, лицезреть твою личность захотелось.

В этом был весь Володя Черносвитов.

Мы с Черносвитовым до войны работали корреспондентами газеты «Водный транспорт». Но за годы, что мы не виделись, он стал точно выше, раздался в плечах, в серых глазах появились какие-то незнакомые, поблескивающие металлом искорки.

— Но где же я тебе возьму портянки, если у нас, моряков, по форме полагаются не сапоги, а ботинки, и нам выдают носки?

— Ну, а эрзац какой-нибудь?

Я вытряхнул из чемодана все свое имущество. Среди него Володя обнаружил бязевую наволочку.

— Боже, какая прелесть! — воскликнул он, сразу же раздирая наволочку на две равные части. — Разрешите? — галантно осведомился он, снимая пыльные сапоги. На ногах у него были действительно лишь какие-то лоскутки. Сбросив их, он ловко закрутил портянки, мгновенно обулся и притопнул сапогами. — Превосходно! Все разведчики будут просто плакать от зависти и восхвалять доблестный флот в лице его лучших представителей.

— Довольно издеваться. Расскажи лучше, как ты воюешь?

— А вот так, — показал он на орден Красной Звезды. — Чтобы эту награду простому пехотинцу заработать — ой-ой-ой как потрудиться надо. Что еще тебе сказать? Теперь я в обыкновенной армейской разведке. По вражеским тылам бродим, «языков» ловим, приводим. И даже приносим их — в некоторых случаях. Что ж тут рассказывать — обычные ратные будни.

— Пишешь?

— Пишу, — усмехнулся он. — Рапорты и донесения, и все больше, как Юлий Цезарь: пришел, увидел, захватил. «Языка», конечно. А повести, очерки и романы уже после войны будем писать. Конец ее — вот он! Уже близок. Эх,

если бы ты знал, какая это радость — шагать по освобожденной земле, видеть освобожденных людей и гнать, гнать, гнать проклятых фашистов. Ну, ей-богу, только ради этой радости стоило родиться и жить! И так хочется дожить до конца войны, до победы! Да где там!

— Ну что ты!

— Да ведь все время на переднем крае, даже перед ним — в разведке.

Он на минуту задумался, потом потрянул головой и снова весь точно заискрился:

— Там видно будет... Однако засиделся я у тебя. А за меня кто воевать будет?

— Куда же ты?

— На Запад! — неопределенно махнул он рукой. — Своих догонять надо. Я ведь на минутку в Ленинград заскочил, дела всякие, поручения. Очень рад был повидаться, и не взыщи за такое вторжение. А за наволочку — серьезно — большое-пребольшое спасибо. Ну, бывай! — крепко, до боли, стиснул он мне руку. Мы обнялись. — После войны свидимся!

...Не свиделись. Пришло сообщение, что наш товарищ Володя Черносвитов погиб на Одере в самом конце войны. На всю жизнь запомнил я его таким, каким видел в Ленинграде в апреле 1944 года, уже после того, как усилиями таких, как он, самоотверженных бойцов было разорвано кольцо блокады.

Веселый, загорелый, полный энергии — жить бы ему да жить! — он отдал всего себя Родине, борьбе за счастье ее и свободу. А сколько он мог бы еще сделать, сколько написать! Какой это был способный многогранный человек!

Его отец, московский учитель, рано умер, и мальчика растила мать, тоже учительница. Способности у Володи были хорошие, он успешно учился и был чемпионом по шахматам 10-й московской школы имени Фритьофа Нансена. Жил он в маленькой комнатке для прислуги в старой барской квартире. Единственным преимуществом комнатки было то, что в нее можно было попадать, никого не беспокоя, а также и по пожарной лестнице. Ребята и лазили по ней, собираясь у Володи на шахматные турниры.

Как и многие мальчишки в пятнадцать лет, он любил путешествия. Ребята совершали походы — на Воробьевы горы, ибо крупные были для них еще недоступны. Исследовали и «тайгу» — тоже в окрестностях столицы. Выпраши-

вали у бакенщика лодку и спускались вниз по течению Москвы-реки. Возвращаясь, прицепляли лодку к корме какой-нибудь баржи и так преодолевали течение. Любили много плавать. Как-то осенью Володя на пари дважды переплыл Москву-реку у Крымского моста. Он замерз и стал уже совершенно синим, но не вылез из воды, пока не доказал, на что способен.

Впоследствии с такой же настойчивостью Володя овладевал специальностью шофера, занимался спортом. Он одним из первых московских журналистов совершил прыжок с парашютом. А в ту пору этот вид спорта у нас только зарождался.

Еще совсем молодым Володя начал зарабатывать себе на жизнь. Работал на московских стройках чернорабочим, потом слесарем. Одновременно он окончил курсы шоферов и стал водителем грузовых машин. В 1930 году он уехал в качестве шофера на уборку урожая в приволжских хозяйствах.

Несмотря на трудные условия жизни, Володя Черносвитов вырос крепким и выносливым. Он был выше среднего роста, мускулист, широкоплеч. Его серые глаза всегда светились неподдельной радостью. Он был хорошим товарищем, готовым в любую минуту прийти на помощь другому.

Журналистские способности проявились у него рано. Еще в школе он с удовольствием редактировал стенгазету. Работая шофером, он начал посылать заметки на разные темы в местную газету. В 1931 году Черносвитов стал штатным сотрудником многотиражки московского завода «Манометр».

Через год Владимир Валерьевич Черносвитов — уже репортер газеты «Водный транспорт». В ней его прельстила возможность удовлетворить свою давнюю мечту о путешествиях. Правда, вначале они ограничивались ежедневным маршрутом между Наркомводом и редакцией «Водного транспорта». Он исправно носил заметки для раздела «Погода и навигация». Но в конце концов Черносвитов вырос в незаурядного очеркиста.

По заданиям редакции он изъездил Волгу, Днепр, Мариинскую водную систему, побывал на великих реках Сибири. Но с особым удовольствием он посещал морские порты Черного и Балтийского морей.

Война застала журналиста в Ленинграде, где он был собственным корреспондентом газеты.

С первых же дней войны Черносвитов был в рядах Крас-

ной Армии. В качестве шофера он нес ратный труд на ледовой трассе через Ладожское озеро — знаменитой «дороге жизни», по которой доставляли продукты и боеприпасы в блокированный Ленинград. Здесь он провел наиболее трудную пору блокады, всю суровую зиму 1941—1942 гг.

За этот самоотверженный труд он был награжден орденом Красной Звезды. Затем его направили в военную школу. Получив звание младшего лейтенанта, он становится полковым разведчиком. Офицер Черносвитов со своей разведгруппой участвовал в тяжелых боях под Ленинградом, на Синявинских болотах, в районе Невской Дубровки, под Лиговом.

В январе 1943 года он, командуя ротой автоматчиков, участвует в танковом десанте при прорыве блокады города Ленина. С боями доходит он со своей частью до Гдова. Отсюда его полк был направлен на пополнение и отдых в Подмоскowie, в Наро-Фоминск, а затем переброшен на Первый Белорусский фронт. На фронте же В. В. Черносвитов стал членом партии.

...Красная Армия наступала на всех направлениях. Батальон автоматчиков старшего лейтенанта Черносвитова на автомашинах-амфибиях шел в авангарде наших войск. Его бойцы форсировали одними из первых реку Березину, потом Вислу, с боями прошли Польшу, вступили на территорию Германии.

Близился час победы. О ней Черносвитов мечтал и писал об этом домой дочке Тане. Часто письма были коротенькие, похожие на записки. Писать обстоятельнее, видно, не было возможности. Но как они содержательны, эти короткие письма-записки!

«Доченька,— говорится в одном из них,— я получил твои каракульки и целую твои лапы. Очень, очень рад, что ты хорошо учишься. Будь такая же круглая и веселая, как пятерка. Такая!» — нарисовал он веселую пятерку.

«Я тебя очень люблю. Не сердись на меня, что я редко пишу тебе — занят, сама понимаешь — дело военное. Скоро война кончится, и мы с тобой пойдем лопать мороженое. Фашисты мне надоели и тебе, наверное, тоже. Мы их поколотим. Как ты думаешь, если я отпущу себе усы, мне пойдет? Напиши».

«Я хочу, чтобы ты была всегда отличницей. Будь веселой и ласковой, пусть у тебя будет много подружек и приятелей. Старайся не ссориться с ними и не ругайся, но и

в обиду себя не давай. Если ты будешь доброй, веселой, умницей, тебя никто никогда не обидит. А если и обидит, то за тебя всегда вступятся друзья».

«Пишите о дочери,— просит он в своих письмах.— Учите ее быть ласковой и любопытной к людям. Помните, что самое гадкое в мире и мирке человеческих отношений — равнодушие. Не ограничивайте «странных» детских — пусть она всегда будет фантазеркой, даже сентиментальной выдумщицей. Скажите ей когда-нибудь, вовремя, что Дон-Кихот был не только смешной и нелепый дядька, но был еще человеком с сердцем, полным яркой крови и любви к падающему. А она сама разберется, кого следует поднять и как это сделать».

Младшая дочь Черносвитова — Наташа — в те годы только начинала лепетать, и отец интересуется: «Хочу знать, о чем и как говорит с миром «принцесса Натали»? Что проносит она, кроме «мама» и «дай»? Уже сейчас она, вероятно, мыслит отвлеченными категориями и сопровождает неистребимый глагол «дай» душевными эмоциями...

Потемнела она или все еще у нее мягкая соломка на голочке? Вытаскивай «принцессу Натали» за город, на травку, сделай ей салат из одуванчиков, наряжай, старайся ни в чем не отказывать...

О себе Черносвитов упоминает как бы между прочим, но и нескольких мельком сказанных слов достаточно, чтобы знать то сокровенное, чем жил фронтовик, кроме мыслей о семье и победе. И на переднем крае журналист оставался журналистом.

«Пишу в свободное время стишата,— признается он в одном из писем.— Под треск зениток чудесно выдумывается».

И совсем недалеко было уже то время, когда он смог бы вернуться к любимому делу — журналистике, литературе, «стишатам».

...Наступила весна 1945 года. Наши войска вышли на реку Одер. И здесь командир 274-го отдельного мотострелкового батальона В. Черносвитов со своими автоматчиками был впереди всех. Первым же он вступил на западный берег Одера, захватив плацдарм в районе Кюстрина. Хребет фашистского зверя был сломан. Гитлеровская Германия доживала последние дни.

Но письма от Черносвитова перестали приходить. И вот пришли они, скорбные вести. Боевые друзья, товарищи по

оружию написали родным о том, что их командир и друг в последних боях погиб. Бережно хранят эти овеянные горечью порохового дыма листки в семье Черносвитова.

Водитель его машины Василий Сергеевич Фалин написал, что его командир был убит в жестоком бою за город Кюстрин — уже на западном берегу реки Одер. Впоследствии побывавший в Москве боец батальона Черносвитова, учитель из Семипалатинска Русанов сообщил родным некоторые подробности этого боя.

Черносвитов сперва был ранен в бедро двумя разрывными пулями. Бойцы укрыли своего командира в воронке от снаряда и продолжали вести огонь, отгоняя нападавших фашистов. Русанов пополз за санитаром. Когда он с ним вернулся, то обнаружил, что в воронке никого не было. Бойцы нашли своего командира в нескольких метрах в стороне от нее. Видимо, тяжело раненный командир нашел в себе силы, чтобы отстреливаться от гитлеровцев. Но тут еще одна вражеская пуля попала ему в грудь. Черносвитов зажал рану рукой. Последняя — четвертая пуля — поразила его в голову.

После боя, подобрав погибшего командира, солдаты свезли его в город Нойдам, в двадцати пяти километрах от Кюстрина, и похоронили на кладбище под трехкратный ружейный салют.

«За его смерть, за своего любимого командира, — написал в своем письме его бывший связной сержант П. Стасюк, — мы крепко мстили фашистам».

П. Стасюк сообщил еще о том, что за славные боевые дела офицер Черносвитов был посмертно представлен к ордену Ленина и ордену Отечественной войны I степени. Выслал верный Стасюк родным и фотографию своего командира. Снятый фронтовым фотографом-любителем, Володя глядит с этой фотографии как живой — со своей всегдашней веселой, чуть иронической усмешкой, притаившейся в уголках губ, с открытым лицом человека ясной и чистой души.

И как по наследству передался этот открытый взгляд и ясность души его дочерям Тане и Наташе. Обе стали врачами и, верные избранной профессии, целиком отдают себя той работе, которая несет людям здоровье и счастье. Как бы гордился ими отец!

Семен Борзунов

**ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЯКОВ ЧАПИЧЕВ**



Как-то месяца через два после взятия нашими войсками Берлина я просматривал газеты. В одной из них мое внимание внезапно привлекла строка в Указе Президиума Верховного Совета СССР — то была фамилия моего старого, доброго знакомого, фронтового друга — майора Якова Чапичева. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Тогда же мне захотелось написать об этом человеке в газету. Но разные редакционные заботы отвлекали от выполнения этого намерения. И вот через много лет я исполнил свое желание.

С Яковом Чапичевым мы познакомились в конце 1941 года, накануне наступления гитлеровцев в районе Тихвина. Я работал тогда корреспондентом красноармейской газеты «В бой за Родину». В те дни мы, рядовые сотрудники газеты, постоянно находились в частях. Нам доводилось быть свидетелями и непосредственными участниками многих схваток с гитлеровцами. Обо всем виденном мы писали в свои газеты и с помощью самых невероятных okazji пересылали материалы в редакции, сами бывая в них от случая к случаю.

Однажды, получив очередное задание, я отправился на передний край. Вначале ехал на попутной машине, потом пересел на подводу и, наконец, пешком добрался до штаба одного из полков. Около входа в землянку, прикрытый серым брезентом, стоял танк «Т-34». Спереди у него зияла

пробоина, бока задымлены и почернели. У машины возился солдат в помятой шинели. Я подошел к нему и спросил:

— Чей это?

— Командирский! — ответил танкист и с грустью добавил: — В нем сгорел башенный стрелок. Мы его вчера похоронили.

Солдат показал в ту сторону, где среди деревьев виднелся небольшой холмик, слегка запорошенный пушистым снегом.

— А как же остальные члены экипажа?

— Механик-водитель сильно обгорел, в госпиталь отправлен...

Танкист, видимо, не был расположен к разговору с незнакомым человеком. Он осмотрелся вокруг и, увидев приближающегося офицера, продолжил:

— Вон товарищ политрук идет, он в том бою оставался за командира. Попросите, расскажет обо всем...

Я повернулся и увидел подходившего к танку плотного, на вид сурового, лет тридцати танкиста. Он был в черной меховой куртке, ватных брюках и больших кирзовых сапогах. На узком невоенном поясе, почему-то с левой стороны, болталась массивная необычного вида кобура, из которой торчала рукоять парабеллума. Низко на лоб сдвинута шапка-кубанка, из-под которой виднелись окровавленные бинты. Большие черные глаза воспалены, губы сильно потрескались, из них сочилась кровь.

Я назвал себя и сказал, что собираю материал для газеты о людях полка.

— Чапичев! — отрекомендовался в свою очередь политрук и как-то сразу оживился. Глаза его сделались подвижными и острыми, на лице появилась улыбка. — Вы приехали кстати. Третий день наши подразделения отбивают непрерывные атаки врага. Что ни солдат — то герой! Рассказать о них в газете надо. Обязательно! Это поддержит их, окрылит! Сам бы написал, да времени ни черта нет. Фашист не дает ни минуты покоя.

В этот момент начался обстрел командного пункта. Вражеские мины густо ложились вокруг танка, и осколки со свистом разлетались во все стороны.

— Силаков! — спокойно обратился политрук к солдату, стоявшему у танка. — Проведите корреспондента в землянку, захватите побольше гранат и догоняйте меня, я буду в третьей...

Так я познакомился с Яковом Чапичевым, человеком необычайно находчивым и смелым, о храбрости которого в те дни слагались легенды...

А через месяц мы снова встретились с ним. Встретились уже в редакции: по моей рекомендации его назначили литсотрудником нашей газеты.

Новый корреспондент быстро прижился в коллективе. Он умел оперативно организовать корреспонденции солдат и офицеров, написать очерк о герое. Но охотнее всего он занимался поэзией. Стихи у него получались боевыми, и солдаты тепло отзывались о них.

Вообще это был неутомимый человек, ненасытный. Что бы он ни делал, ему все казалось мало. Если попадал в сражающееся подразделение, непременно шел в атаку. Вернется в редакцию — и тоже не знает покоя.

Много раз мы с ним бывали вместе. Но особенно запомнилась мне одна ночь накануне октябрьского праздника 1941 года. Мы только что вернулись в Тихвин из поездки в войска. Враг находился недалеко от города. Пришлось срочно погрузить в машины редакционное имущество и организовать круглосуточное боевое дежурство.

Кончился тусклый ноябрьский день, и быстро наступила ночь. Погода стояла холодная. Улицы заметены снегом. Небо покрыто плотной завесой туч. Все, кто в этот день находился на месте, несли дежурство вокруг помещения школы, в которой размещалась редакция.

В одиннадцать часов заступили на пост Чапичев и я. Всюду слышались оружейные раскаты, взрывы бомб и рокот самолетов. В юго-западном направлении высоко в небо взметнулось огромное зарево пожара: там шел ожесточенный бой с прорвавшимися танками врага.

О многом мы говорили с Яковом в ту ночь. Точнее, говорил Чапичев, а я больше слушал. Он поведал мне о своем детстве, о юности, о школьных годах.

Его трудовая жизнь начиналась в Крыму. Пришлось очень рано помогать семье, познать, как говорится, почем фунт лиха. Работал учеником парикмахера, подмастерьем у сапожника, кочегаром.

В 1931 году Чапичев был призван в Красную Армию и зачислен в полковую школу, которую окончил в 1932 году. Примерно в том же году он написал первое стихотворение.

Бывший кочегар депо Джанкой быстро вошел в курс армейской жизни. Как коммунист, он вскоре был команди-

рован на курсы младших политруков. И служа в армии, Чапичев продолжал писать стихи. Он слагал теплые, искренние песни о Родине, о большевистской партии, о героях-пограничниках, о своих товарищах-бойцах.

В те дни по всей стране разнеслась слава о мужестве комсомольца-пограничника Баранова. Он попал в плен и под жесточайшими пытками не предал Родины.

Чапичев посвятил герою стихотворение. Его опубликовала «Комсомольская правда». На этот текст была потом написана музыка.

Взволнованно и гневно автор писал:

Пулемет строчил без перебоя,
Пулеметчик метко бил врага,
Прямо — поле огненного боя,
А вокруг — дремучая тайга.

Отступали в панике японцы,
Покидая раненых солдат.
В перестрелке Васю-комсомольца
Потерял и наш погранотряд.

Окруженный вражьем батальоном,
Он не дрогнул в яростном бою,
Бился до последнего патрона
За Отчизну мирную свою.

Эта песня звучала на самых далеких заставах. Ее перед боем пели солдаты, сражавшиеся у озера Хасан.

В боях у Хасана, как известно, смертью героя погиб комиссар Пожарский, и о нем поэт написал волнующую песню.

Многогранная жизнь социалистической Родины вдохновляла молодого поэта на создание новых произведений. Он пишет песни о героях гражданской войны, о смелых и неутомимых советских железнодорожниках, пишет о пилотах, о краснофлотцах, о танкистах, о славных артиллеристах, об акыне Джамбуле и о многих других советских людях.

В 1939 году в Крымиздате вышел первый сборник молодого поэта. В нем были собраны лучшие стихи и песни, написанные Чапичевым.

Заметив у молодого офицера серьезные литературные наклонности, командование назначило его на должность инструктора-литератора многотиражной солдатской газеты танковой бригады Дальневосточного фронта, где Яков Чапичев служил тогда политруком артиллерийской батареи.

Ровно год сотрудничал Чапичев в этой газете: писал заметки, информации, статьи и, конечно, стихи. Интересная, живая творческая работа захватила, увлекла его. Хабаровское книжное издательство готовило его новый сборник стихов об армии. Но творческие планы поэта не сбылись. 22 июня 1941 года началась война. Яков Чапичев в тот же день написал рапорт об отправке его в части Действующей армии.

Просьба была удовлетворена.

В самом начале сентября 1941 года Чапичев прибыл на фронт и был назначен сотрудником газеты 60-й танковой дивизии, которая входила в нашу армию. Время было тревожное и очень опасное. Противник предпринял новое крупное наступление с целью обхода Ленинграда с юго-востока. Советские танкисты вели непрерывные, тяжелые сражения, и Яков Чапичев буквально в первый день своего приезда в дивизию принял боевое крещение.

Приходилось, что называется, тесно увязывать корреспондентскую работу с непосредственным участием в боях, помогать танкистам отражать вражеские атаки. А вскоре и вовсе пришлось отложить корреспондентские обязанности: командование дивизии временно назначило Чапичева на должность заместителя командира танкового батальона по политической части вместо погибшего старшего политрука. Это и были как раз те дни, когда фронтовые пути-дороги впервые свели меня и надолго подружили с Яковом Чапичевым.

За короткое время работы в газете Чапичев успел сделать многое. Однажды, например, со взводом лейтенанта Малахова он побывал в боевом охранении и участвовал в отражении атаки гитлеровцев. В другом подразделении он пошел к пулеметчику Белову и провел с ним в окопе около суток. Фашисты лезли к переднему краю нашей обороны. Подпустив их на близкое расстояние, пулеметчик спокойно и уверенно нажимал на спусковой рычаг станкового пулемета. Чапичев, находясь тут же рядом, вел огонь из автомата. Ему все время хотелось быть постоянно с теми, кто стоит у орудий прямой наводки, дежурит в пулеметных гнездах, идет в снайперские засады. И он добился перевода его на политическую работу в часть.

С тех пор я уже не видел друга. Вначале мы обменивались редкими письмами, а потом и это кончилось. Но я знал, что наш неутомимый газетчик (он оставался им всю жизнь),

наш поэт где-то на самых опасных участках наступления. Да иначе и быть не могло.

Как-то на фронтовой дороге я повстречал нашего общего знакомого еще по Волховскому фронту. Теперь он воевал в одном соединении с Чапичевым и рассказал мне много интересного о нем как о политработнике.

...Война шла уже далеко за рубежами нашей Родины. Батальон, в котором служил Чапичев, после долгого, утомительного марша по проселочным дорогам вышел к немецкому городу и с ходу занял его.

Ночью гитлеровцы пошли в контратаку. Они имели большое численное превосходство. Наступила такая минута, когда враг был очень близко. Упустить момент — значило проиграть бой. И вот майор Чапичев с автоматом появился среди бойцов.

— За Родину! Вперед! — крикнул он.

— Ура! — грозно пронеслось по рядам атакующих.

Бойцы бросились на врага. Десятки фашистов были перебиты в рукопашной схватке.

Здесь Чапичева ранили, но он не ушел в тыл.

В редкие минуты затишья, когда солдаты отдыхали, Чапичев находил укромное местечко и записывал в свой фронтовой, выдавший виды, блокнот новые, навеянные боями и походами, поэтические строфы. Поэт воспевал своих бесстрашных друзей-однополчан, с которыми буквально «и хлеб и соль делил пополам».

Волнующие строки посвятил Чапичев своему земляку капитану Амет-Хану Султану, который в воздушных боях сбил более тридцати вражеских самолетов, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

Израненный враг медленно, с ожесточенными боями уползал в свою берлогу. Советские воины преследовали его по пятам. И вместе с передовыми шеренгами солдат, с автоматом в руках шагал воин-журналист, агитатор и поэт Яков Чапичев.

Он был трижды ранен и несколько раз контужен, но каждый раз из госпиталей возвращался в строй и продолжал воевать то в должности пропагандиста, то в должности заместителя командира по политической части. В боях неизменно смел и находчив, всегда подает личный пример подчиненным. Не раз он увлекал солдат на подвиги, водил в атаки. Родина награждает его орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и несколькими медалями.

Уже в конце войны до меня дошел слух, что Яков Чапичев сражается в войсках, освобождающих Польшу, что по-прежнему лезет в самое пекло. Я радовался за друга и надеялся, что скоро удастся с ним встретиться (ведь город, в котором он воевал, штурмовали части нашего 1-го Украинского фронта). Но встретиться пришлось лишь с описаниями подвигов Якова Чапичева. Передо мной потемневший от времени волнующий документ — наградной лист. Вспоминая прошлое, медленно читаю краткую штабную прозу:

«В боях с немецкими захватчиками показал героизм и служил примером для всего личного состава полка. Тов. Чапичев неоднократно водил бойцов в атаку и побеждал.

Тяжелый бой разгорелся за железнодорожную станцию Гольшмилен, противник превосходящими силами стал теснить наше подразделение. Когда появился в передовых рядах тов. Чапичев, у бойцов поднялся дух и настроение. Тов. Чапичев увидел, как в сорока метрах встал немецкий офицер и кричал на солдат, увлекая их вперед. На десяток бойцов 4-й стрелковой роты двинулось до ста немцев. Тов. Чапичев с лозунгом «За Родину, вперед!» поднял своих бойцов в атаку и, на ходу расстреливая немцев, уничтожил до пятидесяти вражеских солдат. Остальные разбежались. В этом бою он был тяжело ранен, но не покинул поля сражения».

Читаю дальше:

«...Шел упорный бой за Шмидельфельд. Снова тов. Чапичев увлек бойцов в атаку, и в этом бою лично уничтожил до тридцати фрицев, было взято до ста немецких солдат в плен».

И еще один документ:

«Третьего марта 1945 года шел бой за завод в городе Бреслау (ныне польский город Вроцлав.— С. Б.). Тов. Чапичев с одним бойцом, вырвавшись вперед и уничтожив восемь фашистов, загнал немцев на исходные позиции... Он лично захватил двух солдат в плен.

На подходе к другому заводу у немцев был один квартал укреплен как крепость. Особенно укреплен был один большой дом. Первый стрелковый батальон пытался занять этот дом, но безуспешно. На поле боя пришел тов. Чапичев. Он увидел, что не хватает у бойцов достаточно смелости, чтобы одним броском занять дом. В беседе с бойцами 1-й стрелковой роты тов. Чапичев сказал, что даже маленькая, но смелая группа может занять этот дом. Бойцы не-

сколько недоверчиво слушали его. Тогда тов. Чапичев с одним разведчиком быстро, под огнем противника, бросился к дому. Вдвоем они забросали гранатами сидящих у огневой точки гитлеровцев и освободили угол дома.

Рота рванулась на помощь, и начался гранатный бой в доме, в подвалах. Разведчик ворвался в одну комнату, где сидели немцы. Вместе с тов. Чапичевым они в рукопашной схватке убили шестерых гитлеровцев, трое оставшихся стали уходить, отстреливаясь. В это время тов. Чапичев погиб от пули врага...

За храбрость и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, достоин награждения правительственной наградой — присвоения звания Героя Советского Союза».

Высокое звание Героя ему было присвоено посмертно.

...Мне вспоминается стихотворение Якова Чапичева «Боевая клятва», напечатанное еще в 1939 году в газете Харьковского военного округа. В нем были слова, которые стали программными в жизни автора:

— Быть честным и храбрым Советским Героем
Я Родине клятву даю!

С поразительной точностью сбылись эти вещие слова автора!

Михаил Андриасов
АРСЕН ИЗ РОСТОВА



Пятнадцатого апреля 1945 года, когда уже гремели финальные залпы жестокой войны, за три недели до победы, в боях с фашистами под городом Франкфурт-на-Одере пал смертью героя чудесный человек, наш товарищ по ростовской литературной организации, поэт и военный корреспондент Арсен Оганесян.

Ему было тридцать семь... Четыре года шел он по фронтовым дорогам. Четыре года в огне, в пожарищах, в смертельных боях, познав горечь отступления и радость великой атаки, начавшейся для него в предгорьях Кавказа...

Фашистская пуля пробила сердце Арсена на пороге победы, к которой он так упорно шел и за которую по-солдатски честно сражался. Он был талантливым поэтом, редкость жизнерадостным человеком. Любил, как и каждый армянин, родной Аракс, двуглавую вершину библейского Арарата и по-сыновьи склонял голову перед нашим тихим Доном, ставшим для него второй родиной.

Он писал стихи на армянском языке, их переводили на русский его товарищи — донские поэты...

Я познакомился с Арсеном в тридцатых годах. Встречи с ним всегда были интересными, какими-то светлыми. От него веяло оптимизмом, верой в человека. Не помню разговора, во время которого он не делился бы планами, мыслями, поисками. Умное лицо чуть в улыбке; в черных выразительных глазах то и дело вспыхивают искорки... Право, он не жил, а горел, излучая согревающий людей свет.

За неумную энергию, горячее, отзывчивое сердце друзья называли Арсена неутомимым.

До войны в Ростове издавалась армянская газета «Мурчмангак», что в переводе на русский язык означало «Молот и серп». Арсен Оганесян и другие армянские поэты и прозаики объединялись вокруг этой газеты, печатали свои произведения, переводы с русского.

...Родился Оганесян в 1908 году. Писать стихи начал рано. Полюбил и журналистику. Получив высшее педагогическое образование, преподавал в армянских школах Ростова и Адлера.

Он был горячим поборником русско-армянской дружбы, страстно пропагандировал ее в своих стихотворениях и статьях. К 1941 году Оганесян был уже автором нескольких поэтических книг. Имя его знал широкий круг читателей.

В первые же дни войны Арсен добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Мне довелось несколько раз встречаться с ним на фронте. Особенно запомнилась встреча в конце лета 1943 года. Наши войска вели на Кубани бои за Темрюк. Мы увидели друг друга совершенно неожиданно, в одной из наступавших частей. Арсен обрадовался, словно судьба свела его с родным братом. Загорелый, подтянутый, казавшийся еще моложе в военной форме, он с восторгом рассказывал о мужестве бойцов-танкистов, с ходу выбивших фашистов из Темрюка. Он только что вышел из боя, взволнованно перелистывал фронтовой блокнот, припоминал фамилии бойцов...

— Ты знаешь,— горячо говорил Арсен,— о каждом из них поэму надо писать, поэму. Понимаешь?! Какие ребята! И я напишу, непременно напишу...

Но редакторы тогда требовали от нас не столько поэм, сколько прозаических корреспонденций о солдатских подвигах, и военный корреспондент Арсен Оганесян тут же, в одном из окраинных домиков Темрюка (гитлеровцы еще были на противоположной стороне города), наскоро писал короткий боевой отчет в очередной номер армянского издания газеты Отдельной Приморской армии «Вперед, к победе».

Он был хорошим, заботливым другом. Помню, Арсен настойчиво расспрашивал, знаю ли я что-либо о судьбе товарищей — ростовских писателей и журналистов, сражавшихся на разных фронтах...

Стихи Арсена, написанные на армянском языке, переводили на русский язык Григорий Кац, Анатолий Софронов, Вениамин Жак и другие ростовские литераторы.

Каждая строка в стихах Арсена находила дорогу к людским сердцам, несла радость, помогала идти вперед, и когда неугомонный Арсен пал геройской смертью,— это было продолжение его поэтического подвига, утверждение жизни, которую он так любил.

Хочется несколько подробнее рассказать о военно-журналистском пути Арсена.

Весной 1942 года Оганесьян окончил Московское военнополитическое училище. С первых дней войны он рвался к тем, кто был на самой передней линии боя. Он не сомневался, что после окончания училища его направят на строевую работу, в действующую часть. Но те, кто тогда определяли наши военные специальности, предписали поэту Оганесьяну прибыть в распоряжение газеты Южного фронта «Во славу Родины»...

— Понимаешь, какое дело,— сокрушенно говорил Арсен,— стихи подвели, первый раз в жизни помешали мне...

Он сетовал в те дни на свои стихи самым серьезным образом, потому что они, как он был убежден, привели его во фронтовую редакцию, а не на передовую линию фронта, о чем мечтал поэт.

Но мы, друзья Арсена по Ростову, никак не могли «обижаться» на его стихи. В моей памяти осталась «Песня девушки», написанная Оганесьяном еще в довоенные годы. Стихи с армянского перевел поэт Вениамин Жак:

...Залетной птицей пурпурный платочек
Летит и полыхает горячо,
И девушка веселая хохочет,
К большому трактору взобравшись на плечо.

У девушки под черными бровями —
Два солнышка лукавых и простых,
И девушку, как боевое знамя,
Несут полки колосьев золотых.

Солдату песня — спутница в походе:
В рядах для песни — место и почет.
Она и в поле тоже верховодит,
И песня девушки, как чистый ключ, течет:

«Ровней, ровней
Веди комбайн полями.
Быстрее, быстрее
Работай, комбайнер.

И все вольней
Струится день над нами,
И все ясней
Безоблачный простор.

Не отставай! —
Ведь здесь работы вволю,
Веди комбайн
С друзьями наряду!

Не отставай!
Тебя заждалось поле,
И я тебя,
Мой ненаглядный, жду!»

...С августа 1942 года по январь 1945 года Оганесьян служил в газетах «Вперед, к победе» и «Вперед, за Родину». Арсен храбро сражался за освобождение Крыма, участвовал в героическом керченском десанте в ноябре 1943 года. В январе сорок пятого осуществляется его заветное желание — ему разрешают, наконец, перейти на строевую работу; и вот Арсен — заместитель командира батальона по политчасти 526-го стрелкового полка 89-й стрелковой дивизии. Его воинское звание в это время — капитан.

К исходу 3 февраля сорок пятого года войска 1-го Белорусского фронта полностью очистили от фашистских войск правый берег Одера во всей полосе наступления фронта к югу от Цедена. Только у Кюстрина и Франкфурта гитлеровцы еще удерживали небольшие предмостные укрепления.

Франкфурт расположен на левом берегу Одера. Когда развернулись бои за этот город, имевшие важное значение для завершающего удара на берлинском направлении, капитан Оганесьян бесстрашно вел бойцов на вражеские укрепления. В одну из таких решающих атак вражеская пуля сразила замполита. Арсена похоронили, как героя, покрыв его тело полковым знаменем.

...Примерно за два года до войны 27 сентября 1939 года, Оганесьян опубликовал в ростовской газете «Молот» стихотворение, заключительные строки которого мне запомнились на всю жизнь. Тем более, что я сам переводил их с армянского на русский:

Если тучи придут, будет день грозовой,—
Наготове винтовка и штык.
Если пуля сразит, я умру, как герой,—
Ты живи и ликуй, Айреник! *

Он сдержал свое слово.

* Айреник — Отчизна (арм.).

СОДЕРЖАНИЕ

Константин Симонов. КНИГА О ТОВАРИЩАХ	5
Сергей Гуленков. НАВСЕГДА МОЛОДОЙ	11
Владимир Рудный. ДВОЕ С ГАНГУТА	16
Елена Вечтомова. ДРУЗЬЯ НЕ УХОДЯТ	26
Константин Тараданкин. БЫЛ ТОВАРИЩ У НАС...	33
Михаил Шолохов. ЧЕСТНАЯ ЖИЗНЬ	37
Леонид Коваль. ТРИ ПИСЬМА	40
Всеволод Азаров. ДЕЛО ЖИЗНИ	43
Владимир Харитонов. СОЛДАТСКАЯ СЕСТРА	52
Марк Чарный. КОМИССАР ПЕЧАТИ	55
Леонид Высокоостровский. САМОЛЕТ ПОЛЕТЕЛ К РЖЕВУ...	59
Николай Родионов. ПОЭТ, СЫН ПОЭТА	66
Николай Чуковский. В ОСАДЕ	75
Михаил Лапшин. ОН С НАМИ!	79
Василий Жилмогных. ВЫПОЛНЯЯ ВОЕВОЕ ЗАДАНИЕ...	87
Марк Зерницкий. РЕДАКТОР ПОДПОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ	95
Константин Полтев. ОРЛЕНОК САШКА	105

Яков Звездов. «Я БЫЛ, ЕСТЬ И ОСТАНУСЬ КОММУНИСТОМ»	112
Зоя Корзинкина. В ТРИНАДЦАТЬ МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ...	117
Мирон Яковлев. С ПЕСНЕЙ О СОКОЛЕ	124
Михаил Цунц. ТРУЖЕНИК ВОЙНЫ	128
Борис Новицкий. СТРЕЛКИ ЗАМЕРЛИ В ЧАС	144
Юлий Зельвенский. ЦЕМЕССКАЯ ВУХТА	153
Карл Непомнящий. ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ	158
Раиса Орлова. ФРОНТОВАЯ СУДЬБА	163
Михаил Юрьев. ГАЗЕТА, ВЫПУЩЕННАЯ ПЕРЕД КАЗНЮ	172
Михаил Верниковский. ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ПОВЕДЕ	177
Зигмунд Хирен. МЕНЕЕ ОПАСНАЯ РАБОТА	186
Константин Бельгин. ВОЕННЫМ ЖУРНАЛИСТАМ	197
Василий Скоробогатов, Асгадулла Хамидуллин. СЫН КОММУНЫ	201
Владимир Павлов. КОРРЕСПОНДЕНТ «КОМСОМОЛКИ»	210
Лев Савельев. СВОЙ ГЛАЗ — АЛМАЗ	224
Павел Трояновский. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ КОСТИ БЕЛЬХИНА	234
Николай Добротворский. ОНА ВЫЛА КОРРЕКТОРОМ...	239
Евгений Каменецкий. НА «МАЛОЙ ЗЕМЛЕ»	244
Мартын Мержанов. НЕ ЗНАЛ, ЧТО ПРОЩАЮСЬ НАВСЕГДА	249
Петр Гармаш. ЧЕРНОМОРЕЦ	258
Константин Лапин. КАПИТАН АНДРЕЕВ И ДРУГИЕ	265
Юрий Чернов. ФРОНТОВАЯ ЛЕТОПИСЬ	277
Дмитрий Холендро. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПОГОН	281
Марк Лисянский. САША КУЗНЕЦОВ	292
Юрий Чернов. ТРУДНО БЫТЬ ПЕРВЫМ	302
Альбина Флягина. ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО	314
Юрий Цишевский. О ДРУГЕ	322
Самуил Портной. НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ	328
Эммануил Евзерихин. ЕДИНСТВЕННОЕ ОРУЖИЕ	333

Борис. Полевой. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С МАЙОРОМ ЛИЛО	335
Леонид Ленч. ЭТО БЫЛ ХРАБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!	339
Иосиф Уткин. ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ	352
Иван Крисковец. ПАРТИЗАНСКИЙ СОВКОР	354
Анатолий Чивилигин. ЗА РЯДОВЫХ ПЕРА!	359
Абхам Рахмат. АБДУЛЛА ШАРАФУТДИНОВ, ТАШКЕНТСКИЙ РЕ- ПОРТЕР	363
Павел Рогозинский. В БОЮ ЗА КЮСТРИН	368
Семен Борзунов. ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЯКОВ ЧАПИЧЕВ . .	375
Михаил Андриасов. АРСЕН ИЗ РОСТОВА	383

**В редакцию не вернулся... Кн. 2-я. Изд. 2-е М.,
В11 Политиздат, 1972.**

390 с. с илл.

На обороте тит. л. ред.-сост.: П. Д. Корзинкин.

Герои этой книги погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Советские журналисты, они прошли вместе с солдатами всеми трудными дорогами войны, увековечив в горючих строчках подвиг народа. Когда нужно было, они брали в руки оружие, сражались и гибли, разделяя судьбу тех, о ком рассказывали нашей стране и всему миру. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

1—6—4
366—72

002+3(C)27

Зав. редакцией А. Т. Шаповалова

Редактор Р. В. Короленко

Мл. редактор Л. В. Окатьева

Художник Ю. А. Цишевский

Художественный редактор С. И. Сергеев

Технический редактор Н. П. Межерицкая

Сдано в набор 10 августа 1971 г. Подписано в печать 28 декабря 1971 г. Формат 60×84¹/₁₆. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 24,65. Учетно-изд. л. 21,35. Тираж 100 тыс. экз. А00411. Заказ 710. Цена 1 р. 01 к.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская, 16.